Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (473)

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Морозов. Ночное время года. *Стихи*.....3
Сергей Шикера. Без названия. *Рассказ*.....10
Владимир Навроцкий. Локации.....14
Александр Скидан. Труды и дни Даниила Ивановича.....22
Станислава Могилёва. «нет или да / *ближе...» и др. стихи*.....31
Егор Фетисов. Свет. Лост энд фаунд. Барсучья тень. *Рассказы*.....40
Антон Пайкес. Танцующие на Крышах. *Повесть*.....49
Алиса Орлова. «майское введенское» *и др. стихи*.....113
Алла Дубровская. Девушка. Реклама. Интернет. *Повесть*.....119
Сергей Шуба. Поездка. *Рассказ*.....143
София Амирова. «Не обижай меня, за мной...» *и др. стихи*.....147
Сергей Кулаков. Лавка ненужностей. *Рассказ*.....150
Ирина Котова. Белый самокат боли. *Стихи*.....155
Марина Крапивина. День рожденья. Урок труда. Полоса отчуждения. *Рассказы*.....161
Наталья Панишева. На другой стороне бумаги. *Стихи*.....167

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре – 55.....171

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Георгий Квантришвили. «На писательство у нас смотрят косо...»
Писатель Иван Борский (Иван Алексеевич Бухалов).....177

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Анна Жучкова. Любовь и зяблики. Новая сказка о главном
Дарья Бобылёва. Вьюрки (Октябрь, 2017, № 7).....194

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Баталов. Равновесие голоса
Екатерина Дершиева. точка отсчёта.....200

Елена Зейферт. «В подземелье тупик это боги»
Анна Глазова. Земля лежит на земле.....202

Денис Липатов. Переназвать мир заново
Алексей Остудин. Вишнёвый сайт.....205

Андрей Пермяков. Перрон останется
Паровозъ. Поэтический альманах-навигатор (№6).....209

Олег Рогов. Есенин – XXI
Алексей Слаповский. Тоска веселая. Два дня из жизни Сергея Есенина.....212

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея *(Продолжение)*.....214

© «Волга», 2018

Владимир МОРОЗОВ

НОЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

***

Осенний путь пройдя до середины,
У вымокшего парка на краю,
Ты видишь, как прозрачные осины
Роняют на асфальт листву свою.

От волшебства до полного неверья
Пройдя фонарной медленной дугой,
Луна и звезды и другие звери
Лежат недвижно в слякоти ночной.

В преддверьи наступающего года
Негромкий плач их слышен по ночам,
Поскольку вечно портится погода...
Но к этому пора привыкнуть нам.

***

Еще не светят фонари,
Но сумерки уже ложатся.
Предновогодней толчеи
Уже не стоит опасаться.

Одна неяркая звезда,
Что тоже, в принципе, немало,
Легко скользит по кромке льда
Адмиралтейского канала –

Как отблеск стынущей воды
Сквозь серый сумрак снегопада
Летит к нам свет ночной звезды,
Которой ничего не надо.

Владимир Морозов родился в 1958 году в Якутии. В 1980 году закончил геологический факультет Саратовского госуниверситета. Публиковался с 1985 года в журналах «Литературная Грузия», «Новый журнал», «Волга», альманахе «Последний экземпляр». Автор книг стихотворений «Холодный воздух» (Саратов: Контрапункт, 1998) и «По дороге к декабрю» (Саратов: Музыка и быт, 2018). Живет и работает в Саратове.

***

На зимнем сквозняке душа твоя простыла –
У Волги в декабре намного холодней,
И потому тиха холодная квартира,
Лишь глупый рыжий кот скандалит у дверей.

Заканчиваем год ненастною погодой –
На нас упала тень последнего дождя,
А за окном спешат шальные пешеходы
И фонари зажгут немного погодя.

Скорей бы Новый год – мы так заговорили,
Поскольку замолчал шум ветра за стеной
И воздуха почти не стало в этом мире,
Наполненном дождем и зимней темнотой.

***

Мы эту зиму проживаем возле
Почти не замерзающей воды,
И редкий снег идет сквозь мутный воздух,
Как будто чьи-то белые следы.

Прозрачный снег на мостовую льется,
И почему-то холодно всегда
На том углу, где нынче продается
Невкусная китайская еда.

В преддверии мерцающего света
Неярких фонарей над головой
Попробуй вычеркнуть себя из этой
Неясной перспективы городской –

Конечно, это все не очень просто,
Но, кажется, ты все-таки был прав,
Построив своих демонов по росту
И каждого по имени назвав.

***

Тяжелая зима – ни воздуха, ни света,
В восьмом часу утра еще совсем темно.
Прохожие впотьмах теряются бесследно,
Как будто жизнь идет по правилам кино.

Не то чтобы пурга, но слабый отблеск вьюги –
Не видно ничего, лишь черно-белый снег
Один спасает нас из плена зимней скуки,
В настенных зеркалах свой оставляя след.

Как плоская душа ушедшей непогоды
Погасший свет ночной скользит по проводам...
Мы снова дождались покоя и свободы,
Но, может быть, они опять приснились нам.

Не видно ничего. Холодная погода –
И та изнемогла под тяжестью своей,
И вдоль домов летит ночное время года,
Как черно-белый снег, теряющий людей.

***

Стихает в окнах вьюга,
Уже почти светло –
Январская докука,
Простое ремесло.

По-зимнему подробен
Наш черно-белый сад,
И небосвод огромен,
Как много лет назад,

Когда светало поздно
И сквозь ночной туман
На нас глядели звезды,
Не доверяя нам.

***

Нелепо стареют вообще-то нестарые вещи
На медленных людях, входящих в автобус ночной,
Как будто на миг освещенье становится резче,
Мешаясь с морозом и питерской темнотой.

Ненужная тяжесть прожитого времени суток
Сродни сновиденью, еще предстоящему нам:
Тяжелые тучи ночные, смущая рассудок,
Летят вслед за нами, навстречу январским ветрам.

Послушайте, люди, мы знаем, что так не бывает,
Но темень ночная, что бьется о наше окно,
Как ветер январский, нас все-таки не забывает,
Как слезы фонтанов холодных, замерзших давно,

Как то всемогущее время, которое лечит,
Как в звездах застывших ночная Нева – а за ней
Неспешно плывущий балтийскому ветру навстречу
Васильевский остров в короне слепящих огней.

***

Ночной пейзаж не слишком весел –
Ведь в наших сумрачных краях
Уже давно не слышно песен,
Лишь ветер носит снежный прах

На белизну ночного сада
Почти до самого утра
Ложится тень от снегопада,
Прошедшего еще вчера.

Как будто ожившая птица
Под желтым светом фонарей,
Метель по улицам кружится
И замирает у дверей.

Жилец зимы, давно наставшей,
В предновогодней тишине
Гостей встречает запоздавших
И ставит свечи на окне.

***

Несчастный тополь на бегу,
Как Германн в сумасшедшем доме,
Застыл в кружащемся снегу,
Не отражаясь в небосклоне.

Внимая странности любви,
Лишенный злости и волненья,
Он листья палые свои
Укрыл прозрачной снежной тенью.

Он словно плачет наяву,
Храня от нас от всех в секрете
То, что уходит в синеву
И не желает жить при свете.

Пылая бедной и слепой
Невинной страстью подражанья,
Он возвращается домой
В пути теряя очертанья.

***

Нежность тающего снега
Под неярким фонарем
Означает, что до лета
Мы, наверно, доживем.

Чуть колеблющийся воздух
Высоко над головой
Возвращается, как отзвук
Тихой музыки ночной.

Глохнет музыка ночная,
Растворяется во мгле,
И последний снег, мерцая,
Догорает на земле...

***

Неторопливый зимний отдых,
Когда чуть-чуть – и рассветет.
Перетеканье света в воздух,
И воздуха – в дорожный лед.

А ведь сегодня понедельник,
О чем я как-то позабыл,
Услышав в шелесте метели
Негромкий шелест чьих-то крыл –

Как будто снежными столбами
Среди рассветной синевы
Восходят души над телами
Погибшей осенью листвы...

***

Ты знаешь, смерть, наверно, подождет,
Когда нас остановит на Литейном
Холодного дождя ночной полет
Сквозь наши неприкаянные тени.

Пусть город дышит собственным огнем –
Что нам с того? Нас это не тревожит.
Нам не удастся раствориться в нем,
И век наш до конца еще не прожит.

Свет фонарей по мокрой мостовой
Расходится дрожащими кругами,
Под жабьей кожей черно-золотой
Выращивая драгоценный камень.

Бессонницы ночной чертополох
Не отражается в бездонных лужах...
Но это мир, наверное, не плох,
Поскольку он кому-то все же нужен.

***

В предутренней жажде бессмертья,
Глотающей медленный снег,
Напрасно пытается ветер
Уйти незаметно для всех.

Мы тоже, наверно, уходим,
Нам тоже понять не дано,
Зачем в темном доме напротив
Горит только наше окно.

Но слабость и нежность полета
Сквозь белый мерцающий лес
Вселяет надежду на что-то,
Что, может быть, выше небес...

***

Разрушение ткани, снегов утомительный шорох,
Очертанья зимы в перекличке ночных голосов
По дороге идущих прохожих шальных, от которых
Нет ни сил, ни желания дверь запирать на засов.

Продолжение жизни, ночных голосов отдаленье –
Посмотри на меня, темнота за открытым окном –
Видишь, как по стене пробегают ненужные тени,
Неспроста залетевшие с улицы в спящий наш дом.

Снег взлетает чуть выше деревьев, ложится на крыши,
И опять возвращается в наш переулок пустой,
Затихают шаги, разговоры становятся тише,
Ничего не видать за дождавшейся нас белизной.

***

Ему идут навстречу не во всем,
Но, не желая жить далеким прошлым,
Он полагает время колесом,
Крутящимся на склоне придорожном.

Душа его темна и холодна,
Особенно сейчас, в начале года,
Когда приходится лежать без сна
И ждать, когда изменится погода.

В заснеженном саду еще светло,
Но с каждым часом тяжелеют тени...
– О Господи, как это тяжело!
Как быстро кончилось Твое терпенье!

Ты знаешь, я и сам себе не рад,
Но снова попадают в поле зренья
Январский неожиданный закат
И медленно идущие деревья –

Жизнь кончилась, и снова началась,
Как слабый свет на склоне снегопада,
Как будто в небесах звезда зажглась
Чуть-чуть повыше замершего сада.

Сергей ШИКЕРА

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Рассказ

Утром, когда Олег допивал кофе, в открытую форточку влетела граната. Он бросился в прихожую, оттуда через комнату в спальню, и там, у стеллажа с книгами, простоял, затаив дыхание, до тех пор, пока не стала жечь пальцы забытая сигарета. Он никогда не держал в руках и даже не видел «живой» гранаты, но – так теперь ему казалось – по звуку, по тому, как она стукнулась об пол и ударила по низу газовой плиты, узнал ее на мгновение раньше, чем увидел.

Растерев подошвой упавший пепел, надел рубашку и поднялся к соседу, на второй этаж.

Новый сосед, суетливый коренастый мужичок лет сорока в камуфляжной форме, появился с месяц назад в квартире умершей бабы Тани. Олег немного помог ему в день переезда. Тот сразу представился: «Гюрза». Потом выпивали среди поставленных как попало вещей, и он опять предложил, чтобы Олег называл его Гюрзой. «Так меня пацаны звали», – пояснил он. Олег подумал, что сосед сейчас начнет что-то рассказывать, и приготовился изображать интерес, но тот только взял рюмку и скорбно произнес: «Не чокаясь». Придя с ответным визитом, он подарил Олегу большой алюминиевый значок с нагромождением каких-то символов, переплетенных настолько тесно и затейливо, что в них лень было вглядываться, а уходя выпросил в подарок итальянскую трубку. Олег давно не курил табак**,** да и вообще собирался бросать курить, но трубку было жалко. За этот месяц он несколько раз слышал, как новая соседка называет мужа Сережей.

И вот только сегодня, преодолев неловкость, он обратился к соседу так, как тот просил: «Слушай, Гюрза, тут такое дело...». Выслушав его, Сережа-Гюрза сделал то, что сделал бы сам Олег, не будь у него соседа: позвонил в полицию. Менее чем через полчаса прибыли полицейские, саперы и даже кинолог. Выяснилось, что граната настоящая – нашли и скобу, и кольцо с чекой, – но без заряда.

Кинолог, здоровяк в черной майке, с голыми, непомерно накачанными руками, оказался сыном собачника, с которым Олег, выгуливая своего ротвейлера, иногда встречался и разговаривал в парке. После того как они переехали, Олег их не видел. Несмотря на разительные внешние перемены, его собеседник остался тем же веселым болтуном, что и десять-двенадцать лет назад, когда был долговязым юношей. Они стояли во дворе, и у их ног, вытянувшись вдоль стены, положив морду на лапы, лежала немецкая овчарка, кобель.

– Я вашего помню, – говорил кинолог, – серьезный был парень. Как его звали?

– Шмель.

– Точно, Шмель. И сколько он прожил?

– Нормально, – уклончиво ответил Олег.

Сергей Шикера родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе. Публиковался в «Новом мире»; в «Волге» печатались рассказы (2010, 2012, 2017) и романы: «Стень» (2009, №№ 9-10, 11-12), «Выбор натуры» (2014, № 3-4), «Египетское метро» (2016, № 3-4).

Ему не хотелось рассказывать, что Шмель на седьмом году свихнулся. Сначала загрыз дворового кота Сашку, подходившего каждое утро об него потереться, потом стал во время прогулок бросаться на людей. Однажды летом отец приоткрыл для сквозняка дверь, но забыл накинуть цепочку; оказавшись без намордника на улице, Шмель тут же, у входа во двор, сшиб с роликовой доски мальчика и едва не оторвал правую кисть, которой тот успел закрыть горло. Пришлось его усыпить.

– Уходят наши собачки... – вздохнул кинолог и в утешение сослался на некоего философа, сказавшего как-то, что без любимого пса он своей будущей жизни не представляет, а значит и тому уготовано в ней место. – Так что все они нас ждут и в нетерпении машут хвостиками. – Кинолог быстро подергал указательным пальцем. – Мы-то здесь своих сроков не знаем, а они там, в вечности, может уже к нашим шагам прислушиваются.

Да-да, подумал Олег, конечно, именно к ним Шмель в своем собачьем пакибытии сейчас и прислушивается – к шагам отбитого у него мальчика и вероломно умертвившего его хозяина.

– Я больше склонен верить в реинкарнацию, – сказал он.

– Тоже вариант. Вот перед вами будущий нобелевский лауреат по химии.

Красавец немец, все это время лежавший неподвижно и только двигавший ушами, услышав, что говорят о нем, вежливо встал и опустился на задние лапы. Подошел молоденький полицейский, который рядом с цветущим кинологом выглядел состарившимся от невзгод подростком из сиротского приюта, и спросил, есть ли у Олега кто-то на подозрении. Олег покачал головой.

Наконец все разъехались и он позвонил Ненашеву. Позвонил из подворотни, поскольку после их разговоров ему всегда было трудно усидеть на месте.

Они знали друг друга с юности, но сошлись сравнительно недавно, когда ближний круг знакомых Олега, да очевидно и Ненашева, основательно размыло ссорами, отъездами и смертями. Около года назад его пригласили на день рождения ненашевской жены. Ближе к ночи, когда остались втроем, зашел разговор о неожиданных больших деньгах, наследствах, выигрышах и всяком таком. Олег повел супругов в игральный зал неподалеку и наменял имениннице жетонов. Играя впервые, она на свою беду вдруг опустошила автомат. Выигрыш был скромным (как заметил Ненашев: «Больше шума, чем денег»), но с него всё и началось. Или, вернее будет сказать, им всё закончилось. Сначала из дома стали исчезать деньги, за ними пришел черед вещей, попутно она обворовывала знакомых и просадила все сбережения свекрови. Остановить ее было невозможно. Все это сопровождалось скандалами, истериками, драками... Словом: ад. Некоторое время назад она, побитая, ушла жить к какой-то спившейся подруге.

– Граната не взорвалась, – сообщил он Ненашеву, – не было заряда.

– Видел, не слепой, – ответил Ненашев.

«Ну разумеется, он видел, а как еще?» – сам себе удивился Олег.

– Чё надо? – спросил Ненашев.

– Ничего. Просто. Будь внимательней следующий раз. Я, кстати, о тебе никому не сказал.

– А мне до задницы, мог бы и сказать. У меня рак. Я может и до нового года не дотяну.

Олегу показалось, что Ненашев врет, и от этого стало еще гаже. К тому же в последних разговорах его невыносимо раздражала хамская фамильярность собеседника. Хотелось в отместку поинтересоваться, долго ли тот ждал удобного случая, чтобы вот так с ним разговаривать? «Он свихнулся. Как Шмель», – подумал Олег и спросил:

– Она знает?

– Ей не до этого, она теперь по вечерам на остановках трудится. Ублажает по-быстрому припозднившихся граждан. На автоматы зарабатывает. Адресок дать?

– Я могу для тебя что-то сделать? – спросил Олег.

– Ты что, намеков не понимаешь? Сдохни.

Олег прошелся несколько раз по подворотне из конца в конец и вернулся домой.

Было начало двенадцатого. А в полдень явился Анатолий Васильевич, странный гость, знакомый отца. Он всегда приходил примерно в эту пору, в конце лета – начале осени, приносил взятые год назад книги и брал новые. Книги были исключительно по истории или с историческим уклоном. После смерти отца он пришел уже второй раз. Олег ничего о нем не знал. Отец не рассказывал, а он не спрашивал.

С чашками чая и отобранными книгами они по заведенному отцом порядку переместились во двор, в уютную беседку, со всех сторон затянутую виноградом. Анатолий Васильевич раскрыл перед собой на столе одну из книг и взял чашку. Олег посидел с ним минут десять и пошел к себе. Посидел там и вернулся. Анатолий Васильевич продолжал читать, делая это как будто из-за чужого плеча, склонив набок голову; перелистывая страницу, поднимал глаза и обводил взглядом двор. Бившие сквозь пыльную листву солнечные лучи всякий раз, когда Олег вставал, дружно проворачивались против часовой стрелки и возвращались на место, когда он садился.

Во дворе появился Гюрза, прошел к сараю, потом обратно. Анатолий Васильевич вопросительно дернул головой в его сторону. Олег вкратце рассказал. Во время следующей ходки гость остановил соседа коротким направленным свистом и пригласил в беседку. Когда сосед вошел, Олега поразил его остановившийся стеклянный взгляд.

– Давно кожу поменял, змей? – усмехаясь, разминая сигарету, спросил Анатолий Васильевич.

– Это мы когда с тестем в Житомир на майские ездили в прошлом году, заехали к его брату... – бойко, как в температурном бреду, начал было сосед, но гость остановил его движением ладони. Помолчав, сказал:

– Ну, раз ты теперь – кто? гюрза? – тогда давай, ползи. До ворот и обратно.

Понимающе улыбаясь, сосед подмигнул Олегу, шагнул за пределы беседки, лег и пополз к воротам. Анатолий Васильевич закурил.

После ухода гостя двор как вымер. Сосед больше не показывался, дверь сарая осталась распахнутой. Невесть откуда взявшиеся тучи наглухо закрыли солнце, и в беседке стало совсем темно. Пройдясь по всем эпизодам незадавшегося дня, Олег неожиданно съехал в полемику с покойным отцом, который смотрел на жизнь как на череду сменяющих друг друга уроков и то же самое когда-то втолковывал сыну. Эх, не догадался сын спросить, какой, например, отец получил урок, сев за погибших в аварии пассажиров. Больше в аварии не попадать? Ладно. Уроки, значит. Хорошо, давай разберемся. Никогда прежде, до того злосчастного дня рождения, он не водил никого играть на автоматах и не собирался делать этого впредь, даже если бы с женой Ненашева не произошло того, что произошло. То был мгновенный порыв, импровизация, точка. Тогда почему эта история тянется по сей день? Что, черт побери, еще он должен в ней понять?.. А с соседом? Он и так догадывался, что сосед не тот, за кого себя выдает, зачем же еще мордой тыкать? Смысл?

Чтобы как-то отвлечься, он отправился к морю, оставив в беседке чашки, пепельницу и забракованного гостем маркиза де Кюстина. Уроки. Какие уроки, батя? О чем ты? Да тут одно бесконечное глумление и больше ничего. Как в детстве, когда какой-нибудь балбес-подросток, будущий Анатолий Васильевич, измываясь над тобой, малолетним, находит удовольствие не только в самих издевательствах, но и в том, что может их длить сколь угодно долго.

На пляже, кроме небольшой компании под стеной пирса, не было никого. Олег прошел его до середины и сел. Сентябрь только начался, однако всё вокруг было уже осенним: и холодок, пробивавший сквозь толщу теплого песка, и гулкие, как в пустом закрытом помещении, голоса, и

уходившее в сизую дымку на горизонте шелковое, почти неподвижное море. «Хорошо как... как же здесь удивительно хорошо...» – подумал он, валясь набок, укладывая голову на ладонь. Если сейчас раздеться, доплыть до волнореза и сесть на него, эта с виду неподвижная гладь тотчас примется тебя нежно и мерно раскачивать, нежно и мерно, мерно и нежно...

...Его разбудила шумно покидавшая пляж компания. Проснулся он с головой хоть и несколько тяжелой, но свободной от давешней круговерти. К покойнику-то он чего привязался? Неплохой, в общем, был человек, скромный тихий водила, пытавшийся как-то постичь эту жизнь, страстный любитель истории со всеми ее бесполезными уроками, вдовец, сиделец, отец не самого отзывчивого сына, так и не дождавшийся от него внуков. Да и не навязывал он никогда ничего – так, бубнил что-то себе под нос. Соскучился я по тебе, что ли?..

Море было по-прежнему спокойным. Глядя на него, Олег подумал: а ведь всё просто. Сегодня он не может налюбоваться этим покоем, а завтра придет холодное течение, задует ветер, и там, где он сейчас сидит, будет яростно ходить кругами и пениться взбаламученная штормом вода. А затем буря утихнет, и... Вот, собственно, и всё.

Побыть на пляже одному так и не удалось. Едва затихли голоса ушедшей компании, как со стороны пирса, резко выделяясь на фоне пасмурного неба, появился человек в светлой, в тон песка, камуфляжной форме, с рюкзаком на плече.

– Сигареты кончились, не угостите? – обратился он к Олегу, поравнявшись, и, когда тот протянул раскрытую пачку, присел на корточки.

Закурив, показал жестом, что у Олега щека в песке, снял с плеча рюкзак и достал из него пластиковую бутылку.

– Вот вино только что купил. Какой-то дед уболтал. Сказал: хорошее, домашнее. Сухое. Я в них не разбираюсь, больше по водке. Хотите?

Олег сделал пару глотков. Вино оказалось солоноватым – такое обычно получают с прибрежных виноградников – и не совсем сухим.

– Нормальное, – одобрил он, возвращая бутылку.

Незнакомец плюхнулся задом на песок, отпил вина и опять вручил бутылку Олегу. Тот переложил её в левую руку и представился:

– Олег.

Шутливо размахнувшись, незнакомец крепко схватил протянутую ладонь.

– Шмель.

Владимир НАВРОЦКИЙ

ЛОКАЦИИ

Когда-то я был влюблен в физическое лицо

Когда-то я был влюблён в физическое лицо
(«Но это же глупо, глупо!» – хохочет стальной ЕГРЮЛ)
Там позднее лето, свет, там дом лубяной с крыльцом
А также пчелиный гул

Вот летняя кухня, холл, оттуда второй этаж
(«Отличная инсоляция», – важно кивают СНиП)
Ещё пианино, книги, ещё полуночный страж,
ещё половичный скрип

Конечно, дубовый стол. Возможно, резной карниз
Потом, граммофонный вьюн на газовой жёлтой трубе
Да вот, на кленовом листе прилагается выписка из
Нездешнего ЕГРП:

На схеме искомый дом повёрнут к реке торцом.
Когда-то я был влюблен в физическое лицо.

Кабачково-яблочный язык

Я и так прихожу в этот дом, чтоб никто не увидел, чаще всего ввечеру
Да и днём-то увидеть некому, the only глаза в округе – мои глаза
Поднимаюсь в мансарду, цветы меняю, на пианино пару-тройку аккордов беру,
а какого завода оно, не знаю: здесь ни к чему приглядываться нельзя.

Может быть, физлицо где-то здесь, только его драпировки и отражения прячут.
Может быть, не случайно яблоки и кабачки каждый раз разложены в кухне иначе.
Может, мне полагается как-то ответить на всякий случай, хотя бы сказать привет,
только я кабачково-яблочного языка не знаю, наяву проверял, интернет говорит,
что такого нет

Владимир Навроцкий родился в 1979 году в Якутии. Окончил Пензенский государственный университет. Публиковался в альманахе «Вавилон», в журналах «Воздух», «Знамя», Homo Legens, «Волга». Работает удаленным программистом. Живёт в Пензе.

Пианино «Нега», гитара «Истома»

Эти прогулки дневные! Вьюн и пруды и тропинки, как у шестой больницы.
Только не у шестой больницы, а там, в сонных моих локациях.
Спицы стальные, бетонные плиты, неясные птицы, клевер и медуница,
Здесь хорошо бы влезла акация, но я погуглил, не было там акации.

Эти визиты вечерние! Шаль, комары, пианино «Нега», гитара «Истома».
Ещё обязательно полупрозрачные чтобы везде драпировки, ленты.
Только у этой девочки наяву не было никогда деревянного дома,
Да и сама она существовала только отчасти, и то
в особенные моменты

Не то чтоб себя, а такое

Нельзя ни к чему там присматриваться, оно под глазами течет и тает.
Отдельно касается птиц (там это просто «птицы», кричат «кар-кар» и летают),
Имён бытовой техники (пригляделся однажды к кассетной деке, и ИМЯ прочел,
Запомнил и вынес, и больше не буду так делать ни в жизнь. ни за что. нипочём),

Касается также растений (думаешь: «О, вот полынь», а оно сгорает в руке),
Стихов из мансардных книг (нормальные, но невозможно вернуться
на строчку назад),
Ну, про отражения в зеркале каждый знает, хотя
я недавно увидел себя
и ещё себя вдалеке.

Точнее, не то чтоб себя, а такое
Ну, как бы сказать
Ну, короче, ад.

Натечёт буроватый парфюм

Хохочу и стёкла звенят: эхо жертвоприношений дохристианской эпохи –
Вырастить миллион кабачков и оставить на тёплых поверхностях летней кухни
Развести насекомых трёх рас, девяти цветов в макаронах, пшене и в горохе,
На продукты указывать посохом: гней! (или «гний»? Непонятно. Ну ладно, «тухни!»)

Ты сегодня, наверно, неонатолог, а я у себя танатолог.
Ты сегодня историк моды, у меня же работа в буром изодранном дачном.
У меня еще много осталось в подвалах незанятых полок,
У меня ещё много в светёлке пяльцев спиц и иголок,
У меня ещё много в сенях кабачков, а октябрь в этот раз так долог,
Натечёт, хохочу, натечёт буроватый парфюм под овощ лежачий!

Соскобы помады с кожи

Значит, по часовой от окна: стол, резной секретер, макияжная зона,
Пианино с одними черными, центр музыкальный «ВЕГА», диван-кровать.

Если точно, в деталях, знаешь, что́ происходило одним там утром в одной из комнат,
То считай, что и сам поучаствовал. Значит, и нечего горевать.

Но зачем ты хотел участвовать в этом? да и присутствовать незачем тоже.
Я и так расскажу подробно, и тогда тебе пусть приснится.

Вот смотри, у меня есть кадастровый паспорт комнаты,
соскобы помады с кожи,
пробы почвы под окнами и в пакетике вот ресница.

Дней восемь или десять

Если там не смотреть на вещи слишком долго или в упор,
не пытаться читать тех книг, не включать в голове интернет,
не испытывать телом пределы (буквально: не лазить через забор),
не ходить не вовремя в серый дом, не искать там тех, кого нет

Не стараться запомнить и перенабрать в «эверноуте» строчки
из неслыханных песен, звучащих в том доме в радиоточках,
не записывать координаты и потайные названия мест,
не вытаскивать это наружу путём (мучительного) набирания себе смс

Если этих вещей не делать, то там хорошо, как здесь не бывает,
свет отовсюду и тёплый ветер и ранняя осень,
как в одной там кисти и сердца мастера Тора картине

Я надеюсь, когда всё кончится, каждому/каждой будет позволено
там побыть, походить по округе хотя бы дней восемь
или десять, или скорее что-нибудь посередине.

Обещанные приключения осуществятся

Должно быть, это и называется «обход владений»,
только имеет ли смысл слово «владение»,
если больше никто на эти места не претендует

Вот я прохожу по своим тропинкам, по-над обрывом,
растираю в ладонях верхушки своих растений.
отовсюду свет, и ещё отовсюду ветер горячий дует.

Встаю – и со мной говорят лица стихий
и лица вот этих вот самых мест,
Сгущающиеся из цветных насекомых на уровне глаз.
по очереди: Горячий Ветер, Тропинка К Лесу, Собственно Лес,
Свет-Проходящий-Сквозь –
как будто текстовый из девяностых квест
один и тот же из раза в раз.

Только они не дают указаний, скорее, делятся знаниями
Рассказывают, зачем я здесь и почему здесь всё для меня.
У них на меня есть планы, которые не могут быть выражены заданиями,
но могут быть выражены интонациями, умолчаниями, опозданиями,
холодными дуновениями, внезапными под ноги прорастаниями,
узорами из разноцветного насекоменного огня.

Они говорят беззвучно, а я молчу со значением,
ещё и окликнут, напомнят, чего я здесь должен бояться
(если коротко: ничего не должен бояться)

Вот только всегда просыпаюсь раньше, чем начинаются
собственно приключения.
В одну из ночей собираюсь остаться и вот уж тогда
обещанные приключения осуществятся

Грейферный ковш нависает над нами

Ты боишься? А я не боюсь
Серебряные провода, дикая пойма,
бетонка от фабрики к шлюзу,
собственно шлюз.
Оранжевые аптечки везде,
пустые обоймы

На вахте лежит рабочего-времени-учёта-журнал
хоть времени здесь и так сколько захочешь,
точнее, сколько захочем
(Как и пространства, впрочем.
как и пространства, впрочем)

Учитывать, значит, нечего, поэтому пуст журнал
и снаружи ал
А разворот ослепляюще-белый
в мелкий синий кружочек

и на обложке прочерк
с обеих сторон прочерк.

Тут был склад.
Склад щас пуст.

Столбы из каменной соли,
Сгоревший куст

Ты боишься? А я не боюсь.

(Грейферный ковш нависает над нами,
но уже никогда не сделает «кусь»)

Показывает, как это будет

Я еще раз хочу подчеркнуть, что в том доме везде драпировки.
И отдельно отмечу, что ноты, табакерки и клавикорды.
И не лишним будет сказать: на веранде рядами
леруа-мерленовские коробки,
Из которых неспелые овощи тянут слепые морды.

– Всем привет! Там на улице late november, что-то вокруг нуля.
Не совсем подходящее время для существования белковых тел!

Да когда вы успели.
Я ведь только пришёл, заварил себе кружку пуэру, на вкус как земля.
Да когда вы успели,
это что ли пока я в кашне и с ладошкой у сердца
в окошко глядел?
Кабачки за пятнадцать минут успевают вызреть
и в перегной перезреть.
Успевается спрятаться и раствориться в тюлевых
лабиринтах
искомым людям.

Думаю, этой сценой со мной через сон
говорит смерть:
показывает, как это будет.

За поляной имени Ленина

Мы прошли сюда с невесомыми рюкзаками
От Прокола пешком ногами, туда на «Салюте» и «Каме»,
А могли бы за чаем сидеть в деревянном дому,
Говорить про всякое странное и непознанное.

Но оделись обулись пошли и смотри-ка
нашли это место сами
за рекой Ымлаок за поляной имени Ленина за лесами
укрытое в складке местности и потому
не разграбленное и не обосранное

Поднимемся на диспетчерскую
распишемся за посещение
в прошитой и опечатанной
секретной тетради

И скоро, в Доме, напьёмся
Чаю из чашек с зайчатами
с сырым юбилейным печением,
А также с конфетами «Радий»

Как связаны эта машина и этот дом

В рамках этого цикла я говорил о туманном и сложном, но сейчас расскажу о простом:
нет ничего трогательнее «ауди» сотой, «селёдки», облепленной мокрым осенним листом
ах, на сиденьях ее чехлы из вымпелов с Лениным, алый бархат и жёлтая бахрома
ах, вундербаум под зеркалом выдохшийся, так и не знаю, кстати, что там за аромат

(Единственное непонятно: как связаны эта машина и этот дом)

Некоторое количество мягких игрушек лежит на заднем сидении, просто игрушки лежат:
тетрис классический сорок-в-одном, ограниченный выпуск киндер-сюрприз медвежат.
Эта машина серебряная всегда стоит заведённая: то у забора, то у калитки, то возле крыльца.
Ясно, что это машина отца. Но не моего и не чьего-либо в доме, а просто отца.

(Было бы здорово догадаться когда-нибудь, как связаны эта машина и этот дом)

Я никогда не видел, но знаю, какой он, как будто прожил за него всю жизнь у него внутри.
Выгон машины из Клайпеды самое крупное приключение в жизни, но он не рассказывал никому.
Я не встречал его ни в полях, ни в Проколе, ни в Складках, ни на промзоне, ни здесь, в Дому.
Только пока я ключи ищу, там достань из дверного кармана тряпку, стекло запотело, протри.

(Кажется, я понимаю, как связаны эта машина и этот дом)

Представляю себе этот цикл о пятнадцати текстах

Представляю себе этот цикл о пятнадцати текстах
Плотной книжкой, квадратом со стороной девятнадцать.
Иссечённый картон, чтобы каждая сцена и место,
как в истории, помнишь, «Поехавший шар из теста»,
поднимались объемной картонной цветной декорацией.

Через каждые пять страниц голубая пластинка
с тихим солнечным эмбиентом про углеродные формы жизни.
Лоскуты драпировок из Дома, чтоб трогать щеками.
Кабачок, пересушенный до состояния камня,
чтоб котята и дети читателей сладкие камешки грызли.

Вшитые образцы фольги и фантиков от конфет «Радий».
Листья неясных растений. Из-под тарена пенал.
И ещё иллюстрации: дом, пианино, кухня, усталая «ауди»,
граф из пятнадцати текстов-вершин, вот у меня в тетради,
сложный, но всё же планарный, я его уже нарисовал.

На одной из пластинок помимо эмбиента про солнечные поля
можно ещё записать какой-то построк.
Впрочем, всё это избыточно,
есть ведь уже этот текст из девятнадцати строк.

Противогазы на целую школу

В этой части убежища противогазы на целую школу,
хоть школы и не было никогда.

Дальше по коридору – а впрочем, нет:
это тайна моя и радость, они не для вас.

Ярусом ниже – печенье, конфеты «Радий», тушёнка,
ржавая питьевая вода.

В этом шкафу запчасти от ласточки, то есть селёдочки,
здесь это редкость, поэтому вот запас.

Эти энергощиты запитаем, когда из Разрыва по Складкам
ПОЛЕЗЕТ ВСЯКОЕ
на человечий запах, тепло и свет.

Эти плакаты про атомный взрыв и чуму и зарин
понесём от несуществующей школы
на первое мая

Я здесь учителем ОБЖ и НВП
уже тридцать восемь лет,

Я об этой местности всё понимаю.

Всё

Только начал описывать эти локации, перестал туда попадать.
Может, и хорошо.

Получается, обменял родные места на горсточку лайков.
Неплохая сделка.

Этот текст должен всё заплести и хвосты подрубить,
только я не нашёл

Тех объектов, к которым направлены оставшиеся
Меловые стрелки

Складки местности, дом, кабачки, пианино, промзона, тюль:
Странный набор

У меня ничего из этого не было (разве что кабачок.
«Гинденбург», прости)

Я хочу всё же кое-кого отыскать в обреченном дому,
из убежища вытащить всех,
и до выброса спор

(или что там: побеги, тентакли, – пойдёт из разрыва) в селёдочку всех усадить
и в зенит увезти.

Александр СКИДАН

ТРУДЫ И ДНИ ДАНИИЛА ИВАНОВИЧА

*

Даниил Иванович очень не любил детей. Прям до дрожи в коленках, до тошноты. Бывало, встретит у песочницы какого шибздика, так еле сдержится, чтоб не пришибить. Шибздик – в слезы, и ну ручонками голову прикрывать. А Даниил Иванович, довольный, что искус поборол, этак ему ласково: «Ну, ступай же с богом. Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!» И тростью поигрывает, и письмена чертит.

*

Даниил Иванович очень не любил детей. Прям до дрожи в коленках, до тошноты. Бывало, встретит в подворотне какого шибздика и давай его тростью охаживать. От шибздика уже одно мокрое место осталось, а Даниил Иванович не унимается, фехтует этак и приговаривает: «Хармс! Чармс! Брамс! Хендехок, русишь швайн!» Потом постоит, отдышится, поправит гетры и дальше пойдет.

*

Даниил Иванович очень не любил стоять в очередях. Он вообще не любил советские эпифеномены – предпочитал английский твид и монархию. Бывало, заглянет в лавку, увидит там очередь и аж скривится. Потом соберет тонкие энергии в кулак и как гаркнет: «Лежать, сукины дети! God save the queen!» И этак тростью взмахнет. И все ложатся. И чеддер со слезой к нему ручки тянет и в три погибели кланяется, и продавщица в вечной любви клянется, и сама нож протягивает – на, мол, милок, режь, режь сколько хочешь. «И, усмиренные, лежат», – процитирует Даниил Иванович неизвестного поэта и прошествует к прилавку.

*

Даниил Иванович очень не любил советских газет. Особенно же не любил их читать. Бывало, принесут ему к завтраку свежую прессу, пахнущую щекочущей самолюбие иных щелкоперов типографской краской, так он ну ее сразу рвать и приговаривать: «Вот “Правды” первая страница, вот с приговором полоса. Вот “Правды” вторая страница, вот с приговором полоса. Вот “Правды” третья уж страница, сумбура музыки столица, “Известий” ратная сестрица, “Литературной газеты” шестнадцатая полоса». И – бегом в ватерклозет по превеликой нужде, да так, знаете, прытко, едва придерживая полы халата с красным подбоем, что прислуга с подносами посторанивается и дают ему дорогу другие поэты и литераторы.

Александр Скидан родился в Ленинграде в 1965 году. Автор многих журнальных публикаций («Комментарии», «Волга», «Митин журнал», «Место печати», «Октябрь», «Знамя», «НЛО» и др.), нескольких книг стихов и эссеистики, переводов на русский язык современной философии и американской поэзии. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), премии «Мост» (2006, за лучшую статью о поэзии), Премии Андрея Белого (2006, за книгу стихов «Красное смещение»). С 2009 г. заведует отделом «Практика» (современной литературы) в журнале «Новое литературное обозрение».

*

Даниил Иванович очень не любил советскую власть. А любил, напротив того, старый добрый английский эль и конституционную монархию. Бывало, выйдет из распивочной и давай к прохожим приставать. «Даешь конституционную монархию! – кричит. – Время, вперед!» Прохожие разбегаются, принимают за помешанного. Только дворник на Надеждинской не разбегается, стоит в воротах скалой. «Небось, опять Маршак аванс выдал?» – говорит в бороду и путь преграждает. «Сам ты форшмак», – обиделся Даниил Иванович. – Что, нельзя уже в хорошей компании английского эля выпить? На свои, чай, пьем, детгизовские». «Порастрепал бы я эту вашу компанию, извиняюсь за эвфемизм. Сталинскую конституцию приняли, а вы, вашброд, в зюзю». «Когда приняли? Кто?» «Как кто? Да вы же и приняли-с, Даниил Иванович, третьего дня», – прибавил дворник почти шепотом, совершенно убежденным голосом.

*

Даниил Иванович очень не любил ЦК ВКП(б) и лично товарища Сталина. И не то что не любил, а, по совести говоря, люто ненавидел. Любил же, напротив того, старый добрый английский Тауэр и конституционную монархию. Бывало, выйдет из распивочной и давай прохожих пугать. «Даешь конституционную монархию! – кричит. – Время, вперед!» Тут как раз мимо Михалков проезжал в кабриолете, с двумя девицами в декольте. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат! Мы на острова, присовокупляйся, составим дуплет! Я и шотландский плед прихватил», – и в клаксон призывно гудит. «Не брат я тебе, подстилка большевистская, – процедил Даниил Иванович, крепясь. – Гимнюк! Мало вас в 1905 году вешали». «Всех не перевешаете! Наше дело правое! – весело прокричал Михалков и дал по газам.

*

Даниил Иванович очень не любил генеральную линию ВКП(б) и лично товарища Сталина – трубка трубкой, а табачок врозь. Так и говорил направо и налево, не таясь: «Ох, как крошится наш табак!» Недолго музыка играла, и однажды на стол легла бумага. Всю ночь в Кремле не гасло окно. «А мог бы жизнь просвистать скворцом», – с досадой думал вождь, попыхивая «Герцеговиной флор» и перечитывая крамольный стих, облитый горечью, желчью и памятью о ненавистном городе – колыбели трех революций.

*

Однажды у Даниила Иванович зазвонил телефон.

– Кто говорит?

– Соловецкий Лагерь Особого Назначения.

– Что вам надо?

(В голове пронеслось: Торквемада. Великий Инквизитор. Банальность зла.)

– Полюбишь и осетинского козла, – хохотнули на том конце.

.....

Через некоторое время снова раздался звонок.

– Даниила Ивановича хочу.

– Шурка, сволочь, ты? – хотел было накричать Даниил Иванович, но осекся.

– Товарищ Брамс?

– Чармс, – поправил все-таки Даниил Иванович.

– Очень хорошо, товарищ Брамс. Поговорим как провиденциальный собеседник с провиденциальным собеседником. Вот скажите, Самуил Яковлевич Маршак, по-вашему, мастер?

– Мастер, конечно, мастер.

– А Николай Макарович Олейников?

– Мастер.

– А этот, который про таракана с усищами и бассейн?

– Мастер.

– Так что ж вы там, в своем городе мастеров, не можете товарища Введенского нормальные стихи научить писать? Какие-то они у него вялые, незапоминающиеся. Без огонька, без подтекста.

– Научим, обязательно научим! – обрадовался Даниила Иванович. – Теперь-то уж точно научим! Это вы очень правильно заметили, про подтекст. Я Шурке давно говорю: детские стихи надо писать так, что если бросишь их в окно, то стекло вдребезги. По-другому никак. Дети по-другому не понимают.

– Советские дети, товарищ Брамс.

– Чармс, – хотел было поправить Даниил Иванович, но воздержался.

*

Однажды Даниил Иванович сочинил такие строки:

Быть может, прежде губ
Уже родился Сологуб.

Сборищу друзей очень понравилось новое произведение Даниила Ивановича, все бросились его поздравлять, трясти руку, бить по плечу. Только Николай Макарович не бросился, сидел угрюмый и смотрел в пол.

– Старик, ты гений. Эк завернул!

– Какая роскошная распоясавшаяся рифмовка!

Сдвинули стаканы.

– Это Мандельштам, – вдруг громко и отчетливо произнес Николай Макарович.

Повисло молчание.

– Что ты сказал? Повтори!

– Хватит паясничать. Мандельштам, «Стансы к Сталину». Стыдно не знать.

– Сам ты Пастернак! – Даниил Иванович сжал кулаки.

– Что за шум, а драки нет? – вскинулся Самуил Яковлевич, предвосхищая недоброе.

– Обнимитесь, миллионы! – подхватил Александр Иванович. – Не ссорьтесь, черти.

Под натиском дружбы пришлось обняться. Сборище друзей было восстановлено в правах. Снова сдвинули стаканы. Воспользовавшись весельем, Даниил Иванович больно наступил Николаю Макаровичу на ногу и еще теснее прижал его к груди.

– За Пастернака ответишь, – шепнул он ему на ухо.

*

Однажды Даниил Иванович проснулся с мыслью, что Бог не скинут, покушал, вышел из дома и пошел останавливать прогресс. Идет по Надеждинской, поигрывает тростью, а навстречу ему Александр Иванович.

– Ты куда намылился ни свет, ни заря?

– Да вот, иду останавливать прогресс.

– Тоже дело.

Дошли вместе до Бассейной. Навстречу им Николай Макарович.

– Вы куда, тараканы, разбежались в такую рань?

– Да вот, идем останавливать прогресс. Бог не скинут.

– В «Детгиз» по дороге заглянем? У меня Маршак трешку третьего дня занял, до сих пор,

контра, не отдает. Скинем сначала его.

Свернули на Литейный. Тут навстречу им Леонид Савельевич и Яков Семенович.

– Вы куда, вестники-прелестники, в столь ранний час?

– Да вот, идем останавливать прогресс.

– Кругом возможно Бог? – подкузьмил Леонид Савельевич.

– А скажите, батенька, какой прогресс? – прищурился Яков Семенович, сверля Даниила Ивановича. – Научный, технический, социокультурный? Дифференциальные исчисления не остановишь. Скоро генератор поэтических текстов изобретут и геном расшифруют.

– И человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке, – добавил Леонид Савельевич. – Читайте «Исследование ужаса», там все написано.

Троица переглянулась.

– Стоп-машина, – сказал Даниил Иванович и повернул назад.

*

Однажды на сборище друзей Николай Алексеевич пришел с толстой папкой, перевязанной бантиком.

Все приготовились слушать.

– Давно хотел вам возразить в принципиальном порядке по следующим пунктам, – начал Николай Алексеевич. – Бессмыслица, как явление вне смысла, раз. Композиция вещи, два. Тематика, три...

– Сейчас я тебе всю композицию разворочу, – прервал его Даниил Иванович.

– Ты меня прервал, – заметил Николай Алексеевич.

– И переврал, – парировал Даниил Иванович. – Переври ты меня.

– Ты, Даниил Иванович, ври-ври, да не завирайся.

– Прерви меня, – встрял Николай Макарович. – Что, слабо́?

– Прервал тебя, – торжествовал Даниил Иванович.

– Не ссорьтесь, черти, – сказал Александр Иванович, пряча под шумок недопитую бутылку в карман. Ему еще предстояло путешествие на край ночи, и он не хотел встретить его безоружным, в одном пиджаке.

*

Однажды к Даниилу Ивановичу пришли оперуполномоченные и обвинили его в домогательствах и измене.

– Вы нас трогали. Вот тут, тут и тут, – заявили они.

– Так ведь и вы меня трогали, и даже больше того, – растерялся Даниил Иванович.

– Мы в целях самообороны, – сказали уполномоченные. – А вы по злому умыслу, с особым сексизмом. Отягчающее-с.

– Херасе, – начал догадываться Даниил Иванович. – Неужели вам ни капельки не понравилось? Ни вот на столько?

– Самую капельку. Одну. Но ведь потом вы нас бросили!

– Как бросил? Вы же тогда были с Александром Ивановичем и Николаем Макаровичем, вот я и вернулся к Эстер.

– Изворачиваться бесполезно. Лолита, оформляй его по 66-й.

– 66-й? – насторожился Даниил Иванович. – Это что?

– Шесть лет каторжных работ в коллекторе «Спермь-6».

Даниил Иванович побелел – он знал, как поступают в коллекторе с такими, как он.

– Так как, будем сотрудничать? Или оформляем по 66-й?

– Будем... сотрудничать. Чего вы... хотите?

– Мы хотим поставить крест на вашей репутации, хотим, чтобы вам больше не было ходу в детскую литературу, чтобы двери «Детгиза» закрылись для вас навсегда. «У Петрушки палка, мне Марфушку жалко» – ваших рук сочинение?

– Мое... моих.

– Очень хорошо. Садитесь и пишите признательные показания, как в социальных сетях, слыхали-с? Я, Чармс Даниил Иванович...

– Брамс, – поправил Даниил Иванович обреченно.

– Слушай сюда, задрот. Лолита, бумагу. Я, Чармс Даниил Иванович, в преступном сговоре с Введенским Александром Ивановичем и Олейниковым Николаем Макаровичем, клеветал на сепаратизм четвертой волны и порочил строй младших оперуполномоченных, а также трогал в табуированных местах старших оперуполномоченных без их обоюдного согласия и предварительной ласки. Написал?

– А это не перегиб? Про старших оперуполномоченных?

– Следствие разберется. Подписывай!

– Может, лучше ритуальное изнасилование, здесь и сейчас? – пролепетал Даниил Иванович в последней надежде на социалистическую законность и традиции европейского гуманизма.

– Одно другому не помеха, – сказали уполномоченные, надвигаясь.

*

Однажды Даниил Иванович высунулся по пояс в форточку и крикнул:

– Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

На дворе никого не было. Только дворник задрал голову.

– Никак с Байроном курили, вашбродь?

Даниил Иванович хотел было втиснуться обратно и оттуда уже ответить что-нибудь этакое, но не смог – застрял. Подергался-подергался и философски затих.

– За все тысячелетье не скажу, не в Одессе, чай, – продолжал между тем дворник. – А месяц брюмер.

«Опять трагедия превращается в фарс», – подумал Даниил Иванович, вися над бездной и болтая ногами.

*

Однажды Даниил Иванович сочинил следующий экспромт.

Поручик Ставрогин и корнет Верховенский очень не любили Октябрьский переворот. А любили, напротив того, Великую Февральскую бескровную революцию. Бывало, раздадут патроны, обустроятся за бруствером и переговариваются.

– Вы скажите мне, сделайте милость: что до сих пор дало нам это нашествие? Что принес с собой чумазый? Никогда еще наша наука и литература не находились на таком низком уровне, как теперь! Они и Достоевского не читали.

– Помилуйте, корнет, какой Достоевский, о чем вы? Ять от ера не отличают. Быдло-с. – Ставрогин прицелился. – Вот недавно библиотеку у Блока сожгли.

– Этот ваш Блок – рыбья кровь. Мы по доброте и простоте и из страха, поручик, чтобы нас не заподозрили в отсталости, братались, извините, со всякою дрянью. Мы сделали то, что цивилизация висит уже на волоске. Дорогой мой! То, что веками добывали наши предки, не сегодня-завтра будет поругано и истреблено этими новейшими гуннами...

– Не забывайте нажимать на курок, корнет.

– Перестанем же деликатничать, довольно! Едва близко подойдет к нам чумазый, бросим ему прямо в харю: «Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!» Прямо в харю! – продолжал Верховенский с восторгом, перезаряжая. – В харю! В харю!

– Не нервничайте, корнет, промахнетесь. Вон тот, одетый во все не по росту, мой.

– Нет, поручик, согласитесь, это же какой-то вульгарный марксизм – классовые противоречия, прибавочная стоимость, наемный труд... Какие-то убогие ветхие ярлыки. Посудите сами, как только чумазый полез туда, куда его прежде не пускали – в науку, в литературу, заметьте, за высшие человеческие права вступилась сама природа и первая объявила белый террор этой орде. Как только чумазый полез не в свои сани, то стал киснуть, чахнуть, сходить с ума и вырождаться, и нигде вы не встретите столько психических калек, чахоточных и всяких заморышей, как среди этих голубчиков. Мрут, как мухи, – Верховенский с наслаждением нажал на курок. – Если бы не это спасительное вырождение, то от нашей цивилизации давно бы уже не осталось камня на камне, всё слопал бы чумазый. Кухарка, видите ли, будет управлять государством! Ебал я такое государство, извините за каламбур.

Вдруг вдали у реки замелькали штыки. «Красногвардейские цепи, – разглядел в бинокль Ставрогин. – Красиво идут, скоты». А вслух сказал:

– Цельтесь целесообразнее, корнет. Это что касается каламбура. А если без обиняков, пора седлать коней.

– Как? Я только вошел во вкус, пристрелялся.

– Вкус – буржуазное понятие. Имейте силу от него отказаться, если вы, конечно, приверженец гражданских свобод и Учредительного собрания. Кстати, а эта девица, с которой вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, находится где в сию минуту?

– Я это предчувствовал, – прошептал Верховенский. – Однако же вы... вы-то сами... Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо.

– Полагаете, все так просто? Ненависть красных вызовет вашу, и, ненавидя, вам станет легче?

– Вы правы, Николай Всеволодович. А знаете, – засмеялся вдруг Верховенский, – меня, быть может, назовут социал-демократом, эсером, ха-ха-ха, так? И расстреляют. Свои же. Вот, например, хотя бы вы, Ставрогин, и расстреляете, а? Так? Я угадал?

– Вы очень тонко подхватываете.

– Скажите как на духу, как капитану Лебядкину. Вы в одной форме, в представительной демократии находите смешное?

– Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний, – произнес Ставрогин как будто в сторону, опуская глаза. – Через сто лет, я имею в виду.

– А верите, в преступлениях, какие бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее, – Петр Степанович стал расстегивать китель. – Войны, революции, этнические чистки, геноцид. А есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса и мимо сознания. Совершаемые изо дня в день, под сурдинку, так сказать, заботы о хлебе насущном, мимоходом, в силу порядка вещей. Голая жизнь, слыхали-с? – и он рванул китель вместе с сорочкой, обнажив тельняшку. – Стреляй, гражданин кантона Ури, стреляй, гад, в капитализм с человеческим лицом!

– Умри, Петр Степанович, лучше не скажешь, – сказал Ставрогин и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с наслаждением выстрелил.

*

Однажды Даниила Ивановича пригласили на Культурный форум – рассказать о роли зауми в поэтике ОБЭРИУ. «Бляди», – духовно плюнул Даниил Иванович. Но решил все же пойти, ведь форум проводился в «Крестах». «Заодно и передачку Туфанову передам. А то старик до оттепели не дотянет, – утешал он себя. – Да и Николай Макарович через стенку послушает, какое-никакое, а развлечение. А там, глядишь, "Ванну Архимеда" наконец издадут. И пошло-поехало!» И, окрыленный, он съехал по перилам во двор, где его уже ждали с табличкой «Объединение реального искусства с неограниченной ответственностью».

*

Однажды Даниилу Ивановичу довелось переводить такое – вырванное из контекста – высказывание: «...то, что можно назвать фотографическим ответом: современное устройство [dispositif], назовем его техникой, становится свидетелем без свидетеля, глазом-протезом, многоочитым, но невидимым, одновременно и производителем и хранителем, источником и архивом этого введения тени в сердце света, всего того, что в physis'е навязывает ночи ясность [la clart], светит во тьме, проникая в нее без прикосновения, без малейшего шума, под стать незаметному вору. <...> Tekhne становится истиной physis'а».

– Техне, фак йю, упрасин, – сказал Даниил Иванович, поставив точку. И, осенив себя крестным знамением, сделал селфи.

*

Однажды Яков Семенович и Леонид Савельевич привели на Надеждинскую Людвига Витгенштейна, который в это время гостил в Ленинграде – между экскурсией по Эрмитажу и лекцией об истинностных функциях в Доме предварительного заключения на Шпалерной у него как раз выдался свободный часок. Сборище друзей оживилось. Сбегали за пивом.

– То, что может быть показано, не может быть сказано, – провозгласил Даниил Иванович и ловко открыл бутылку глазом.

– Границы моего языка означают границы моего мира, – подхватил Александр Иванович, тасуя колоду. – В очко или в штосс?

– Что-с, – переспросил Витгенштейн.

– Немцам позор, Канту стыд, – Николай Макарович сдвинул колоду.

– Нет, ты объясни сначала, для чего нужен язык, в чем его функция? А потом уже о границах рассуждай, – начал Яков Семенович, но ему не дали продолжить мысль.

– Язык разрезает мир на куски, – отрезал Леонид Савельевич.

– Мир – это совокупность фактов, мин херц!

– Дык, это и ежу понятно!

Александр Иванович стал раздавать карты.

– Этому дала, этому дала, этому дала... А тебе, чижу, погожу, – и он с вызовом посмотрел на Даниила Ивановича.

– А вы знаете, герр Людвиг, что вот этот вот субъект, – Даниил Иванович мотнул головой в сторону Александра Ивановича, – с ужами живет?

– Wo in der Welt ist ein metaphysiches Subjekt zu merken? Где в мир быть обнаружен метафизический субъект? Я вас спрашиваль, Даниил. Ферштейн?

За уставленным бутылками столом воцарилось молчание.

Витгенштейн посмотрел на часы. На них не было стрелок.

– Маманя, опять обассамшись, да сколько ж можно! – раздался за стенкой женский крик.

«Нечто может происходить или не происходить, а все остальное окажется тем же самым», – пронеслось в голове у Даниила Ивановича. Он не помнил, как закрыл за гостями дверь, и долго потом смотрел в лестничный пролет.

*

Однажды Даниил Иванович решил учредить премию за выдающиеся достижения в реальном искусстве, но никак не мог придумать названия. Пришел к Малевичу.

– В стране Советов я живу, так посоветуйте же мне, Казимир Северинович, – начал он. – Хочу порастрепать одну компанию, премию учудить.

– Я старый безобразник, вы молодые мерзавцы, посмотрим, что получится, – ободряюще сказал мэтр. – Хм... ОБЭРИУ-Премиум. Пойдет?

– Ух! А слоган? У премии должен быть слоган, емко отражающий эстетическое бессознательное...

– «Добро пожаловать в пустыню реального».

– В точку, супрем!

На следующий день в Доме печати яблоку негде было упасть.

– Объявляю шорт-лист, – заявил из президиума Даниил Иванович.

– Сам ты глист! – крикнули из партера.

– Эк речист, Брамсяка!

– Контра! Монархист!

– Ференц Лист. Контральто, – вмешался Александр Иванович, спасая положение.

На сцену выкатили фисгармонию, на ней сидел неизвестный поэт в балетной пачке.

– Препарированное фортепьяно. Опыты совокупления сов посредством эвритмии. Исполняет Константин Пиздов, – объявил Бехтерев в мегафон.

«Господи, за что мне это, зачем я здесь? – думал неизвестный поэт. – Для того ли я посещал Звучащую раковину и Цех поэтов, входил во все поэтические объединения города. Какой коллапс». И все же он прочитал со сцены такие стихи:

В стране Гипербореев есть город Летербург,
и музы бьют ногами, хотя давно мертвы.

– Пиздова в шорт-лист! – взревел зал.

– Даешь ОБЭРИУ!

– Вся власть заумному собранию!

– Брамсяку на гиляку!

На сцену полетели припасенные публикой тухлые яйца.

«Нет, такое реальное искусство нам не нужно. Это отражение несуществующих миров, – думал Николай Алексеевич. Он стоял за кулисами в солдатской шинели, с примкнутым штыком и обливался потом. – Мы пойдем другим путем».

– Караул! – крикнул Даниил Иванович, увертываясь от метко пущенного яйца.

– Караул устал, – буркнул Николай Алексеевич и черным ходом вышел на набережную. Фонтанка была безвидна и пуста. «А старик-то прав», – сказал он сам себе, любуясь пейзажем.

*

Однажды Даниил Иванович сочинил такие строки:

И долго думал, сняв колечки
Какие странные семантические пучки
Как больно и нехорошо умирать на Черной речке
А придется

Сборище друзей молчало. Оно почувствовало себя покинутым судьбою.

– Ах, Пушкин, Пушкин, – нарушил тишину Александр Иванович.

– Тот самый Пушкин, – откликнулся Николай Макарович.

– Тот самый Пушкин, который жил до меня, – повторил Даниил Иванович.

Они долго сидели в темноте. Над ними никто не летал. Они были одни и знали это.

*

Однажды за Даниилом Ивановичем пришли.

– Не откажите в любезности, товарищ Брамс. Комсостав уже в сборе.

– Весь? – Даниил Иванович не верил своим ушам.

– Весь. Кроме товарища Когана. Он к Якову Семеновичу пошел.

– К Якову Семеновичу?

– Да, он тоже приглашен. С лекцией о непротивлении.

– Когда?

– Сразу за Леонидом Савельевичем. После кофе-брейка.

«Когда они пришли за Николаем Макаровичем, я молчал, – думал Даниил Иванович, пытаясь попасть в штиблеты. – Когда они пришли за Николаем Алексеевичем, я молчал. Когда они пришли за Эстер Александровной, я молчал. И теперь буду молчать», – решил он.

Дотащились до Шпалерной.

– Ба, товарищ Чармс! – встретил его против ожидания старый знакомый Коган. – Чай? Кофе? Коньяк? Power point? Шардам?

Даниил Иванович промычал что-то и помотал головой.

– Врагу не сдается наш гордый варяг?

– Пощады никто не желает, – промямлил Даниил Иванович.

– Моряк с печки бряк! – Коган услужливо пододвинул табурет. – Английскими булавками колоться будем? Или японскими?

– Отечественными, – сказал Даниил Иванович. – А проектор есть?

– Есть, как не быть. Все для вас, эксцентриков жанра. Шары приготовлены. Комсостав при полном параде. Пять камер, прямая трансляция. Как говорится, все для фронта, все для победы. Ваши фокусы мы знаем. Пора, пора раскрыть их секрет, товарищ Чармс.

– Брамс, – поправил все-таки Даниил Иванович.

*

В камере (или, как говорили блатари, палате) Даниила Ивановича прозвали Айда, в честь Пушкина – он знал много стихов и подъедался тем, что декламировал. «Айда, Пушкин, служить!» – говорил кто-нибудь из сидельцев, заскучав. И Даниил Иванович служил. Наибольшим успехом пользовались номера с «Медным всадником» и «Пиром во время чумы» – за них давали 125 грамм. Но в ноябре норму урезали, и Даниил Иванович стал быстро слабеть. Зубы шатались, язык не слушался, он уже не мог прыгать и декламировать. Вскоре он уже не мог вставать.

– Айда, Пушкин, Айда, сукин сын! – говорили сидельцы, деля его пайку. Однажды Даниил Иванович приотворил свои опухшие глаза. «Я забыл попрощаться с Александром Ивановичем», – подумал он. Это была его последняя мысль. И тогда блатари, а может, не блатари, неся алюминиевые миски и заточки над головой, спустились с нар и обступили немногочисленного Даниила Ивановича.

ноябрь-декабрь 2017

Станислава МОГИЛЁВА

***

нет или да / *ближе*
отказаться или согласиться / *ещё ближе*
отвергнуть или принять / *близко насколько возможно*
отбросить или взять
или взять и отбросить

вино превращается в воду
кто ты сейчас

разденься и вспомни себя
и снова забудь
скрой скрой попробуй
поворачивающееся лицо

а когда не останется
времени на сон без снов
можно будет перестать
просыпаться

перестать прерывать случайным
вниманием блуждание встречи
этого тела с тем, того с этим
в парке беспутном, открытом
где позавчерашних труд
о-кажется неуместным

падали, падали веки
не приземляясь

***

по́лон плен да глубок, гладок
пойдём домой
подрагивая ритмично

Станислава Могилёва родилась в 1983 году в Норильске. Училась в Ленинградском университете им. А.С. Пушкина на факультете психологии и педагогики и в Литературном институте им. А.М. Горького. Публиковалась в журналах «Воздух», «Волга», в сетевых журналах TextOnly, «Цирк "Олимп"», на портале «Полутона». Участник Фестиваля свободного стиха (2015, 2016) и Фестиваля новых поэтов (2016). Живёт в Санкт-Петербурге.

красными ягодами, ветвями
не оглядываясь по сторонам
не осматривая друг друга
это всё ещё мы или уже другие?
соглашаясь на мелкую речь
беспокойную сеть худую

прилеплять знакомые знаки
к открытым о́рганам *прорыв прорыв*
чувствовать уверенность *прорыв прорыв*
в собственной правоте

поймай меня – середину – краями
глодайсерединукраями
передай другому

это тело неназываемо
длится и длится который день
камень дробит перемалывает
хаотично замирающие связки
склеивает воздух и воду
в кристаллы, в сказочное богатство
в движущийся бег конца звук

***

ты очень устал
ты мама

а мама жалит печатью
сжимает ладонью вот это место
где кровь понарошку
где боль игрушечная малиновый
веганский пластилин но всё как есть

живи правильно
трава земля оргалитовая коробка
то что заставит тебя молчать

– you know
– это просто происходило

а то вдруг видишь чьё-то лицо
и если повезёт узнаёшь собеседника
называешь по имени
штампуешь среду́
множишь тайну исповеди
степного певца твоего

погранца забайкалья
смотришь в мёрзлую воду
в невозделанную руду
называешь его отцом

и прямо на ваших глазах

падаешь замертво
как настоящий

***

как это звучит снаружи

попятно «движется подобно пуле
выпущенной из ружья»

промысел твой неизмерим незрим
сосчитаны рыбы плывущие, птицы
летящие, мелкий речной жемчуг
но как сосчитать тебя
как с тобой обходиться
носи неси
вынашивай во вне проникновение
действие вшито в завершено
лицо твоё в безвинном броске безупречно
замерли кратким течением
лоскутном движением серебристые ноги
и ещё шифт шифт настройщик спалился сломался
набивает зелёнкой и йодом принты на солёных бинтах:
слепни губ, реплики маленьких пальцев
что же ещё мы не сделали
во ради тебя? съели, ни косточки
не оставили диким собакам
механическое проталкивание
сна накануне любимого
поверх символов
по-над синтаксисом
внутри семиотики обрушения
поцелуй привратника
спрятанный в передышку
между глотка́ми

***

необходимые почести воздадим
свинье и печальной корове и бледному тигру

стеклу и скупому бетону и решёткам
кованым кристаллическим
юбке и шёлковой водолазке и удобному рюкзаку
основным ритуалам аборигенов
чтобы сойти за своих

а вообще кстати
нужны ли мы здесь
ты да я *видимо* тоже
и в обратную сторону
чьи это голоса
не разберу

в поисках главного
нужны ли мы здесь

ты да я видимо *тоже*
и в обратную сторону

чьи это голоса

не разберу
в поисках главного

нужны ли мы здесь
ты да *я* видимо тоже
и в обратную сторону
чьи это голоса
не разберу *кстати*

в поисках главного

молча ждут своей очереди
как бы объекты и их имена

чьи это голоса
уснули под тенью дерева
на языке которого говорят

***

один сосок выше другого и что
перед тем как открыть
очередное сухое
посмотри в глазок
не советуйся но приставай
к дотошным, собирающим

пословно, повдохово
день уходящий в нет и не было и
привет
атакующую нетребовательность гори бори
воскуривай след третьей ноги пришла, стою
преодолевая несложное
несложное производя
артикулируй эхо и это и
случайный ничей

путаться в вероятностях событий
вычёркивать пустые *пустые* места

летит свистит серая кость и
серое мясо за ней
всё флэшмоб
горючее шапито

ты не узна́ешь свой крик
не различишь свою ночь
разобщённый тупой сустав
в гудящей вращающейся глубине
кровопролитного сна в неслышно
расходящихся его волокнах
но и это не то

господи где я
где мои громоздкие веки
нелюбимые имена дверей
где мои сигарета и пить
в неподвижном, глухом контексте

грей время грей время грей

***

ты здесь пока ты нужен

и это всё

справляться с обязанностями
как с любым
вправляться в любое
как в обязанности

в бесплатный для всех четверг
познакомилась с камадевой

он был верхом на зелёном попугае
с луком из сахарного тростника
с тетивой из лесных пчёл
с пятью цветочными стрелами

лифт двигался по горизонтали
в том сне где мы встретились впервые
я подумала как же мне теперь попасть
на мой этаж мойэтажмойэтаж
где он вообще мой это какой
существует ли он

манматхамадана
ты оказался таким красивым
не могу перестать видеть тебя, о
очарована очарована поражена
алым левкоем в паузу между ударами

в случае разрыва
что на счёт территории
что на счёт контроля
где моя видеокамера

линия соприкосновения
нечастая складка

***

«не забыть вернуться»
лабиринты принты ущерба
там где собственное лицо
оказывается неуместным
где сохранён и засчитан испуг
и впервые освоен огонь
вправлен в единородную стигму

обучения ритуалам,
ходьбы, самаяны, офелии,
влекомой мигренью, что вселилась
в тебя как зерно вживляется в
локоть ли, в ржаной позвоночник,
и просит спаси укуси
разреши проснуться

учишься пользоваться этим телом
и другими телами по эту сторону

практика использования
тел правила считывания
невербальных сигналов
признаки разгерметиза
ции кабины и курение в
общественных местах

там в слепом потёке внимания
в лишённой звучания данности
город падает к морю
прижимая к груди падение
прозрачное, пьяное

мы ви́дим нас
ка́к это

***

а то вдруг падаешь в ноль
лежишь летишь

по истечении движения
трогаешь разошедшиеся границы
касаешься краем собственной тени
кристальной тени свидетеля

всё так близко

усиливали усилие
славили слабость
искали тебя
всем миром и
каждый сам как умел

потом согрелись
поймали
самое устойчивое
из всех не-мест

вынули выдох в себя в себя

тянуть расстояние
пока не рвётся
пока длится бумага
и карандашная линия
пока ты разрезаешь нерезкую паузу
пока ты разрешаешь мне

ничего не трогать
ни на что не смотреть

***

блаженны падающие
ещё вчера
их спасут упавшие

открытые противоречия *вдох*
относительное спокойствие *вывих*
восходим на мост наощупь
снимаем платья и парики
отстёгиваем груди, губы

трахаться чтобы выжить
платить совершенную цену
подкармливать прежнюю ветвь

отрицая корень выманивая
пустые крючки вынимая
слепые пятна погони

ощущение головы склонённой
под бегущей на месте мыщцей

требовать позднее имя
подхваченное взглядом в упор
и следующую подсказку

белое беглое *это* летит ложится

укрывает интуициями, бледным аффектом
пленные оттиски местности
кажущейся знакомой

***

в строгости встретим
инородную юность

неотличимы шаги охотников
по сырому тёмному лесу
от шагов трав и деревьев
камней и мхов

по коже-тюльпану скользит, мерцает

покажемся демонам демонами
светом свету стеклом стеклу
эклектикой овладеем в
рачительном совершенстве
снимем ритуальные маски свои
и смертоносные щупальца
возложим на центральный холм
следуя норме любви и осколку вращения

передайте этому что я есть
что я существую
пусть найдёт меня
как во́лос тонкое острое
как подёрнутый выдохом корень
пусть обнимет мои два процента
мою верность горящую знаку
антропологическую изнанку

обернись, осмотрись
всюду полезное время
гаснущее ничто
и всего достаточно
и неокрепшие здешние звери, новорождённые ангелы
металлически обнимают видимые полтела
вылизывают несметной ямы
пустые сосцы

смотрят прямо, но мимо
ни о чём не поют, но поют

Егор ФЕТИСОВ

РАССКАЗЫ

Свет

Язык пространства, сжатого до точки...
О. Мандельштам

Варлам Семенович хорошо помнил, как комната впервые обманула его, исказив свои очертания. Он больно ударился виском о каркас двери, который словно шагнул внутрь комнаты. Комната стала меньше. Это не испугало его, только удивило. Подумав, Варлам Семенович пришел к выводу, что и удивляться, в общем-то, нечему: ведь его жизнь тоже таяла, и сам он сжимался во времени и пространстве. Его единственный и бессменный костюм, который они с Ольгой купили когда-то к свадьбе, становился всё шире. «Что-то становится шире, что-то у́же», – подумал Варлам Семенович, в десятый раз перечитав скомканное письмо от Ольги, и тихо заскулил, как собака, забиваемая камнями. Он говорил ей, чтобы выходила замуж, что жизнь еще может наладиться, но в глубине души боялся, что она и правда сменит судьбу окончательно. Теперь, когда это произошло, комната воспользовалась его растерянностью и ощутимо сжалась вокруг него, так что обои натянулись на стенах и лопнули сразу в нескольких местах.

Дочка нашла его ползающим по полу с портняжным метром в руках. Варлам Семенович перемерял комнату.

– Па, ты что, продавать ее собрался?

Он не мог объяснить Вике про маму, про пиджак, который они покупали вместе к свадьбе. Он и сам себе не мог объяснить всего этого. Свалил на ЖЭК. «Попросили перемерить». После Викиного ухода долго искал документы на комнату, чтобы сверить цифры. Но документы пропали, а во дворе-колодце, куда выходило его единственное окно, бессмысленно захохотала женщина и исчезла в черном проеме арки.

Потом, когда Вика уехала на север Германии, в местечко Мюккендорф, Варлам Семенович нашел опрокинутые цветочные горшки, стоявшие на окне. Земля наполовину высыпалась. Очевидно, что окно придвинулось к центру комнаты, куда Варлам Семенович переставил письменный стол, – по меньшей мере, на широкий шаг. Он снова перемерил комнату, чтобы сверить со своими же прежними цифрами, но прошло уже порядочно времени с того первого раза, и бумажку с записями он отыскать не смог. Наверное, выкинул. А зря.

Варлам Семенович подошел к окну вплотную и уставился в него с вызовом. Из щелей тянуло холодом. Варлам Семенович почувствовал, что замерзает, буквально не может пошевелить ни

Егор Фетисов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 1999 году закончил немецкое отделение филологического факультета СПбГУ. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Печатался в журналах «Новый мир», «Арион», «Октябрь», «Урал», «Волга», «Нева», Homo Legens, «Новый Берег», Литературa и др. Автор книги стихов «Лишь часть завета из ниоткуда...» (СПб, 2012), романов «Пас в пустоту» (СПб, 2014) и «Ковчег» (М.: Время, 2018). Редактор литературного журнала «Новый Берег». С 2013 года живет в Копенгагене.

рукой, ни ногой. Он оцепенел, как цепенеет человек на грани сна, чувствуя, что он не хозяин больше своим конечностям.

В коридоре хлопнула входная дверь. Вернулся сосед по коммуналке. И Варлам Семенович вырвался, стряхнул с себя наваждение. Решил, что больше не будет ничего мерить: и без того было очевидно, что комната сокращалась в размерах. Он где-то читал, что Вселенная на самом деле тоже вовсе не бесконечно расширяется, а, напротив, бесконечно сжимается, подобно его комнате. «Любопытно», – подумал Варлам Семенович, но к окну больше не подходил.

Потом та история на работе. Он вспоминал, как все его отговаривали. Ему хотелось так думать. В действительности, всем было наплевать. В конце концов, речь шла всего лишь об отъятии жизненного пространства у чужого, в сущности, человека. Варлам Семенович даже не представлял себе, насколько бесповоротно чужим он оказался, что называется, в одночасье. Одна пожилая и с виду безобидная старушка, которой студенты дали прозвище «папоротник» за ее малоподвижную во всех отношениях сущность, даже высказала предположение, что Варлам Семенович – нечист на руку, и демонстративно подвинула к себе сумочку: дескать, теперь и оставить на кафедре ничего нельзя будет.

«Что случилось?» – одними глазами вопрошала молодая бодлереведка, имевшая минимум часов и потому нечасто появлявшаяся на кафедре. Ей никто не ответил.

И только Валентин Абрамович со вздохом констатировал:

– Мир сошел с ума.

И осторожно прикрыл за собой дверь кафедры, как будто она могла сорваться с петель. В коридоре он протер запотевшие очки знавшим лучшие времена платком, им же вытер запотевшую не меньше очков лысину и шаркающей походкой двинулся в преподавательский буфет. Валентин Абрамович пытался заступиться за Варлама Семеновича, однако заведующая сразу пошла с козырной карты. На Валентина Абрамовича пожаловались две студентки, еще пару семестров назад, что он во время зачета пытался погладить их по коленке. Виктория Дмитриевна приберегла тогда эту информацию и, как теперь выяснялось, не ошиблась. Впрочем, Валентин Абрамович нисколько не смутился и, не обращая внимания на пробежавший по кафедре шепоток и местами даже хлюпнувшее хихиканье, тут же удушенное шарфиком, расстроенным голосом возразил, что раньше, когда он был моложе и хорош собой, никто не жаловался.

«Раньше никто не жаловался», – беззвучно бормотал он и теперь, шаркая по коридору и вытирая и без того протертые до дыр дореволюционные паркетины.

«Мир сошел с ума» – так называлась книга, которую скандинавист Варлам Семенович предложил своим студентам. Лучше бы, конечно, не предлагал. И спокойно доработал даже не до пенсии (он уже до нее доработал!), а просто – до отведенного ему конца. Но они проходили Вторую мировую, и Варлам Семенович подумал, что его ученикам интересно будет узнать, что думали люди в нейтральной Швеции. Предлагая им прочесть дневники Линдгрен 1939–1945 гг., он не имел в виду как-то оскорбить свой народ или раскачать лодку, чтобы кто-то из нее с плеском вывалился. Он был далек от этих мыслей. Просто дневники показались ему любопытными.

Однако на имя ректора их вуза пришло письмо, где красным карандашом были отчеркнуты места, на которые ректору предлагалось обратить внимание. Это не мир, а сама Линдгрен сошла с ума, говорилось в письме, описывая меню своего праздничного стола («окорок весом в три с половиной килограмма, домашний паштет, жаркое, телячья печень, копченый угорь, оленина»), в то время, как дети в блокадном Ленинграде умирали с голоду. Она столь же двулична и лжива, как и ее, вполне возможно вымышленная, финская подруга, с чьих слов Линдгрен описывает зверства «русских оккупантов», включая расстрелы детей, изнасилования и распятие на крестах финских женщин. Как можно заставлять детей читать автора, заявившего, что он «лучше будет всю жизнь кричать: “Хайль Гитлер!”, чем иметь в Швеции русских»?

Ректор написал другое письмо, значительно короче того, что получил сам, и шестеренки, заскрежетав, сдвинулись.

Варлам Семенович нервно ощупывал всеми пятью пальцами переносицу, фиксируя ее сложную форму. Это было нервное. «Она просто считала Гитлера и Сталина монстрами, обоих...» – пробормотал он.

– Вы, я вижу, уже берете на себя ответственность судить целые поколения, Варлам Семенович, – сухо процедила заведующая. – Непонятно только, откуда в вас такие смелость и уверенность.

«Мир сошел с ума...» – подумал Варлам Семенович, вернувшись в свою комнату. Между шкафом и письменным столом теперь и кошка бы протиснулась с трудом, а пространство, которое еще вчера было между ними, испарилось, как лужа на жаре.

«Пускай, – подумал Варлам Семенович. – Пространство – это не главное. Главное – свет». Он встал с кушетки, подошел к выключателю и с внутренним беспокойством на него нажал. Лампочка под потолком вспыхнула, и к Варламу Семеновичу вернулось самообладание.

Через день опять собрали кафедру, на которую теперь уже были приглашены студенты. Двое, не сдавшие ему последнего зачета. Они подтвердили, что он заставил их читать дневники Линдгрен, хотя их не было в программе, и недвусмысленно намекали на свои проблемы с зачетом, связанные, якобы, с нежеланием читать эту «мерзость».

Заведующая заверила их, что во всем разберется. Голосование прошло гладко.

Сучком оказался Валентин Абрамович, который проголосовал против увольнения, а задоринкой – молодая бодлереведка, которая почему-то воздержалась и которой теперь Виктория Дмитриевна устраивала выволочку в коридоре с рефреном: «Ну от вас-то, Настя, я этого никак не ожидала».

Валентин Абрамович умер через два месяца после того, как Варлама Семеновича уволили. Он бы и не узнал о случившемся, да бодлереведка позвонила, раздобыв откуда-то номер. Сказала, что прощание на следующий день в два.

Он пришел к пяти, когда все уже разошлись. Долго смотрел на охряного цвета деревянный крест на могиле человека, который никогда не был его другом, даже близким знакомым не был, а теперь вот оказался вдруг дорог, как разбитая ваза, простоявшая незамеченной все годы в углу.

«Что там, Валя, с той стороны?.. – подумал Варлам Семенович. – Любопытно...»

Варлам Семенович больше не раскладывал диван – некуда было. Он спал на собранном, не снимая костюма, в котором он ходил на работу и который они когда-то... Он попытался вспомнить тот день и не смог. А ведь это был один из самых счастливых дней в его жизни. И Варлам Семенович тщетно гонял его в памяти, как последний огурчик в трехлитровой банке. Сама погоня за этим днем теперь увлекала его больше всего остального. Он пытался вспомнить погоду... Во что Ольга была одета. Но вспомнил только время года и пирожные, которые они ели в каком-то кафе, стоя за высокими столиками. Теперь этого кафе уже не было. Что-то было вместо него, но что – Варлам Семенович тоже не помнил.

Он с трудом пробирался через мебель, которая, к счастью, понемногу начала исчезать. Всякий раз, вернувшись с прогулки, Варлам Семенович не досчитывался еще пары квадратных метров. Наконец, остались только сложенный диван и лампочка над ним. Зато не нужно было больше подниматься, чтобы щелкнуть выключателем: стены придвинулись вплотную к кровати.

«Как же так... – думал Варлам Семенович. – Весь мир – один сплошной фантом, гигантская иллюзия. Мы ничего не знаем ни об истории, ни о литературе, ни о пространстве... Ни о любви... Живем, ничего не зная о самих себе... А ведь это очень любопытно...» Он достал из внутреннего кармана окончательно измятого и замусоленного теперь пиджака то самое, последнее письмо от нее и перечитал.

«Да, всё это очень любопытно», – тихо сказал Варлам Семенович и щелкнул выключателем. Лампочка вспыхнула так ярко, как никогда прежде. Раздался громкий хлопок, и Варлама Семеновича не стало.

Лост энд фаунд

Г. К.

Эту историю, как и все прочие истории, когда-либо записанные мной, я где-то и от кого-то слышал. Впрочем, в данном конкретном случае нет причины делать из мухи тайну: мне пересказали этот случай возле большого мусорного контейнера неподалеку от станции метро «Маяковская» в городе Москве. И сделал это Семен Проживальский. Не знаю, родственник ли он тому Николаю Пржевальскому, в честь которого лошадь назвали. Во всяком случае, пишется фамилия Семена именно Проживальский, он мне даже паспорт показал для наглядности. Тем более что с паспорта вся эта история и началась.

Семен несколько лет назад приехал к своему другу в датское королевство. И пока на поезде ехал из аэропорта до места проживания друга, засмотрелся на стройную, высокую и во всех отношениях сногсшибательную норвежку. С чего он решил, что это была именно норвежка, а не датчанка, я у него спросить не догадался, а теперь уже как-то неловко беспокоить его этими деталями, к тому же он каждый раз расстраивается, их припоминая. Да и какая, в общем-то, разница. Норвежка и норвежка. Они примерно одинаковые с датчанками – в смысле роста, веса и прочей внешности.

Короче говоря, засмотревшись на норвежскую девицу, Семен вышел из поезда, оставив часть вещей, паспорт и половину денег на багажной полке в вагоне. Еще хорошо, что вторую половину денег он в карман положил, когда уже начал их тратить, покупая билет на поезд. А паспорт, понятное дело, целиком забыл в вагоне.

На следующее утро пропажа обнаружилась, и Семен с другом поехали в Швецию, в город Мальмё – на другом берегу пролива Эресунн. Потому что поезд был шведский: из Мальмё в Хельсингёр, где, кстати говоря, замок принца Гамлета. Ну да бог с ним, с принцем, и без него довольно драматично вышло.

Приехали они в Мальмё, пошли в привокзальный полицейский участок спрашивать, не принес ли кто сердобольный документы и деньги. Или хотя бы документы. Никто не приносил, говорят им полицейские. И видно, что полицейские им рады, потому что скучно сидеть целый день в Мальмё при вокзале. Городок-то небольшой, и почти никто никогда ничего не приносит, потому что почти никто никогда ничего не теряет. Аккуратный народ, скандинавы.

– Что же, тут совсем никто ничего не оставляет в поездах? – спрашивает Семен.

Один из полицейских говорит, показывая на три пачки книг в серой упаковочной бумаге:

– Почему же не оставляют? Оставляют. И даже намеренно оставляют.

И поясняет, что шведская барышня, писательница, уже несколько раз намеренно оставляла в вагоне пачку своих книжек в надежде на то, что кто-нибудь найдет и прочтет, а может, и друзьям потом подарит лишние экземпляры. Но нет, все пачки в итоге приехали обратно в Мальмё. Хотя, может, конечно, кто-то и взял книжку-другую: неизвестно же, сколько таких пачек барышня оставила.

«Грустное обстоятельство, – подумал Семен. – До чего все-таки литература докатилась... До такого морального унижения». И попросил у полицейского книжку.

Тот ему с радостью подарил экземпляр.

– Она только рада будет, – сказал полицейский, похлопав Семена по плечу.

По-шведски Семен, конечно, ни слова. В отличие от его друга, который и по-датски, и по-шведски, и по-норвежски. По причине похожести этих языков.

На обратном пути друг Семена прочел несколько страниц и, вздохнув, вернул ему роман.

– Барахло, – сказал он с грустью.

Семен хотел уже положить книгу на верхнюю полку, но потом подумал, что она приедет обратно в Мальмё, и ему стало вдруг очень неловко перед полицейскими. И перед барышней. И он убрал книжку в рюкзак.

Она и сейчас стоит в его библиотеке на видном месте. Он по-прежнему не знает, как она называется. И о чем она. Это и неважно, потому что с ней связана своя история, а история – это всегда литература.

Барсучья тень

Часы, короткая стрелка которых добралась до часа ночи, издают глухой щелчок. Днем они били по-настоящему, в деревянном домике открывались миниатюрные дверки, оттуда выглядывала кукушка, больше похожая на потрепанного попугая, издавала звук, услышав который ночью в джунглях, вполне можно было сделаться заикой, и скрывалась обратно, в то время как часы еще какое-то время шуршали цепочкой, приводя себя в порядок. Елена Ивановна была бы рада сейчас появлению птицы, но сестра еще несколько лет назад вызвала мастера, и тот настроил механизм на правильный лад: по ночам часы издавали только сдавленный всхлип, потом спохватывались и вели себя смирно. Сегодня Надежда, сестра Елены Ивановны, дома не ночевала, уехала к подруге в Псков на крестины и должна была вернуться завтра во второй половине дня. Елена Ивановна отпустила ее с легким сердцем, ей хотелось хотя бы на сутки освободиться от неусыпной заботы, побыть одной.

К десяти вечера должен был заехать Василий и переложить ее из инвалидного кресла на кровать. Он делал это часто, большую часть вечеров, и только когда уезжал из города или кутил с друзьями допоздна, приходилось просить соседа с третьего этажа спуститься к ним и помочь. Хотя ей было спокойнее, когда она чувствовала руки Василия. Он двигался уверенно, хотя не был таким уж крепким или спортивным. У него была сноровка. Руки и ноги у Елены Ивановны как сухие спички, ей постоянно кажется, что они вот-вот переломятся, сухо щелкнув и причинив ей еще большую боль, чем та, которую она испытывала все эти годы, десятилетия, с самого детства...

Василий позвонил в половине девятого. Елена Ивановна своей высохшей ручкой, больше похожей на птичью лапку, с трудом нажала на кнопку громкой связи: подносить трубку к уху она не могла. Василий попал в аварию и ехал в отделение ГИБДД оформлять документы.

– Вы же знаете, Лена, какие там очереди, это растянется на полночи...

Она не знала, какие там очереди, но сказала, что да, конечно, она понимает. На самом деле, она многого не знала о внешнем мире, и если бы ей предложили поехать сейчас на ночь глядя, в это место с удивительным и чарующим названием «гибэдэдэ», она была бы счастлива, потому что это все-таки было гораздо, неизмеримо, непоправимо больше, чем кусочек мира за ее окном. Хорошо, что они живут в бельэтаже: если открыть окно, слышно, как проезжают машины, люди гуляют с собаками и с другими людьми, слышны разговоры, пускай, только обрывки разговоров, но остальное несложно додумать. Ночью вообще слышно каждое слово, несмотря на то что стол, за которым сидит Елена Ивановна, стоит в самом центре комнаты, на порядочном расстоянии от окна.

Только что подошли парень с девушкой. Они курят, она узнает дым «Парламента», как узнала бы и любой другой дым, какую бы марку сигарет они не распаковали. Распаковывает девушка, потому что парень время от времени прерывает шелест тончайшего оберточного целлофана изъявлениями желания помочь.

Девушка говорит, что нет смысла так продолжать, его мать ее терпеть не может, и после четверга, когда она назвала ее жидовкой и вытолкала из квартиры, ее ноги больше у него дома не будет.

– Ну, не вытолкала, ты преувеличиваешь... – пытается возразить парень, но голос звучит хрипло, слышно, как он волнуется.

Елена Ивановна думает, что люди не ценят того, что у них есть. Ах, господи, ну не ходи ты на те лестницы, где тебя выталкивают, стой спокойно под накрапывающим дождиком, впитывай в

себя каждый миг моросящего счастья, шелести оберткой сигаретной пачки. Вот и сама она, еще до того страшного дня, когда случилась злополучная прививка, умела рисовать, но не ценила этого, не понимала, дурочка, как ей повезло это уметь...

Девушка удаляется на шпильках, слышно, как они громко щелкают по тротуару обезлюдевшей улицы. Парень остается. Она чувствует дым от его сигареты, он продолжает молча курить под окном. Она секунду колеблется, не позвать ли его зайти, может, он сможет переложить ее на кровать.

«Молодой человек», – изо всей мочи кричит она, но он или не слышит, или, скорее всего, не догадывается, что крик адресован ему. Запах слабеет, перестает вкатываться в комнату волнами с определенными интервалами: он больше не выдыхает сигаретный дым. Ушел. Или умер. Елена Ивановна живо представляет себе, как он умер от несчастной любви. Хотя, вернее всего, молча страдает. Она могла бы выслушать его страдания, побыть хотя бы какое-то время его наперсницей.

Сцена пустеет. Волк ушел к другому волку повыть за компанию. Коза отчалила еще раньше. А козлята... Она думает, что хорошо бы написать текст «Без козлят». Была бы Надя дома, можно было бы ей надиктовать, та в это время обычно еще не спит. Это самые счастливые часы в жизни Елены Ивановны: Надя наливает ей вина, сидит напротив за столом и тщательно записывает все, что диктует сестра. Елена Ивановна и сама может держать в пальцах карандаш, и даже получаются какие-то линии, но прочесть их потом почти невозможно. Она вдруг резко ощущает, чего ей особенно не хватает в эту минуту. Конечно, выпивки. Разговоры, коньяк и нечастые поездки на машине, на которую она столько лет копила и подарила Василию с условием, что тот будет ее возить, – вот вещи, радующие ее больше всего в жизни. И книги. Хотя книги теперь уже не так. Не так как раньше. Василий машину взял, но возит Елену Ивановну крайне редко, больше «бомбит» теперь на ней, не стесняясь брать у ничего не смыслящей в технике Надежды деньги на бензин и мелкий ремонт.

Поэтому поездки ей в основном снятся. Снится, как они едут через поля по бесконечной проселочной дороге, окна опущены, и в них летит пыль, благословенная пыль жизни. А по обеим сторонам дороги – чудные, огромные растения с белыми зонтами, похожие на дореволюционных барышень. Кто-то объяснил ей, что они называются борщевики, и если их сок брызнул человеку на кожу, то потом на солнце можно получить ожог, не проходящий очень долго, чуть ли не годами. Благословенные растения, способные наносить ожоги, а не только послушно торчать из грядки или кастрюли. Надо написать о них. Непременно. Вот только вернется из Пскова Надя...

Еще Надя ей читает. Вся комната по периметру заставлена книгами, самыми разными: от принесенных вчера кем-то из друзей до антикварных, покрытых пылью, оставшихся ей от матери, большую часть жизни проведшей в эмиграции в Париже. Некоторые экземпляры довольно ценные. Что-то они уже продали, когда собирали деньги на покупку машины. Ей не было жалко. Она любит книги, но не привязывается к ним так, как к людям. Книги не могут заменить людей, хотя и преданно окружают ее все эти годы. Те из них, которым не хватило места на полках, лежат штабелями на полу, и порой приходится осторожно разбирать высоченную башню, чтобы добраться до какого-нибудь запыленного экземпляра. Елена Ивановна давно перестала обращать на пыль внимание. У Нади не доходят до этого руки: ведь на то, чтобы протереть эти развалы, уйдут недели. А на уборщицу нет денег. И потом, пыль все-таки какое-то, пусть косвенное, свидетельство того, что время существует. Ну не пластиковой же кукушке, в самом деле, свидетельствовать о времени.

Очень устала спина. Корсет надо менять каждые полгода, но в России нет нужной материи. Друзья возят из Берлина, и ей неловко просить их слишком часто: он стоит денег. Все в жизни стоит денег, и когда у тебя их нет, то тебя вытесняют из жизни в предбанник, в каморку ожидания. Люди проводят в ней годы. Послушно торчат из кастрюльки, пока их варят. Спина болит нестерпимо, когда сидишь так по несколько часов кряду. Нужно лечь, пластины корсета уже бессильны поддерживать мышцы.

Внезапно она слышит шорох, заставляющий ее забыть о боли в спине. Как будто кошка скребет стену под окном. Только это не кошка. Елена Ивановна с ужасом и восторгом видит, как в окно медленно забирается человек. В темноте он выглядит загадочным животным, огромным серым барсуком. Надя давно уговаривает поставить решетки, но Елена Ивановна никогда на это не согласится. Окно – единственное, что у нее осталось. Решетка изуродует последний оставшийся ей взгляд на мир. Окончательно превратит ее комнату в тюремную камеру. Часы придушенно всхлипывают, незаметно прошел целый час, и барсук вздрагивает, замирает в оконном проеме. Потом почти беззвучно соскальзывает в комнату.

Голос у нее всегда с хрипотцой, как у галки или вороны.

«Не бойтесь, включите свет», – выкаркивает она, и тень барсука застывает по ту сторону стола. Это молодой человек, невысокий, вообще неприметный, чему способствует темнота в комнате.

«Не бойтесь же, я вас не съем», – повторяет она.

Тень отступает на несколько шагов к окну. Елена Ивановна страшно боится, что незнакомец сейчас уйдет. В кои-то веки ей несказанно повезло, к ней залез самый настоящий вор, и вот все висит на волоске, еще чуть-чуть, он выскользнет обратно в проем окна и навсегда исчезнет под моросящим дождем. От страха, что она сейчас потеряет своего нежданного гостя, Елена Ивановна сжимается в комок.

«Кроме меня, в квартире никого, – успокаивает она тень. – Там справа от вас выключатель, на уровне вашего плеча, нажмите, будьте добры».

Только сейчас он, видимо, разглядел, откуда идет голос.

«Не уходите, – просит она. – Мне что-то сегодня одиноко. Хреново, когда рядом ни души».

Барсучья тень стоит, не двигаясь, не зажигая света, но и не порываясь больше вылезти обратно в окно. Незаметно озирается по сторонам.

«Ты не мог бы принести мне выпить? – Елена Ивановна переходит на ты, подумав, что это разрядит обстановку, да и вообще она предпочитает быть с людьми на ты. – Там на кухне рядом с холодильником бутылка коньяка и рюмки. По коридору направо, дверь на кухню – слева. Бутылка, как войдешь на кухню, справа от холодильника на столике. Там еще много всего навалено, наверняка, я там давно не была, гости говорят, что страшный бардак. Но ты поищи, милый».

Тень огибает стол и исчезает за спиной. «Для вора он что-то полноват, и впрямь барсук, – думает она. – По всей видимости, это не вор. Хотя – как назвать человека, влезающего ночью в чужую квартиру через окно?»

Он стучит чем-то на кухне, хлопает дверцами полок. Наверное, ищет серебро. Серебро у них какое-то есть, тоже осталось от мамы. Фотография мамы висит рядом со столом, на стене, но в темноте нельзя разобрать черты лица. Она всегда была очень красивой женщиной. И долго отказывалась стареть.

Наконец барсук возвращается с бутылкой и кружкой.

«Стакан, что ли, не мог найти? Кто же, милый, коньяк из кружки пьет, – причитает Елена Ивановна, но быстро спохватывается: это ведь он стаканы искал на кухне, а не серебро. – Спасибо. Лей, милый, лей, не стесняйся. Стоп!»

Она отсчитывает норму на слух, по булькам. Если больше, то ей становится плохо. Ее мучают кошмары и галлюцинации. Наверное, алкоголь плохо сочетается с лекарствами, которые она принимает.

«Подержи, милый, у рта, только аккуратно, сильно не наклоняй, зальешь меня всю».

Она делает три глотка и задыхается от огненного потока в груди.

Все-таки хорошо, что на свете живут барсучьи тени, залезают в дома, воруют у людей деньги, наливают им коньяк. Ночь становилась все более чудной, это был настоящий восторг, и никакая боль в позвоночнике не могла затмить этого восторга. Глаза Елены Ивановны сияют, только этого не видно в темноте, а свет барсучья тень включать боится.

– Уф, хорошо, – вдыхает Елена Ивановна. – Давай еще глоточек.

Сделав пару глотков, она мычит, сигнализируя, что хватит, и тень послушно отнимает кружку от ее губ.

Отдышавшись, она спрашивает, что именно тень ворует. Ей, конечно, все равно, просто интересно, какие сейчас специализации у воров. Ведь жизнь не стоит на месте. Она слышала, что через компьютер можно украсть гораздо больше денег, чем залезая в окно. Или через подставные организации и фонды. Телевизора у нее нет, но она смотрела в интернете, как чиновник, она не помнит фамилию, да и неважно, украл столько денег, что его жена возит собак на выставки на частном самолете.

– Я ему завидую, – мечтательно говорит Елена Ивановна. – И его жене, конечно, тоже. Но особенно собакам. Представляешь, лететь на частном самолете! Ты там можешь сесть у любого окна, и вытянуть ноги в проход, и пить мартини, и смотреть на квадратики лесов и полей внизу, на заплатки городков. Какое это счастье – украсть столько денег, – вздыхает она и добавляет:

– Мне нельзя летать на самолетах. Ни на каких. Ни на частных, ни на общественных.

И вдруг барсучья тень начинает говорить. Голос у нее высокий, мальчишеский. Тень произносит:

– Моя девушка работает стюардессой. Много летает на самолетах.

Елена Ивановна почти не дышит. Она боится спугнуть тень, сказать что-нибудь неловкое и захлопнуть это внезапно приоткрывшееся окошко в чужой мир.

Какое-то время они молчат. Потом тень исчезает на кухне, опять стучит дверцами, уже настойчивее, потом льется вода, и тень возвращается с двумя чисто вымытыми стаканами.

– Я не нашел, чем вытереть. У вас там очень грязно. Настоящая свалка.

– Я инвалид, а сестра еле успевает справляться со мной, моим лечением, успевает еще подработать, чтобы мы не умерли с голоду. Тут не до уборки.

– Я не знал, что вы инвалид.

– Понятно, – улыбается она. – Мы вообще не очень близко знакомы.

– Я вообще-то не вор, – вдруг говорит тень. – Просто мы с ней стояли под вашим окном, ссорились. Со стюардессой, я имею в виду. Потом она ушла. А мне показалось, что в вашей квартире кто-то кого-то звал на помощь. Я все ждал, что включится свет... Потом решил подтянуться на руках и заглянуть в комнату. Я не думал перелезать через подоконник. Сам не знаю, как так вышло.

– Ничего, я тебя не виню, как видишь, – говорит она. – Напротив, ты скрасил мое ночное бодрствование. К тому же я звала именно тебя.

– Меня?

– Я слышала ваш разговор. Невольно слышишь, о чем люди говорят, когда они останавливаются прямо под открытым окном. А здесь рядом урна, кто-нибудь всегда курит.

– Ясно.

Он наливает коньяк ей и себе, поддерживает ее затылок и осторожно дает сделать глоток. В его действиях ощущается неловкая, но все-таки забота. Он мог бы быть ее сыном. Раз уж Бог не дал ей своих детей. Ей нельзя больше пить, но она совсем сейчас об этом не думает. Ей давно не было так хорошо, как сейчас.

Тень ставит стакан на стол рядом с ней, потом выпивает свой коньяк и говорит, что уходит.

– Простите, – говорит тень. – Мне нужно идти.

Елена Ивановна вздрагивает. Уже. Так быстро. Неужели нельзя никак продлить эти минуты, сделать что-то, чтобы карета не превратилась обратно в тыкву.

– Подожди, – говорит она. – У меня, кажется, для тебя кое-что есть. Тебе ведь нужны деньги?

– Да, – отвечает тень. – Мне нужно снять квартиру. Хотя бы на несколько месяцев. Она сказала, что останется со мной, если у меня будет дом, в который я смогу ее привести. Она не та девушка, которая согласится на рай в шалаше. Ей нужен минимальный уровень комфорта, так она сама говорит. Живя с родителями, она привыкла к комфорту.

Он объясняет, что не хочет бросать учебу, а халтуры, которую он набрал в свободное от учебы время, не хватает. Что его мать категорически против их отношений. Видимо, надо все-таки бросать вуз и идти работать на полный день. Когда выбираешь между любовью и учебой, выбор очевиден, говорит тень.

– На самом деле, если начистоту, то у меня мелькнула мысль, что я смогу у вас чем-нибудь поживиться. Стыдно об этом говорить, но так я подумал, да. Возьму что-нибудь, что можно загнать, а если проснутся, скажу, что услышал крики, думал, нужна помощь.

Какое-то время они молчат.

– Погоди, у меня есть экземпляр Пиранделло с автографом автора, – говорит Елена Ивановна. – За него можно получить неплохие деньги у антиквара. Только не нужно отдавать за бесценок первому попавшемуся.

Он не знает, кто такой Пиранделло. Он технарь. «Что ж, – думает она. – Теперь и гуманитарии не все знают, кто такой Пиранделло». Да и важно ли это знать. Вот она знает, кто такой Пиранделло, можно подумать, она стала от этого хоть немного счастливее.

Надя на днях прочла ей, что английский аукцион Сильвервудс выставляет книгу Гитлера «Майн кампф» с автографом автора на торги и надеется выручить не меньше тысячи английских фунтов. Елена Ивановна удивилась и сказала, что дала бы больше, если бы у нее были деньги.

– За книжку этого чудовища?! – возмутилась сестра.

Елена Ивановна объясняет барсучьей тени, что за Пиранделло можно выручить, по ее прикидкам, тысяч шестьдесят – семьдесят, а это уже несколько месяцев аренды.

Тень отказывается включать свет.

«Нет, я не боюсь, просто мне... неловко будет смотреть вам в лицо».

Гость роется в книгах, вооружившись фонариком в мобильном телефоне. Она подсказывает, где смотреть. Но книга как сквозь землю провалилась. Они перерыли целые груды, тень начинает безостановочно чихать и идет в ванную умываться.

«У вас очень пыльно. Я чувствую, что мне тяжело дышать, несмотря на открытое окно. Мы тут подняли целые клубы пыли».

Она пробует уговорить его поискать еще немного, но ночной гость относит стаканы и бутылку на кухню, причем стаканы моет, до нее доносится звук льющейся воды, и, вернувшись в комнату, говорит, что ему пора.

– Уже полтретьего ночи.

– Ты не мог бы переложить меня на кровать? – просит она.

– Конечно.

Он переносит ее, как ангелы переносят людей, когда им приходится этим заниматься. Она уже совсем пьяна, и счастлива, и несчастлива от того, что барсучья тень уходит.

– Можно я... – тень подыскивает слово. – Можно мне выйти через дверь?

– Конечно. Ты... зайди через пару дней. Вернется моя сестра, и мы найдем тебе Пиранделло.

Он обещает, но она чувствует, что он больше никогда не придет.

Шаги по коридору. Дверь скрипит, щелкает замок. Наступает тишина. Только машина проезжает по соседней улице, и снова все стихает. Елена Ивановна прислушивается – не раздадутся ли его шаги за окном, но он, как и подобает тени, растворился в ночи.

В голове ее все кружится – от выпитого и пережитого.

Она успевает подумать, что нужно будет написать рассказ «Барсучья тень». Вот вернется Надя, и Елена Ивановна ей надиктует. Не стоит рассказывать Наде о случившемся, иначе она точно сделает решетки на окнах. А это конец. Тюрьма. Пусть это будет рассказ, думает она, проваливаясь в сон. Плод воображения. Тень. Барсучья тень.

Антон ПАЙКЕС

ТАНЦУЮЩИЕ НА КРЫШАХ

Повесть

Светофор

Большой шоссейный светофор, страдающий неизлечимой дальнозоркостью с момента своего рождения на заводе «Светлана», стоит посреди пустоты. Расклад такой: на пару сотен километров вокруг – ни одного городка с населением больше пятисот человек, со всех сторон на дорогу пытается вылезти бескрайнее дикое поле, в котором чёрт знает что только ни живёт. По правую руку от железяки, если стоять лицом по направлению к убийственно далёкой отсюда Москве, а спиной к не менее далёкому Хабаровску, – пара магазинов и заправочная станция, по левую – исковерканное временными аномалиями село, чем-то похожее на оборванную привокзальную нищенку. Истончающаяся к окончанию мачта, к которой привинчен старый пластиковый плафон, возвышается над этим унылым пейзажем, постоянно напоминая о былых победах и последовавших за ними поражениях. Закатанные в асфальт провода еле питают беднягу током, так что яркого света от него не жди – хорошо, если за полкилометра, увидев, наконец, красный свет, успеешь сообразить и ударить по тормозам.

Архаичным электрическим схемам положено включаться раз в три дня в обозначенный час, не допуская задержек, но и не стремясь наверстать упущенное редкими пешеходами время. Светофор – идеальный исполнитель чужих приказов, не знающий жалости к старости, уважения к зрелости, зависти к молодости и трепета по отношению к совсем недавно народившейся жизни. Его не подкупить, не уболтать, ему бессмысленно жаловаться на жизнь и на то, что власти не догадались прорыть ещё один подземный переход специально для обитателей маленького села, названия которого не вспомнят и самые именитые картографы. Он сам является ничем иным, как побочным продуктом жизнедеятельности этой ленивой администрации: когда из далёкой мифической столицы пришла разнарядка снести светофор к такой-то матери, именно местная могучая кучка из восемнадцати должностных лиц воспротивилась решению центра, ибо никаких служб по демонтажу дорожных сторожей уже лет двадцать как не существует. Если им там так нужно избавиться от последней преграды на пути еле живой промышленности, пусть сами и выкорчёвывают стальное дерево из глубин матушки-земли, покрытой язвами бензиновых луж. Новая экономическая обстановка, говорили они, все должны помогать восстановлению региона, убеждали далёкие сюзерены своих не слишком послушных вассалов на местах. Пусть сначала со своими проблемами разберутся!

В 2050 году светофор, как и все прочие пожиратели электричества в диапазоне от чайников до бойлеров, выключился, и если бы более серьёзные проблемы не занимали тогда мозги, пытающиеся придумать хоть какой-то выход из ситуации, эта новость могла бы показаться радостной. А через пару лет случилось невозможное – проезжая мимо бездыханного села на своём потрёпанном мерседесе конца сороковых, один чиновник вынужден был минуту проторчать без движения,

---

Антон Пайкес родился (1989) и живет в Москве. Настоящая публикация – третья, завершающая часть трилогии «Дожди над рекой», первая была опубликована в журнале Homo Legens (2013, №№ 3, 4), вторая – в «Волге» (2014, № 9-10).

удивлённо озирая безлюдные просторы. Сзади злобно ревели моторам дальнобойные грузовики, но красный свет словно издевался над водителями; единственный на многие сотни вёрст светофор самолично вернулся к жизни в сумерках новой эпохи.

Ангелина Петровна, старушка лет восьмидесяти, в отличие от молодых повес на убедительных автомобилях, ещё помнит времена, когда это было в порядке вещей. Село тогда считалось посёлком городского типа, шоссе – запруженной магистралью, связывающей центр с нефтеносными регионами, заправка на той стороне подкармливалась от пузатой цистерны дважды в сутки, а в полях задумчиво плавали туда-сюда ярко красные комбайны. Птицы пели что-то из The Who, рассаживаясь по проводам, как ноты селятся на нотном стане, и во всей этой цветастой круговерти жили совершенно другие люди, теперь уже не встречающиеся практически нигде, кроме сумасшедших домов и старушечьих скамеек. Сбиваясь в дремотные стайки, укутанные даже посреди палящего летнего зноя, остатки давно канувшего в речку Лету поколения переводят часы и дни, годы и остатки жизней на беспредметные разговоры, начинающиеся со слов «помнишь» и «однажды». Следует заметить, что именно такие короткие и такие ёмкие слова должны были бы быть выбиты на их могильных камнях, если бы у молодящихся детишек и внучков не было своего представления о том, как правильно и что это вообще такое – правильно. У молодости всегда и на всё есть какое-нибудь оригинальное мнение.

А старушка.... А что старушка? Она просто никак не может поверить в то, что совсем уже одряхлела, что её воспоминания внуками воспринимаются не иначе как забавные и неправдоподобные сказки на ночь, коими старые люди почему-то так любят пичкать неспособную быстро заснуть из-за надсадного гудения в крови молодую человеческую поросль. Между тем Ангелина Петровна всегда рассказывала внукам только реальные случаи из своей весьма богатой на яркие моменты жизни. Увы, богатства эти настолько далеки от младшего поколения их скромного семейства, что даже по совершенно пустым глазам старушка уже понимает, что говорит в темноту за окнами. Там, в тяжёлом ночном небе, распростёршем своё огромное тело над далёким-далёким городом, её слушают очень внимательно, там она всё ещё остаётся одной из причин Армагеддона, а не превратилась в пожилую даму со слоновьими ногами. Девочка Ангелина, Геля – не могла постареть, не завершив все свои дела, не разнеся вдребезги всю посуду в огромном шкафу, не устроив дивной пляски на черепках, она состарилась, лишь находясь за тридевять земель от последних очагов угасающей цивилизации и всего, что давало ей силы просыпаться утром.

Ну, какой, право слово, старухой может быть Геля, гроза дворников и московских лавочников? Как так получилось, что это сияющее озорное существо однажды превратилось в Ангелину Петровну, а потом и вовсе в Петровну?

Время неумолимо. Этой прописной истине тысячи лет, но попробуй-ка признаться самому себе, что исключением из этого правила тебе не быть! Ангелина Петровна и ходит-то с видимым трудом: одышка уже давно мучает изношенный организм, но старушка всё продолжает храбриться, что спокойно дойдёт до подземного перехода, будь он хоть в пяти, хоть в десяти километрах от дома. Молодецкий задор ей всё ещё не чужд, вот только силы уже далеко не те, что прежде.

Ангелина Петровна осталась одна в пятидесятилетнем возрасте. Что удивительного? Женщины за сорок здесь вообще чаще остаются в одиночестве по тем или иным причинам, и этот закон практически столь же непреложен, как и неумолимость времени, сила притяжения или зависимость появления насморка от степени промокаемости кед. К ней, конечно, иногда совершали наезды её дети и внуки, но всё реже и реже, да и сама женщина относилась к ним с некоторой долей иронии, граничащей с истерикой. Ничего своего она в потомках не смогла углядеть, хоть и очень старалась, особенно в те далёкие годы, когда накатила апатия и немощь из-за развала Танцующих. Дети и внуки были совершенно чужими людьми.

Сейчас, сидя на холодной скамейке возле светофора, Ангелина Петровна отчаянно старалась не уснуть и даже начала перебирать воспоминания, чтобы как-то скоротать время. Ах, Ангелина! Помнишь, как ты любила танцевать на улице, чтобы ветер обдувал лицо, а люди останавливались в недоумении? Помнишь те высокие крыши, на которые вы, молодые, взбирались в поисках луч-

шей танцплощадки? В эти минуты тебе грезился полёт! Тогда у тебя ещё были тонкие изящные ножки и сапоги с бутафорскими шпорами. Ты танцевала Интернационал на крыше, держа в руках красную скатерть, как когда-то Дункан сжимала пальцами красный флаг молодой республики! Восхитительное горение человека на крыше Федерации. Ты заодно с ветром. Даже прибежавшие по сигналу солдатики раскрыли рты от восхищения и не могли пошевелиться. А теперь эти слоновьи ноги, что растут из чужого тела, не могут пройти лишние пару километров до подземного перехода и заставляют тебя сидеть здесь на холоде в ожидании сигнала.

Ангелина дотронулась языком до зубов, и к ним прикоснулось что-то металлическое. Ах, как глупо, пожурила она саму себя. В твоём-то возрасте бабули и из ушей серьги вынимают, а ты всё никак не вытащишь эту серьгу из своего языка. Да, ты совершенно не осознаёшь, что тебе давно пора на свалку.

Кажется, Ангелина Петровна спит. Сторонний наблюдатель может даже подумать, что она не дышит, но это просто множество надетых на неё вещей скрадывает слабые движения грудной клетки. А без них сейчас уже никуда – тело давно не держит тепло.

Между тем светофор вдруг загорается. Начинает мигать жёлтый, предупреждая скоростной транспорт о том, что скоро придётся остановиться. Досадная преграда на пути большегрузов из некогда богатого нефтью региона. В течение тридцати секунд жёлтый моргает, как неврастеник. А потом вдруг загорается зелёный. Ангелина Петровна, не спите! Переход короткий, всего минута, а вам ещё надо встать, встряхнуться после сна, преодолеть почти сто метров дорожного полотна с сумками в руках и только после этого спокойно направиться домой пить вечерний чай.

Тьма. Несколько грузовиков недовольно ревут перед выцветшим переходом, заехав на стоплинию по древней традиции всех дальнобойщиков мира. Ангелина Петровна наконец поднимает голову и смотрит, как светофор отсчитывает последние десять секунд отведённого ей времени. Женщина даже не дёргается, она понимает, что уже поздно. Ей предстоит пешком пройти два километра до подземного перехода и столько же обратно, так что силы надо поберечь. Грузовики радостно трогаются, с места разгоняясь до своих максимальных двухсот километров в час. Это потолок их возможностей, и Ангелина Петровна им завидует.

Старушка плачет. Просто от обиды. И светофор тут совсем ни при чём. Просто она только что снова увидела Гелю, ту самую сумасбродку, какой она когда-то была и больше никогда не будет. Какое страшное слово – никогда.

Что с того, что жизнь на излёте, что с того, что твоя молодая душа заперта в этом отвратительно толстом теле? Что с того, что ты видела взлёт и падение нового мира? Всё это никому не интересно. В этом забытом богом уголке планеты Земля времени нет. Есть только мучительное ожидание перемен, главной из которых является твоя собственная смерть.

Ангелина Петровна тяжело встаёт, отряхивается, словно испачкалась где-то, поднимает сумки и идёт к подземному переходу. В темноте, освещаемой фарами проносящихся мимо большегрузных автомобилей, она постоянно оступается, стараясь привыкнуть к новым правилам игры, диктуемым неровной дорожкой. Она смотрит вокруг, и то, что она видит, вдруг начинает вызывать у неё отвращение. Мир пытается вернуться к тому, на чём уже однажды прокололся. Как печально и как глупо, думает старушка. Как это мерзко, смотреть, как всё окружающее пространство, разбуженное однажды стихией, схлопывается, пытаясь вернуть себе старые размеры и форму. Но, возможно, так оно и должно быть? Может быть, тупик – это действительно тупик, и никаких потайных дверей, никаких скрытых путей не существует?

Ангелина Петровна останавливается, чтобы перевести дух, и вдруг вскрикивает.

На стене заброшенной заправочной станции она видит свежее граффити. Огромный глаз смотрит на неё с кирпичной кладки, жуткое, пугающее око, в зрачке которого клубится туман и угадываются ещё до конца не сформировавшиеся образы, какие-то машины и огромные стальные шестерни, какие-то неведомые существа. В этом тумане окружающая действительность распадается на части, они закручиваются в спираль, а потом собираются во что-то совершенно новое, непривычное и непонятное.

Улыбка трогает губы Ангелины Петровны. А она ведь только что думала, что всё было зря. Может, она чересчур поспешила с выводами?

У меня во рту чужие зубы

Она звонит мне каждую ночь. Просто звонит и почти всегда молчит в трубку, потому что время искренних и нежных разговоров кончилось несколько лет назад. Она сама случайно поставила точку в конце предложения, вовремя не ударив по тормозам. Её тело пробило лобовое стекло и, перелетев встречный автомобиль, распласталось на асфальте, уже бездыханное. Иногда в бреду мне видится, как миниатюрная девочка лежит на располосованной дороге, нелепо и неправильно выгнув руки и ноги, словно упавшая со стола кукла с шарнирными конечностями.

Она ехала ко мне, напевая любимую песенку «Turn back time» давно забытой группы Aqua, но так и не узнала, что же было потом. Ей невдомёк, что я просидел в кафе весь вечер, волновался, разрывался между желанием позвонить и ощущением, что это бесполезно. Выпил свой и её напиток. Она, конечно, не знает, что тот день изменил всю мою жизнь, что из-за неё я попал в ВОДОВОРОТ немыслимых и абсурдных событий, приведших меня, в конце концов, в пещеру собственной тоски и бессмысленности.

Я не стоял над её могилой, не проливал слёз, для этого у неё был жених. Я был нужен для другого.

Она ничего не знает, потому что три года назад, в пору, когда отцветает лето и первыми холодными ночами пока ещё скромно топчется на пороге осень, кончилось время, сложилось, как снесённый дом, стенами внутрь, и вдруг застыло в таком неудобном положении.

Но теперь не проходит и суток, чтобы она не позвонила. В ночи скрежет звонка звучит особенно страшно. Требовательно, словно я кому-то чем-то обязан, тоскливо, словно нет в мире ничего такого, что может опровергнуть его.

Как только на этот чёртов город опускается темнота, в его гнилом нутре просыпается что-то такое, чему нет названия. Это воспоминания, упущенные возможности, разбитые надежды, все они охотятся на слабых и беззащитных, чтобы влезть к ним в голову и уже не покидать её. Когда в твоей черепушке селятся эти хищники, у тебя есть только два способа от них избавиться – идти дальше, приняв их за домашних животных и дав им имена, или затянуть ремень вокруг шеи. Я же выбрал третий пограничный путь, и гордиться тут нечем.

Зато у меня во рту – чужие зубы. И чужой язык облизывает их изнутри, пытаясь убедиться в том, что они ещё на месте. Словно организм, больной цингой, проводит анализ повреждений, ещё не анализ даже, а лишь обследование и ощупывание, используя какой-то странный влажный инструмент. Чужие зубы тем временем от нечего делать отстукивают основную партию из Кармен. Там-там-тарам-тарам-там-тара... Бездарно сбиваются, не имея возможности осознать, что есть РИТМ и зачем он вообще существует на этом сером свете.

Как они забрались в мою ротовую полость? Однажды я проснулся посреди ночи, сглотнул кислую слюну и привычным движением дотронулся языком до зубов. Они оказались какими-то не такими, как всегда.

«Вот это да!» – подумал я, и ещё: «Что же теперь делать, позвольте спросить?» Я действительно был озадачен. А потом вдруг и язык осознал своё существование, сделал первый шаг на пути к осмысленности. Нёбо вдруг стало чураться этого мокрого пупырчатого червя, холодея от отвращения, и я на полном серьёзе стал переживать за то, смогут ли они ужиться в ограниченном пространстве, укрытом от постороннего взгляда растрескавшимися губами.

«Как бы он теперь не сболтнул лишнего Лене», – помню, подумал я о своём новом языке. Надо как следует за ним следить. Я, конечно, был как всегда пьян.

Каждую ночь в час без названия, когда не совсем понятно, сплю ли я, жив ли я, или уже умер, Лена говорит своим бесцветным голосом, лишённым интонаций, какое-то дежурное приветствие. И я отзываюсь, как три года назад.

– Здравствуй. – Дурацкое слово, особенно когда говоришь с давно усопшим человеком. Но чего ещё можно ожидать от пьяницы, у которого во рту, к тому же, чужие зубы и язык? Каждый вечер я с трудом добираюсь до дома, и всё для того, чтобы не пропустить её звонок. Не знаю, что случится, если никто не поднимет трубку. Так ли необходимо ей отвечать? Нет. Просто ритуалы придуманы для того, чтобы их регулярно повторяли. Нарушать законы вселенной запрещено даже алкоголикам.

– Знаешь, – сказал я ей однажды, – мне кажется, что во рту у меня совершенно чужие зубы.

Она лишь хмыкнула, и я сразу представил, как она умильно морщит носик. Где-то там, по ту сторону дождя.

– Это только начало.

– Чего?

– Может, перерождения. Ты веришь в перерождение? Это как у змеи. Ты сбрасываешь кожу, а через несколько дней уже щеголяешь в новой. Так и у тебя – будешь с новыми зубами.

Я попытался представить, что я буду делать с совершенно новыми белыми зубами, на которые ещё действует гарантия. Как ни крути, это ПЕРЕРОЖДЕНИЕ, как его назвала Лена, было совершенно бессмысленным. Чтобы переродиться, надо хотя бы умереть, а меня уже пару лет преследует мысль, что человек, который в полном смысле не живёт, умереть не может.

– Может, ты прекратишь мне названивать? – спросил я её как-то. Мне ответило вопросительное молчание. Мёртвая Лена уже не задавала наводящих вопросов, предпочитая давить на меня склизкой тишиной. – Может, ты для разнообразия позвонишь своему бывшему жениху?

– Его телефон не отвечает. – Наконец сказала она. – Ни один телефон на свете, кроме твоего, мне не отвечает.

И не ответит. Потому что тебя не существует. Так я думаю, но молчу, тем самым отвечая своей собеседнице в её же духе. С трубкой, прижатой к плечу, я по стенке добираюсь до кухни и достаю из холодильника молоко. В железном чреве вечно гудящего агрегата оно почти превратилось в лёд, и приходится долго греть его в кастрюльке, чтобы потом всыпать в неё чёрную шоколадную стружку.

Потому что тебя нет. Так просто, но как объяснить это обычными человеческими словами, которые я и так с огромным трудом выискиваю в памяти?

Под дыхание чайника и её молчание я погружаюсь не то в дрёму, не то в бред, и вижу широко раскинувшуюся реку, пытающуюся вырваться из своих собственных, до отвращения знакомых берегов на волю.

Я стою на дощечке, а передо мной шумит камышом мутный ЗАТОН, глумящийся птичьим криком, кормящийся моей робостью и усталостью. Он разделил всё надвое, простёр своё зябкое тело между мирами, заставил время под поверхностью застыть, а меня – наблюдать за этим. Когда начнётся дождь, реку вспенит его настырность, и только этот затон будет недвижим, потому что там, внизу, времени нет.

Даже когда над рекой – дожди, в глубине – залитое бетоном спокойствие.

Я вижу, как бесконечно долго тонет человек, и в чертах его лица я узнаю своего давнего приятеля по детству. Вижу, как моя столь же давняя подруга смотрит наверх с мольбой о помощи в остекленевших глазах, и почти чувствую, как медленно, бесконечно медленно вода заполняет её лёгкие, прибивая ко дну. Вокруг ещё много утопленников. Знакомые, одноклассники и однокурсники, коллеги по оставленной когда-то работе, бывший шеф и многие-многие другие, кого я теперь и не вспомню. Вытянув руки к небу, выпучив глаза, они, словно стая дельфинов, движутся куда-то, но неимоверно медленно. Пройдёт не одна тысяча лет, прежде чем они опустятся в глубины затона хотя бы на сантиметр.

Лена стоит рядом со мной. Она ни капли не изменилась с нашей последней встречи, только одета немного иначе: на ней зелёное платье из тонкой полупрозрачной ткани и шляпка с огромными мягкими полями. Ветер, заигрывая с девушкой, гладит её волосы, томно вздыхает над нами, опьянённый бесформенным предчувствием неминуемого. Её удивительно правильная фигурка

отражается в воде над головами всех, кого я когда-либо знал, и им, наверное, видится в её деформированном водной гладью облике что-то вроде ангела. Скорее всего, ангела возмездия.

– Я и не знал, что у тебя в гардеробе есть такие весёлые вещи!

– Может, их и нет. Я откуда знаю? Что я, по-твоему, должна была прийти в чёрном? Лето вокруг, посмотри! Тепло и мило.

– А вот им там совсем не тепло, и вряд ли мило.

– Наверняка. Жаль, нельзя спросить. Это все те, кого ты бросил или забыл.

– Прямо все?

– Да, все. У тебя было не так уж и много друзей. – Лена произносит это очень серьёзно, словно пишет рецензию на мою жизнь. Мне кажется странным, что она употребляет такое незнакомое, чуждое мне слово «забыл». Разве могу я, даже оглушённый огромной порцией алкоголя, выкинуть из памяти тонущую на моих глазах девушку, с которой меня связывает больше, чем просто предсказуемые детские чувства?

– Что ж, каждому своё. Я не любитель человеческих толп.

– Ты хотел бы спасти кого-нибудь из них?

– Возможно. Не всё ли равно? Мне всё это снится. Они там, в воде, совершенно чужие. Как мои зубы, которые постоянно со мной, эти люди тоже где-то внутри меня. И, честно говоря, пусть там и остаются. Ты заблуждаешься. Я ничего и никого не забыл.

– А ты представь, что это всё взаправду, что никакого сна нет, а есть сломанная реальность. Кому ты подашь руку? Кого вытащишь из пучины? Кому ты нужен по-настоящему? Давай предположим, что это такая игра.

– Дурацкая игра.

– Это не игра. Я сказала – предположим. Чтобы тебе было легче.

Я наклонился над рекой, всматриваясь в испуганные глаза людей. Она, та самая, красивая и чужая. Смотрит вверх, рот застыл в крике. Изо рта вырываются последние пузырьки воздуха, а ей и невдомёк, что это самая страшная ошибка утопающего. Воздух нужно беречь, всегда помнить о том, что без воздуха нет жизни. Когда нечем дышать, незачем жить. Я провожу рукой по поверхности воды, пытаясь повторить силуэт её лица. Мне даже на секунду кажется, что в её глазах загорается искорка надежды. Но я знаю правду: этой девушки давно не существует. Она ушла навсегда, так же, как и Лена, и многие другие. Ей уже не помочь.

И я почему-то протягиваю руку Боре, своему старому и неудачливому приятелю. Последний раз я видел его, когда он лежал после неудачного самоубийства в больничной палате. Жизнь под откос, лёгкое сумасшествие, депрессия, алкоголь... и суицид. За исключением последнего пункта, последовательность – точь-в-точь как у меня. После того, как она умерла, я настолько погрузился в себя и в выпивку, что совсем забыл о нём. Говорят, друзья познаются в беде, так что, по всей видимости, я – плохой друг.

Я хватаю его за рукав и дёргаю. Он очень тяжёлый, я тяну изо всех сил, но ничего не получается. Тяну ещё сильнее, кажется, сильнее, чем это вообще возможно. Сводит ноги и живот, руки словно рвутся, но я не сдаюсь. Медленно, тягуче, словно из почти застывшего цемента, тело моего товарища поднимается из затона. Я ещё успеваю бросить взгляд на свою брошенную подругу. Искорка надежды потухла, она смотрит на меня с укоризной, или мне это только так кажется.

Я не хочу тебя. То, что от тебя осталось, мне не нужно.

– Алло! – кричит что-то мне в ухо. Я моргаю, и растворяется всё: затон, река, шум камышей, мостик. Я вновь на своей кухне с чашкой в руках. – Алло, ты меня слышишь?!

– Да, да, кто это?

– Я же сказал! Это я, Борис. Помнишь такого?

– Да, привет...

– Тут такое дело! Меня выписали! Только что. Можешь за мной приехать? Меня совершенно некому встретить.

– Кто выписал? Откуда? Ладно, не важно. Сейчас. Диктуй адрес.

Я поймал такси и через сорок минут ждал его у входа в психиатрическую лечебницу. Всю дорогу я думал о двух вещах: о какао с молоком и о том, что было бы, если бы я вытянул не Борю, а мою очень-очень старую подругу.

Нью-вейв по понедельникам. Выпуск 1

– Приветствую всех, кто в этот грустный вечер настроился на волну последней радиостанции в этом умирающем холодном мире! Меня зовут DJ Женя, и это первый выпуск «Нью-вейва по понедельникам»! Рядом со мной DJ Аня, и сейчас она расскажет, о чём мы будем болтать посреди этого бесконечного белого ничего.

– Привет, ребята! Меня зовут DJ Аня, если вы включили свои радиоприёмники и настроились на нашу волну, вам дико повезло! Мы – последняя радиостанция на свете. Я проверила, молчат все, так что, вероятно, у нас сейчас не так много слушателей. Но если вы с нами, мы вас приветствуем.

– Давай расскажем нашим слушателям о том, что видно из наших окон?

– Давай сперва поговорим о том, как мы вышли в эфир. Это же крутая история.

– В общем, так. Вчера вечером я приехал на какую-то заброшенную станцию. Приехал – это громко сказано, я добрался на попутном тяжеловозе из Хабаровска, тащились двое суток, вокруг был снег, снег, снег, один чёртов снег на сотни километров вокруг. Точнее сказать не могу, ощущения времени у меня не наблюдается уже много лет. Названия станции, к сожалению, я вам тоже сказать не могу, потому что оно стёрлось. Я пытался что-то рассмотреть, но тщетно.

– Почему ты сюда приехал?

– Не знаю. Что-то звало меня сюда, сорвался, даже не помню, закрыл ли дверь квартиры. Впрочем, это не важно. У нас уже давно не воруют (смеётся). Когда мы тащились мимо длинного серого забора, я увидел граффити – огромный стрёмный глаз – и понял, что надо выйти. И вот я тут.

– Я нашла радиоточку пару месяцев назад. Стояла тут на станции, никому не нужная, милая башенка. Была мечта выйти в эфир и поговорить с вами, друзья. А ещё послушать музыку, немножко выпить и разворошить этот умирающий край. Но пока не приехал DJ Женя, я никак не могла запустить эту систему. И вдруг, представляете, входит он и за час всё налаживает. Сколько мы до этого не виделись?

– Думаю, лет тридцать.

– Тридцать лет! А говоришь, пропало ощущение времени.

– Примерно. Точнее не скажу.

– В общем, это не важно. Давайте слушать музыку.

Играет Alphaville, классическая Big In Japan. Периодически прерывается смехом, чувствуется, что диджеи ещё не освоили технику.

– Послушали? Помните эту песенку? Впрочем, если вам меньше лет этак семидесяти, вы её и вспомнить не сможете. Все эти неоромантики, красавцы с набриолиненными волосами под Боуи. Как всё это было прекрасно, буйно, некачественно, конечно, но очень красиво! Помнишь?

– Помню. DJ Аня у нас давний любитель ностальгических трипов. Мы с ней слушали тонны музыки во времена оны, и, думаю, наша радиостанция теперь будет транслировать много треков, все, какие найдём в местном запаснике. Он, правда, довольно бедный.

– Итак, о чём бы нам поболтать? Что у вас за окнами, гайз? У нас тут темно, как в подвале, и метёт. В студии явно щели, свист стоит ужасный, может, вы тоже его слышите?

– Да, свистит, как сквозь заячьи резцы. Но здесь ведь никого не было лет двадцать, ничего удивительного. До сих пор не понимаю, как оно всё к чертям не развалилось.

– Дэнжер, дэнжер. Красные лампочки, сирена, беготня персонала. Фильм-катастрофа.

– Кто мог знать, дорогая моя DJ Аня, что катастрофа случится почти незаметно? И не будет ни лампочек, ни сирен. Только тишина.

– Тишина и пустота. Я понимаю, к чему подводит DJ Женя. Настало время представиться. Я – мать пустоты.

– Кстати, да. Как там она, интересно?

– DJ Женя не меняется. Как тогда ничего не понимал, так и сейчас не врубается. Ну да ладно. На правах матери пустоты могу сказать, что это бесконечное белое поле вокруг – очень милая локация. Полгода назад я была в Москве, так там настоящий апокалипсис. Люди собираются возле горящих бочек, кто-то митингует, что-то требует, но дела уже никому нет. Большинство просто продолжает жить по инерции, продирается сквозь толпы нищих на работу, что-то пытается вырабатывать, а потом возвращается в свою квартиру и спит, спит, без остановки спит. В общем, больше там делать нечего.

– В Хабаровске та же история. Население сократилось почти до нуля. Редкие прохожие жмутся к домам и, кажется, просто ничем не заняты. Что они едят – понятия не имею.

– Пустота, дорогой. Пустота разрослась во все стороны. Жаль, жаль, что я больше не летаю во сне. С другой стороны, это было бы опасно, в моём-то возрасте. Не дай Пересмешник, навернулась бы, да шейку бедра сломала. И всё.

– Не говори. Давайте послушаем ещё немного музыки.

Играет The Who, песня Behind Blue Eyes, очень старая запись, слитая, кажется, с винила.

– У нас тут, кстати, есть телефон! DJ Женя, будь добр, проверь, работает ли он?

– Гудок есть. Только вот беда, мы же не знаем его номера. Никаких табличек я тоже не вижу.

– Это не важно. Итак, друзья! Если кто-то из вас знает, какой у нас тут телефон, набирайте и звоните. Мы готовы выпустить вас в эфир, поболтать с вами и послушать вашу любимую музыку, если, конечно, она найдётся в наших архивах. Ок?

– Не думаю, что кто-то умудрится дозвониться.

– Эй! DJ Женя, не волнуйся. Это ведь не так сложно, как кажется. О!

Раздаётся телефонный звонок.

– А вот и первый дозвонившийся! DJ Женя, снимай же трубку. Послушаем, кто же тот счастливчик, что первым попал в эфир Радио Пустоты!

Про охотника и его жертву

– Неплохо у тебя тут, – сказал Боря, сидя на кухонном стуле. Мы потягивали пиво и любовались темнотой, исполненной фонарей. – Уютно. Откуда такая квартирка?

– Отец купил. Он в конце 90-х занялся недвижимостью, взял по случаю. Одну – себе, одну, как в конце концов оказалось, мне. Я когда уволился, снимать больше не смог, он мне её и отдал. Так, по-родительски.

– Понимаю. А чего с работы ушёл?

– Да как-то... Сил не было. Вставать, ходить туда. Вот и подумал, ну её к чёрту.

– Так чем у вас всё закончилось? С Ней?

Я помолчал. Боря смотрел на меня, не отрываясь. Изменившись до неузнаваемости за время своего заточения в лечебнице, заметно похудев и заострившись, он, однако, сохранил некоторые свои особые черты – упорство, с каким только самые умные люди дожидаются твоего ответа, не повторяя лишний раз уже повисший в воздухе трудный вопрос. Вес его столь велик, что начинает неприятно гудеть в ушах, высоковольтными проводами в жаркий летний день гомонит каждое вырвавшееся из чужого рта слово, и продолжает звучать, настырное, пока ты не ответишь или не переведёшь тему.

А ведь я столько раз сам пытался понять, чем же у нас всё кончилось, но это было выше моих сил. Она просто ушла, написав мне записку. «Я умерла» – вот и всё. Конечно, в записке было больше слов, но суть её сводилась именно к этому. Она не винила меня ни в чём, ей не хотелось, чтобы мне было больно, она просто констатировала ФАКТ, который сама приняла задолго до

того, как его осознал вечно неуверенный в себе получатель этого короткого письма. Время, данное ей моим одиночеством, истекло, и нужно было выходить в дорогу – за горизонт, за стену дождя, что отделяет наш мир от туманного луга и от белого марева, из которого когда-то я соткал её ПЛОТЬ. Может, надо было вытащить из затона девушку из прошлого, этого грустного красивого призрака?

– Она ушла, – просто сказал я. Боря кивнул головой и приложился к стеклянному горлышку. Такой ответ, кажется, его устроил.

«Это не она. Вроде похожа, но это не она», – сказал он в тот памятный день, когда мы с ней приехали к нему в больницу. Я до сих пор чувствую холодный пот, выступивший тогда на моей спине.

Пить пиво в такую рань, конечно, нехорошо. Но очень уж хотелось немного просто посидеть и поговорить с Борей, которого я не видел с того раза в больнице.

Три года – немаленький срок. Тогда мне, признаться, было не до него, сейчас же – совсем другое дело, сейчас в мире нет ничего знакомого, близкого, и единственный человек, вытащенный мною из затона забывшейся в алкогольном чаду памяти, кажется настоящим спасением, причиной, по которой даже мозг, принимающий на себя удар пивного градуса, не спешит пьянеть. В моём доме что-то изменилось, и это само по себе было диковинным явлением, так как сюда давно никто не забредал, я же чаще вползал в темноту коридора, нежели входил как хозяин.

Квартира была удивлена новым обстоятельствам. Всё в доме ощутимо напряглось, всякие личные мелочи, вроде подарков на дни рождения и милых сувениров от девчонок, попрятались за что-то более громоздкое и мужское, воздух радостно вырвался в приоткрытую форточку, и мы сидели почти в безвоздушном пространстве, по которому гулял туда-сюда пивной дух и сигаретный дым. Пыль забралась в углы, стараясь не подавать виду, и кухня выглядела вполне пристойно, так, словно тут не живёт выпивающий бездельник с трёхлетним стажем.

– Чем зарабатываешь? – опять подал голос Боря.

– Раз в месяц разгребаю бумаги для нескольких мелких фирм. Не бог весть что, но тысяч тридцать имею. А больше мне и не надо, сам понимаешь.

– Пьёшь?

– Каждый день. Не очень помногу, хотя иногда и перебарщиваю.

– Понимаю тебя. Прекрасно понимаю, а потому, думаю, говорить о том, что это добром не кончится, излишне?

– Конечно. Я знаю.

Опыт у Бори в этом вопросе действительно был немаленьким. После свадьбы он очень быстро оказался изъят из привычного мирка, один на один с собственной злобой и полным отсутствием интереса к нему со стороны его неожиданно близкого окружения. Запил он сильно и как-то сразу. После попытки самоубийства решил взяться за ум, пошёл в группу, где начал долго и подробно описывать все свои злоключения, но однажды, к величайшему сожалению внешне спокойного и даже немного надменного мира, оказался в дурке. Сложно объяснить, как это случилось: вообще, всех суицидников должны помещать в специализированные учреждения на случай, если им захочется повторить свой весьма спорный потусторонний опыт. То, что он прямо из больницы туда не отправился – просто бюрократическая ошибка, которую система поздно заметила. Но заметила. И вот, после нескольких посещений группы, Боря попал в ад принудительной психиатрии.

Не могу сказать, что эти годы я провёл в лучших условиях. Мне просто не хотелось рассказывать: ежедневно вставать с постели с головной болью, с ужасом поднимать трубку по ночам и слышать этот мёртвый голос, звучащий прямо в моём мозгу, дёргающий там за ниточки нервов. Приятного мало.

– Слушай, – вдруг прервал молчание Боря, – а почему бы нам не пойти и не найти каких-нибудь девчонок? Честно говоря, может это и глупо, но после этих трёх лет мне очень хочется. Ну, ты меня понимаешь. Ты-то тут хоть времени зря не терял?

Я посмотрел на него, не совсем понимая, о чём он. Боря поперхнулся.

– Да ладно! Нет, серьёзно?

– Я как-то не думал об этом.

– Чёрт побери, что она с тобой сделала? Тебя словно подменили.

– У меня во рту чужие зубы, – прошептал я.

– Что? Это из какой-то песни?

– Что-то вроде. Ладно, пойдём, пройдёмся, хотя откуда девчонки в такую рань?

На улице, кажется, была весна. По крайней мере, в пятом часу утра было уже сравнительно светло, и вся природа словно очнулась от горя, встряхнулась, расправила плечи и шумно выдохнула снежную пыль. Я попытался вспомнить, когда в последний раз попадал под снегопад, но ничего не получилось – к сожалению, мой мозг давно перестал фиксировать такие вещи.

Что она со мной сделала? Я почти ежесекундно мысленно возвращался к этому вопросу, и всё никак не мог найти на него ответ. Она была, а потом перестала быть. Ушла, сославшись на то, что умерла, или умерла, чтобы уйти, но в любом случае, она исчезла, неожиданно оставив меня один на один с бутылкой на долгие три года. Не было дня, чтобы я не чувствовал, как холодное молчание, раздающееся из каждого уголка моей небольшой квартиры, воевало с шумами заоконного города, и неизменно побеждало их, набрав за годы моей изоляции неимоверную силищу.

Мы брели по городу, Боря что-то рассказывал, но я слушал вполуха, зациклившись на этом неожиданном вопросе. Что-то изменилось тогда, сломалось внутри моего сложного, но такого незащищённого от ударов стихии ОРГАНИЗМА. Я потерял нечто важное – собственную точку зрения, осознал себя не человеком, а бессловесным предметом в мире постоянно болтающих мнительных образов. Наверное, именно это она со мной сделала – вынула меня из тела, мозг из черепа, душу из груди, если в груди вообще есть ПОЛОСТЬ для этого иллюзорного внутреннего органа.

А девчонок мы нашли.

В небольшом круглосуточном кафе неподалёку от Белорусского вокзала они вдвоём сидели на протёртых диванчиках с обивкой из пошлого красного кожзаменителя и пили неумолимо остывающий чёрный кофе из большого пузатого графина. В богатом офисном районе это было единственное заведение, открытое по ночам и даже в пять утра не уходящее на технический перерыв. Здесь перед рассветом собирались многочисленные офисные клерки из тех неудачников, что часто засиживаются на работе допоздна, отдуваясь за весь отдел. Жители квадратных боксов, они, кажется, и сами не ожидали узреть рядом с собой двух симпатичных представительниц такого сильного слабого пола.

В помещении было скучно и одиноко. И девчонкам, и нам, и всем окружающим. Сейчас не было скучно только тем, кто спал где-то в городских квартирах, здесь же под потолком витал мягкий голос Фрэнка Синатры, тянувшего свою космическую песенку «Fly Me to the Moon» в оркестровой аранжировке. С этой песней и кофе шёл лучше, и сигаретный дым не так сильно резал глаза. Не так остро ощущалось время.

– Разрешите пригласить вас на утренней танец, – почти не скрывая радости на лице, сказал Боря, протянув руку высокой и удивительно хорошо сложенной девушке, которая в этот момент поднимала чашку ко рту. Встряхнув вороные волосы, раскудрявившиеся за ночь, она окинула его взглядом и едва заметно улыбнулась.

– Пожалуйста, – отозвалась девушка, поставила чашку на стол и взяла Борю за руку. В выборе моего приятеля не было ничего удивительного – более рослая, чем он, длинные волосы, бесформенная блузка со сравнительно глубоким вырезом и чёрная юбка выше колен, довольно бесстыдно приоткрывающая тайну её восхитительных упругих бёдер. Это был его любимый типаж.

– Можно присесть? – поинтересовался я у оставшейся на месте и даже не шелохнувшейся девчонки.

– Конечно, – ответила она и рассмеялась, подняв на меня большие светлые глаза. Удивительный смех – такой звонкий и милый одновременно.

Сонный официант долго выводил в блокноте слово капучино, забыв уточнить, сколько сахару мне нужно, чтобы почувствовать себя счастливым, безо всякого удивления или порицания до-

бавил в перечень моих трат и стаканчик виски пятилетней выдержки, после чего всё-таки отправился собирать заказ, а я остался один на один с моей потенциальной жертвой. Никакого желания устраивать охоту на неё у меня не было – я вообще редко прибегал к такому способу убийства резинового времени, как поиск секса с малознакомой «подругой на сутки», как в своё время не слишком удачно пошутил Боря.

И всё же, передо мной сидело очень странное существо. Светлые волосы, сплетённые в непослушную косичку, делали её похожей на школьницу, но что-то неуловимо взрослое и продуманное было в каждом её жесте, в движениях тонких рук, в той плавности, с которой она наливала в свою чашку совсем уже остывшую чёрную жидкость. Больше всего меня поразило то спокойствие, с которым она восприняла сам факт моего появления.

– Твой друг любит эффектные жесты, а? – наконец спросила она и шмыгнула носом.

– О, да. Он всегда был таким.

Официант принёс капучино и большой стакан, на дне которого плавал в забытьи мой алкоголь. Я подхватил его и кивнул своей соседке.

– Знаешь, что можно сделать, чтобы смутить твоего такого торопливого друга?

– Смутить Борю? – я рассмеялся. – Ну, попробуй.

Через секунду она сидела у меня на коленях и задумчиво держала в руке мой виски. Мне нравилось, как её тонкие пальцы охватывали этот немой кусок стекла.

– Как тебя зовут? – спросила она, не отводя взгляда от стакана.

Я представился.

– А меня все зовут Гелей. Будем знакомы?

– Будем, – ответил я.

В следующий миг она поставила стакан на стол и впилась в меня губами. Словно случайно подошедшие именно в этот момент, Боря и его новая подруга застыли в изумлении. Я чувствовал, как во рту у меня оказался Гелин язык, а потом осознал холод – у девушки в языке имелась приличных размеров металлическая серьга, два шарика, соединённые друг с другом сквозь её живую и подвижную плоть.

– Ну как, смутили? – спросила Геля секунду спустя.

– Думаю, получилось, – отозвался я. Кого именно она умудрилась смутить больше, я не уточнил. Геля кивнула Боре, и тот словно очнулся от шока, поспешил усадить спутницу на диван и заказал что-то довольно тяжёлое себе и ей, даже не удосужившись спросить, что его новая подруга пьёт. По всей видимости, эти столь важные сведения он уже выудил у неё во время танца. Мне однозначно нравилось каждое движение Гели – столько в них было изящества и непосредственности, необычной для нашего времени и нашего угрюмого города лёгкости, свидетельствующей либо о наплевательском отношении к жизни, либо о полной опустошённости. Много позже я понял, что сочетать несочетаемое – основная черта, которая всех привлекала в этой девчонке.

Через двадцать минут мы смеялись в голос, и все посетители этого тоскливого места смотрели на нас как-то неодобрительно, как смотрят подкармливающиеся у уличного кафе воробьи на вторгшегося на чужую территорию голубя.

Подругу Гели звали Катей, и она действительно во всём походила на излюбленный Борин типаж – у неё был довольно низкий голос, она поджигала одну сигарету от другой, чтобы не лезть за спичками каждый раз, когда нечем будет занять пальцы, рукой под столом, как ей казалось, незаметно гладила Борю по колену. У подруг был странный симбиоз – Геля отвечала за эмоции, за живую игривость, вообще-то свойственную двадцатилетним, о чём мы с моим другом уже давно забыли, Катя же больше молчала, сидя в позе голливудской актрисы, и собирала заинтересованные липкие мужские взгляды. Задранная юбка практически не скрывала её красивые точёные бёдра.

Я периодически ловил на себе взгляд своей наездницы – Геля посматривала на меня как-то странно, со смесью жалости и болезненного интереса, словно знала обо мне что-то, чего я сам, по глупости или из-за страха, пока не осознавал.

– Не стесняйся, я тоже так никогда ни с кем себя не вела. Просто сегодня такая странная-странная ночь.

Я не ответил, просто поцеловал её в плечо. Она улыбнулась и дёрнула головой, из-за чего прямо мимо моего носа пролетела её забавная косичка.

Геля не была красавицей, и сама это прекрасно знала. Более того, в любом людном месте она бы легко затерялась в толпе – причёска, одежда, да даже и фигура её не вызывали совершенно никаких эмоций, если вы, конечно, не являетесь любителем маленьких худеньких девушек, которые, даже будучи взрослыми, выглядят как школьницы, сбежавшие с седьмого урока. Но в ней была непосредственность, которая искупала всё. И её тонкие ножки, однако, явно знавшие, что такое спорт, и отсутствие груди, скрыть которое не могли даже самые хитро устроенные бюстгальтеры, и эту старомодную, небрежно заплетённую косичку. Просто в её глазах постоянно блуждала какая-то шальная искорка, которая не давала мне покоя.

– Смотри, не стесняйся, – сказала Геля, когда я случайно встретился с ней взглядом и неожиданно для самого себя потупил взор, чего со мной давным-давно не бывало. – Знаю, я не эталон. Сегодня твоему другу повезло больше. Ему всегда везёт больше, правда?

– Не уверен. Он провёл три года в дурке, я же обнимался с бутылкой. Как ни крути, а я был в несколько лучших условиях.

Геля хмыкнула.

– Возможно, но я не об этом.

– Понимаю. Ты хорошенькая.

– Да ладно. Груди нет, вены эти на ногах, от них уже никак не избавишься.

– Мне почему-то кажется, что это всё не столь важно.

Её глаза блестели. Чёрт, как же это интриговало.

– Чем ты занимаешься?

– Хочу стать балериной. Зачем – не знаю. Конечно, это не предел моих мечтаний. Не думаю, что много людей на свете хотят безропотно исполнять приказы режиссёра и давать всяким накачанным метросексуалам подбрасывать себя в воздух и держать за ягодицы.

– А что предел?

– Я расскажу. Потом. Если ты захочешь узнать меня поближе.

– Хорошо.

– Ну а ты? Чем ты занимаешься?

– Ничего интересного. Обычный бухгалтер.

– Обычный? Разве обычные бухгалтеры пьют несколько лет подряд?

– Может, и нет. Не хочу сейчас об этом говорить.

– А потом?

– Если захочешь узнать меня поближе.

Геля рассмеялась.

– Почему-то мне кажется, что захочу.

Так бухгалтер стал охотником, а балерина – его жертвой.

Голос внутри

Я услышал голос внутри себя. Совершенно неожиданно, он просто появился, когда я медленно тянул третью подряд сигарету, сидя на полу и обхватив руками колени. Не могу сказать, что я удивился, мне просто было обидно, что он молчал все три года моего одиночества, а заговорил только тогда, когда в моей квартире появились ещё три человека. У голоса в моём черепе был тембр, не похожий на мой, он отражался от стенок и усиливался, превращался в магнитофонную запись, шипел и извивался, заставляя меня вздрагивать.

Была ночь. И было тиканье часов. В каждом их шаге мне слышалась поступь чего-то нового, пока незнакомого, но такого большого, что я просто не способен его увидеть. Оно пройдёт мимо, и только тогда до меня дойдёт, что только что не случилась какая-то важная встреча. Сложись всё иначе, жизнь бы перевернулась, а так останется только непонимание и лютая обида на слабость моего зрения, слуха, обоняния, которые, вполне вероятно, не в первый раз за время моей уже довольно долгой жизни, подвели.

На кровати возились два разгорячённых тела, Боря и Катя. Она легко отдалась ему и его страсти, и теперь они ничего вокруг не замечали. Возможно, я был рад за них.

Мы с Гелей сидели, прислонившись к стене, и наблюдали пустоту, как иные смотрят ток-шоу по телевизору. В горячем комнатном воздухе не было запахов, или их было так много, что мозг уже не мог сконцентрироваться на каком-то одном. Поэтому я развлекал себя тем, что исследовал границы бокового зрения, пытался, не поворачивая головы, рассмотреть, где Гелины руки, где ноги, что осталось от её причёски после того, как она распустила свою косичку.

– А она ничего, – вот какую первую фразу сказал незнакомец в моей голове, неожиданно выдав себя в момент, когда я меньше всего ожидал его появления.

– Как я тебе? – игриво спросила Геля.

– Ты ничего, – отозвался я. Она потешно закидывала голову назад, когда выдыхала колечки дыма, и иногда легонько билась о стену. Колечки получались совершенно правильными, круглыми, какими им и полагается быть. Она радовалась, как ребёнок.

– Здорово, – прокомментировал я её выдающиеся способности.

– Ага. Сама не знаю, как у меня это получается. Просто однажды вышло, и с тех пор я это умею.

Геля сидела голая на холодном полу, и ей явно было комфортно. Я старался не слишком концентрироваться на ней, потому что как только я хоть немного поворачивал голову, она перехватывала мой взгляд и с интересом наблюдала за тем, как я пытаюсь рассмотреть в темноте все изгибы её тоненького тела, как я привыкаю к нему.

– Ты интересный, – уверенно сказала Геля.

– Ты интересный? – ехидно поинтересовался голос в моей голове. Мало мне было чужих зубов во рту, теперь объявился ещё и чужой голос.

– Ты интереснее, – произнёс я.

– Ничего особенного. Единственное, что во мне интересного, это душевное расстройство. Мне поставили его лет пять назад, и с тех пор я – под постоянным и, надо сказать, довольно навязчивым наблюдением.

– Я смотрю, мы все тут немного того.

– Похоже на то, – она рассмеялась так звонко, что в кровати даже на секунду замерли, – но у меня и тут всё очень скучно. Резкая смена настроений, неумение вовремя останавливаться, истерики, нервные срывы.

– Звучит интересно.

– Действительно, – поддакнул голос.

– Что, правда? – Геля неверяще посмотрела на меня.

– Да. Люблю девушек с придурью.

– О, так я – твоя судьба! – она опять засмеялась, и я тоже улыбнулся.

Моя судьба.

Я обновляюсь, как дерево весной, и это слово – перерождение, которое призвала из небытия моя три года как умершая любовница, – лучше всего отражает то, что происходит с моим телом и моим разумом. Говорят, все клетки за время нашей жизни обновляются многократно, а значит, к примеру, через десять лет расставания руку вам жмёт уже не ваш старый знакомый, а человек, с которым вы никогда не вступали в тактильный контакт. Эта ладонь касается вас впервые.

Но у меня что-то пошло не так.

Страшно представить, что будет, если этот голос, что запрятался в глубины моей головы, начнёт контролировать речь. Что он тогда произнесёт?

– Не бойся, – сказал он, – когда придёт время, ты сам дашь мне слово.

– Хотелось бы верить, – отозвался я. Вслух.

– Что? – Геля посмотрела удивлённо. – Эй, ты не думай, про судьбу – это я пошутила.

– Да нет, это я так, о своём.

– Хочешь узнать обо мне побольше?

Конечно, я хотел. За прошедшие сутки я настолько привык к речи, что без неё уже не представлял себя. Успел привыкнуть и к Геле, хотя мы познакомились всего лишь сегодня.

– Серьгу в язык я вставила в пятнадцать лет. Именно тогда начались мои первые срывы. Серьга – своего рода символ моего перерождения, в тот момент мне казалось, что жизнь испорчена бесповоротно, мне не с кем было поделиться этой фиговой мыслью, так что я просто сделала пирсинг, в качестве зарубки на теле. Так я веду отсчёт времени. Ты бы знал, как я сходила с ума! Тогда Ангелина стала Гелей-с-серьгой-в-языке, а предыдущая улыбчивая дурёха, любимица мамочки и папочки, пропала с концами. У серьги, кстати, есть и другие применения, кроме временного ориентира, я тебе когда-нибудь покажу. Даже не представляешь, насколько это классно.

– Я уже заинтригован.

– Отлично. Значит, потом начались сильные приступы. Действительно, сильные, я уже сама начинала их пугаться, и в самый ответственный момент паниковала, из-за чего даже не пыталась сражаться с напастью. К примеру, я могла моментально замолчать и разреветься, даже посреди обычного разговора за чаем. Мозгами вроде понимаю, что глупо, а сделать с собой не могу ничего, как ни стараюсь. Могла начать истерически смеяться, хоть на поминках. Был один такой неприятный случай. Или, например, выходила на улицу, вдыхала воздух и столбенела. Осенью, когда природа просит снега, знаешь?

– Знаю. – Я закрыл глаза и попытался вспомнить это время года, его совершенно особый, хотя и не настолько сильный, как весной, запах, яркий предсмертный цвет, странное восприятие температуры, обманчивый холод и зябкое тепло. Мне представился старый понурый дом, окружённый яблонями с гниющими прямо на ветвях плодами, валяющиеся под ногами листья, которым не удалось красиво устлать необработанную, запущенную землю, проржавевшие за несколько лет петли калитки, стремящиеся полностью одеться в ржу. Дом, в котором навсегда кончилось электричество.

– Действительно, тебе ли не знать такие вещи? – хмыкнуло внутри.

– И вот, сижу я на асфальте посреди какой-нибудь узенькой улицы и медленно бледнею. Каково?

Я покачал головой.

– Люди подходят, спрашивают что-то, а я их не понимаю! Смотрю в никуда и всё, баста, отбегалась на сегодня. Врач назвал это чем-то вроде эмоциональной нестабильности, как у беременной, или как у сумасшедшей, что по причине отсутствия живота было более вероятным вариантом. Лечил последние несколько лет перед моим отъездом в столицу.

– И как?

– Да никак. Ничего не помогает, даже новый московский доктор. Пью успокоительные. Без них вообще на людей бросалась бы, по ночам шинели с людей сдёргивала. Честно-честно. Я такая. – Она показала свои острые зубки. – Не боишься проверять, на что способен мой язык?

– Да нет.

– Ну и отлично.

Геля замолчала. Тишину нарушал только скрип огромной кровати, которую когда-то давно приобрёл мой отец. Боря и Катя во всю навёрстывали то, что мой товарищ упустил за время трёхлетнего заточения. Никого не смущало, что в комнате были и другие люди, хотя эта парочка старалась всё делать как можно тише.

– Слушай, – сказала Геля задумчиво, – как так получилось, что вы пошли искать девчонок, а нашли нас? Как минимум, одна из нас ненормальная.

– Не знаю. Может, дело во времени? В утренней темноте немногие сидят в кафе. Это тот самый момент перед рассветом, когда темнее всего. Ты когда-нибудь ставила будильник на раннее утро просто так, без причины?

– Конечно. Когда все спят, ты один не спишь и так отчётливо слышишь своё дыхание...

– И появляется ощущение, что ты один на свете...

– И весь мир для тебя.

– Или для нескольких избранных. Посвящённых.

– Посвящённых во что? – вдруг насторожился голос в моей голове.

– Посвящённых во что? – спросила Геля.

– Не знаю, – отозвался я и задумался, – может, во что-то магическое?

– Ты когда-нибудь с таким сталкивался?

Даже в этой темноте я увидел, её глаза загорелись неподдельным интересом.

– Что-то в этом роде, – пробормотал я. В моём столе до сих пор лежат письма девушки, которую я сам выдумал. Девушки, которая давно умерла, хотя совершенно идентичное её телу тело всё ещё ходит по земле, что-то ест и пьёт, спит с парнями, работает. Делает всё, чтобы заглушить навсегда впечатавшуюся в её грудь пустоту, возникшую по моей, и только по моей вине. – Что-то в этом роде.

Над затоном нависла тьма. Самая непроглядная, предрассветная. Она утрамбовала людей в свою утробу, набила ими этот миг, как набивают ватой самодельную мягкую игрушку, сшитую из остатков старого маминого платья. А дождь ждёт своего часа, потому что не может идти в темноте – не будет того эффекта. Он ждёт, когда можно будет наконец разойтись не на шутку, рвать сердца, побить траву, вывернуть наизнанку весь этот чёртов мир, а его внутренности заставить вывалиться наружу, сизыми слизнями молить о снисхождении. Дождь – единственная сила, способная убивать и воскрешать бесчисленное множество раз.

Я родился, и умер, и снова родился, когда сидел под зелёным древесным шатром с самой прекрасной на свете девушкой, которой никогда не существовало и которая умерла, как только я перестал в неё верить. Живое, выдуманное и мёртвое, всё в итоге оказывается в этой воде и бесконечно медленно тонет в ней. Когда-нибудь в ней утону и я.

Ты не сможешь там утонуть, смеётся голос во мне, у тебя во рту чужие зубы и чужой язык облизывает их, пытаясь убедиться в том, что они существуют. Дальше будет ещё интересней.

Голос умолкает, а я всё смотрю в пустоту, и вдруг понимаю, что рядом плачет Геля, прикрыв лицо маленькими ладошками с длинными музыкальными пальцами. Словно почувствовала, что в комнате завелось что-то чужое.

– Всё в порядке, – говорит она, хотя я ничего не спрашивал, – просто у меня очередной приступ.

Я киваю. Кажется, я начинаю её понимать.

– Дурачок, обними же меня!

И я обнимаю, плачущую, ещё не видевшую того, что видел я, молодую танцовщицу.

Нью-вейв по понедельникам. Выпуск 2

– Здравствуйте! Как вас зовут? Вы в эфире!

– Привет! Меня зовут Лена! Не могу поверить, я дозвонилась с первого раза! Просто набрала номер наугад и попала. Как это может быть?

– Лена, неисповедимы пути Пустоты! Расскажите, где вы находитесь, нам очень интересно!

– Я стою на берегу реки. У меня в ногах – маленький переносной радиоприёмник, вроде тех, что продавали когда-то в Союзпечати.

– Шикарно! Где вы его взяли, Лена?

– Честно говоря, понятия не имею.

– Простите, Лена, DJ Женя как всегда задаёт странные вопросы. Итак, что бы вы хотели нам рассказать?

– Есть такая старая легенда, почему-то она сейчас пришла мне в голову. Некий потерявшийся в тёмной лесной дубраве человек однажды совершенно случайно наткнулся на старый, заваленный камнями подземный ход. Прямо посреди леса, под корнями огромного старого клёна – таких клёнов ни вы, ни я, наверное, и не видели никогда. Иногда так случается, идёшь себе, погружённый в свои грустные мысли, и вдруг натыкаешься на что-то, чего и не искал вовсе. Правда?

– Да, мы с DJ Женей отлично знаем, как это бывает.

– Да, бывало такое. Только мир в те времена был куда моложе.

– И мы тоже. Продолжайте, Лена.

– Человек, заблудившийся в лесу, был одинок. Чего греха таить, он даже и не жил особо, так, существовал в какой-то бесконечной прострации. Был он обычным, ничем не примечательным, не плохой, но и не хороший, а такой, как все, человек. Ему постоянно чего-то не хватало, а в остальном – ничего особенного. Заблудившись, он остался совсем один, теперь и физически. Это дало ему время подумать, а потом очистить голову ото всех мыслей разом. И когда в голове осталась одна только пустота, он вдруг нашёл посреди поляны, обнесённой кленовым частоколом, подземный ход.

– Конечно, так всегда и бывает. Мы находим что-то важное только тогда, когда полностью очищаем голову от мусора.

– Человек раскидал камни, которыми был завален проход, забрался в него и пошёл по тоннелю. Он не знал трёх правил прохождения туннелей, поэтому ему пришлось самому их формулировать. Сначала он встретился с Ужасом, им был его отец, который в детстве был самым страшным его ночным кошмаром. Такой уж был мужичок, умел подавлять детей и подчинять своей воле, даже не используя для этого старый добрый ремень.

– Знакомая история.

– DJ Женя намекает на моего папочку. Впрочем, я его никогда не боялась, хотя влияние он на меня оказывал, дай, Пустота. Позже расскажу. Итак, как же бедняга справился с Ужасом?

– На самом деле, очень просто. Он просто сказал Ужасу: если ты хотел мне добра, отец, не препятствуй моему пути. Это мой путь, а не твой. Если же ты хотел отомстить мне за то, что твоя юность досталась мне в наследство, будь спокоен. Я совершенно пуст, а ты – отмщён.

– Хитро.

– Нет. Честно. Тут самое важное, что честно. На самом деле, он говорил куда больше, не буду перечислять всё, им сказанное, главное, что ему удалось миновать ужас.

– Справедливо. И что было дальше?

– Потом он, понятное дело, повстречался с Болью. Болью была его первая любовница – это такой распространённый сюжет, что я даже не могу назвать человека, который встретил бы кого-то другого. Может, вам скучно?

– Нет-нет, нам очень интересно.

– Боль человек миновал с трудом. Он почти сдался, но что-то говорило ему, что нельзя оборачиваться, что этот туннель надо пройти до конца. Стоит ли говорить, что после этой встречи у него перестало болеть?

– DJ Аня, возможно, скажет, что я опять задаю странные вопросы. И всё же: как он справился с болью?

– Он просто отпустил её. Звучит легко, на деле же он зарылся вглубь себя, проанализировал все свои эмоции, чувства, воспоминания. Это заняло у него много часов. И в итоге он пришёл к тому, что всё это было прекрасным, а упущенные возможности – они есть всегда, и ничего ты с этим не сделаешь. Возможно, в каком-то параллельном измерении он их не упускал, и ещё неизвестно, во что там это всё вылилось. Подобная мысль успокоила его, и Боль была повержена.

– Но на этом путешествие не закончилось, я права, Лена?

– Да, вы правы. Последним препятствием на его пути стала Пустота. Это неразрывная троица

– Ужас, Боль и Пустота. Когда тебе больше не страшно и не больно, когда ты выкинул в небытие то, что пугало тебя, и то, что всю твою жизнь высасывало из тебя силы, остаётся опустошённость. И никто, в том числе и я, не знает, как можно победить её. Но человеку удалось. Увы, окончание истории покрыто мраком. Но туннель был пройден, это факт.

– И что же человек встретил на том конце?

– О, это самое интересное. На том конце он встретил Странноприимный дом. Тот самый, из детских сказок.

– Мы оба знаем эти сказки, правда, DJ Женя?

– Да-да. Мы как раз из тех мест, где историю про Дом знает каждый ребёнок. Дом появляется только раз в году, в ночь Семиглава. И тогда в него можно войти.

– А мужчина обнаружил окольный путь. Подземный. Подсознательный.

– И что же с ним случилось потом?

– А потом он стал собой.

– Лена, давайте что-нибудь послушаем. Какую песню вы хотели бы заказать?

– У меня выбор невелик. Aqua, «Turn Back Time».

Луга, залитые надеждой

Мы стали жить все вместе. Четыре малознакомых человека, если не считать голос в моей голове.

Он был пятым.

Боре идти было некуда, он вышел из психиатрической больницы в пустоту. Его теперь уже бывшая жена легко развелась с ним заочно, прибрав заодно и квартиру. После освобождения мой несчастный друг с ней так ни разу и не поговорил. Его новая подруга Катя легко согласилась остаться, так как дома её ожидал лишь вечно пьяный отчим и быстро пустеющая квартира. Она целыми днями пропадала на съёмках – подрабатывала по случаю фотомоделью. Вечерами она посещала занятия на философском факультете и усердно корпела над книгами, пытаясь вытянуть что-то полезное из старой слабой лошади человеческой мысли.

Геля, у которой в Москве была только ветхая комнатка в общежитии при балетной школе, просто осталась со мной. Она, как и прежде, ходила на все занятия, но без особого энтузиазма. Я видел, как она всё больше мрачнеет. Иногда Геля взахлёб плакала на кухне, укутавшись в податливый тёплый полумрак. Вместе с ней в моей квартире появились вечные бинты, какие-то безвкусные чешки, пластыри, словно в дом въехала сборная по спортивной гимнастике в полном составе.

Мы все оказались выкинутыми из жизни. Собственно, мы были такими и до встречи, но теперь стало как-то проще просыпаться по утрам. Всё-таки не одни.

Однажды я сидел на кухне и пил утренний кофе. В остальное время я предпочитал делать себе какао, но только кофе помогает проснуться по-настоящему.

Геля вошла почти бесшумно.

– Мне пора в студию. У нас есть что-нибудь перекусить?

– Да, если Катя не доела, там ещё должны были остаться хлопья.

– Кстати, а где ребята?

– Поехали искать комнату.

– Всё же надумали?

– Да. Не вечно же спать вчетвером в одной кровати, даже если она такая огромная.

– Жаль. Ты не против, если я останусь?

– Если хочешь.

– Тебе всё равно? – она обиженно надула губки.

– Не знаю. Не хочу об этом думать. По крайней мере, сейчас.

– Ладно. А почему ребята захотели уехать?

– Боря хочет закончить свою книгу. Этот «Учебник для самоубийц в картинках». Странная история, он нашёл рукопись в психиатрической клинике. И с тех пор просто бредит ею. Говорит, что сама судьба послала ему её как спасение от тоски.

– Странное название для спасительной книги, тебе не кажется?

– Пожалуй. В любом случае, тут ему не сосредоточиться.

– Мне кажется, Катя и там ему не даст погрузиться в работу.

Мы, как по команде, улыбнулись. Меня больше смущал тот факт, что Борю никто не хотел брать на работу. С белым билетом приткнуться особо некуда.

Нам всем совершенно некуда было стремиться. Геля занималась балетом, но не связывала с ним своё будущее. Я лишь подрабатывал бухгалтером, а Катя – моделью. Всё это совершенно никуда не годилось. Нас объединяло отсутствие будущего – не самая лучшая вещь на свете.

– Вот ещё что, – сказала вдруг Геля, – Наши девчонки, балерины, судачат об одной книжке. Вроде как все пытались её прочитать, но никому не удалось. Сдавались уже через несколько страниц. Мне её сегодня принесут, она называется «Луга, залитые надеждой». Предлагаю устроить вечернее чтение. Как тебе идейка? Сделаем какао, сядем и попробуем осилить этого монстра. Ну, или посмотрим, кто первый сдастся. Что скажешь?

– Я совсем не против, – отозвался я. Подозрительно заныло внутри, словно мои чужие внутренности что-то почувствовали.

– Будет литературный салон в нашей маленькой разваливающейся коммуне, – торжественно заявила Геля.

– Звучит классно!

– Ладно. Побежала. Готовься к высокой литературе.

Я принялся готовиться сразу после того, как за Гелей закрылась дверь. Прежде всего, раз уж выдался шанс, я лёг спать. Впервые за несколько недель моя кровать пустовала, и мне удалось выспаться в гордом одиночестве. Даже выпитый кофе не помешал.

Снился город моего детства, совершенно пустой – на улице не было ни души, только ветер бродил по дворам и закоулкам, выметая мусор из-под лавок.

– Слышишь, как стонет воздух? – спросил меня голос в моей голове.

– Ты будешь преследовать меня и во сне?

– Конечно. Я теперь всегда с тобой.

– Я ничего не слышу.

– Это потому, что ты и не пытаешься слушать. Остановись. Замри на месте. Загаси ветер. Пусть даже сердце не стучит. Пусть не будет ни звука.

Я попробовал сконцентрироваться. Ветер действительно стих, и мелкие фантики от шоколадок, пролетавшие мимо, застыли в воздухе. Остановилось всё, и только тогда я услышал едва различимый скрип.

– Это огромные шестерни не могут справиться со своей работой. Ты же видел их, правда? Теперь ты чувствуешь, насколько они устали. Износились. Всё началось когда-то давно, ты тогда был ещё совсем ребёнком, но тебе, малышу, каким-то чудом удалось использовать всю мощь механики в своих интересах. Кто мог подумать, что ты на такое способен? И всё же ты перегрузил их.

– Я ничего не понимаю.

– Не беда. Просто запоминай. Поймёшь потом. Повтори про себя раз десять – шестерни, шестерни, шестерни... Что бы наверняка. Механизм износился. Человек износился. В этом есть нечто трагичное, но и обнадёживающее. Не обязательно отвозить на свалку автомобиль, если сдохла коробка, ведь её можно и заменить. А можно сдать автомобиль в переплавку, и из него сделают новую машину. Какой вариант тебе больше нравится?

– Не знаю. Любой. Лишь бы её не выкидывали.

– Ты начинаешь схватывать. Это и есть механика этого мира, его суть и его основная беда. Переплавка – это чудовищный стресс. И ещё неизвестно, что в итоге получится. Но иногда стоит рискнуть.

Я скомкал висящую в воздухе обёртку от сникерса. Застывшие на месте листья деревьев выглядели пугающе. Словно я оказался внутри картины. Не гудела даже река – её воды остановились, вдруг испугавшись предначертанного пути и его завершения. Я несколько раз огляделся, но пейзаж не изменился ни на йоту, только с каждой секундой громче скрипели старые шестерни огромного невидимого механизма.

– Ты действительно вырос, – раздался женский голос прямо возле моего уха. Я не стал оборачиваться – этот голос я узнал бы из тысячи. – Раньше ты боялся всего, теперь являешься сюда, как господь для этих трав, лип и домов, покинутых людьми.

– Все меняются.

– Всё меняется. Здесь точно всё изменится, или развалится.

Я почувствовал, как тёплые губы дотрагиваются до мочки моего уха. Резко развернулся, настойчиво искал её в пространстве, но она снова исчезла. Я был один, и только несколько фантиков висели в воздухе, как напоминание о том, что времени больше не существует.

Потом я кричал. Один, в пустой однокомнатной квартире с огромной идиотской кроватью. И проснулся от собственного крика.

Вечером Геля читала роман.

Громко, уверенно, как зачитывают приговор, она озвучивала нечто немыслимое, исполненное смыслов и образов. Каждое слово было нотой, вместе они создавали музыку, забивающую все другие звуки внешнего мира.

Я наблюдал за тем, как Боря не мог усидеть на месте. Он постоянно вскакивал и долго ходил по комнате из угла в угол, хватаясь за голову и сжимая её, словно собирался раздавить. Потом он снова усаживался на пол, но через какое-то время всё повторялось.

В сгустившемся воздухе мы чувствовали, как кислорода не хватает. Только Катя спокойно спала, заснув ещё в самом начале чтения, и её умиротворённый вид вызывал у нас настоящий ужас. Как можно спать, когда читают ТАКОЕ? Нам казалось, что даже звёзды сошли со своих орбит и спустились на землю, чтобы хотя бы сквозь окно посмотреть на безумцев, читающих запретный текст. Замерла природа, больше не дышал город, бесшумно двигались машины, свет их фар иногда освещал комнату, как летняя зарница, не издающая звуков. Вселенная ходила на цыпочках, и только Гелин голос рвал пространство и время на разноцветные лоскуты.

Было ясно, что по-старому не будет. Сегодня что-то изменилось. Чёрт возьми, да весь мир перевернулся!

В определённый момент моё тело перестало слушаться приказов, отдаваемых мозгом, и я распластался на полу, закрыв глаза. Вокруг сразу же материализовался туман, это могучее и безвыходное белое марево. Он ощупывал меня, словно пытаясь убедиться в моей подлинности, в том, что это снова я пришёл навестить родные края, а не кто-то чужой забрался туда, куда не надо. Над миром гремел голос Гели, как будто все девять фонарей обернулись репродукторами и транслировали одно и то же.

Я не мог отвести глаз от диковинного зрелища – огромная Земля вращалась вокруг этой залитой туманом долины, и был вечный дождь, и босая худенькая девочка кружилась в танце под музыку романа. Луга, залитые надеждой. Снова скрипели шестерни, гомонила река, скрежетали уключины, а потом меня настиг взгляд горбуна. Я внимательно всматривался в его глаза, пытаясь что-то понять, но в них была только тёмная холодная вода.

– У каждого свой горб, – сказал он и отвернулся, – но твой – тяжелее.

Заволновалась трава. Меня обступили тени, молчаливые и встревоженные. Стали стеной, покачиваясь, принялись рассматривать меня своими жуткими пустыми глазами. Мне сделалось страшно. Тени словно видели сквозь меня и просто переглядывались, но кольцо всё сужалось, они почти касались моих рук. В тот момент, когда я уже начал умирать, в их строй ворвалась танцовщица, несколькими молниеносными движениями порвала этот хоровод, и прозрачные немые создания бросились врассыпную.

– Не бойся. Здесь никто не сможет тебя обидеть, – сказала она. Трава облизывала её ноги, как будто просила прощения за излишнюю подозрительность.

– Молчи, пожалуйста, только молчи, – повторял голос у меня в голове, и я покорно молчал.

Здесь когда-то всё началось, сюда я вернулся, чтобы навсегда лишиться страха. И всё вокруг начало меня принимать. Опознало во мне своего.

– Слушай, слушай, – сказала танцовщица, – и всё поймёшь. Пусть эта музыка станет твоим поводырём. Теперь всё будет иначе.

– Теперь всё будет иначе, – прочитала Геля последнюю строчку романа «Луга, залитые надеждой».

Книга выпала из рук девушки и звучно плюхнулась на пол. Квартиру затопила тишина, в которой ни один звук не имел права на существование, и в ней отчётливей, чем когда-либо, раздавались раскаты молодых сердец.

Тишина вошла в дом, как хозяйка, заполнила собой всё, до чего смогла дотянуться, растворилась в воздухе и вместе с ним попала в кровь двум мужчинам и одной совсем юной девчонке. Остановила стрелки часов, чтобы те не тревожили, не бередили ошарашенных людей. Прибила к полу, и никто не мог встать, открыть рот, сказать слово. Первое же изречённое прозвучало бы как рёв боевой трубы, предвещающей начало страшного финального сражения, в котором погибнут оба войска. Тишина оттягивала этот момент, как могла.

Приколоченная этой бесплотной массой Геля беззвучно плакала, слёзы катились по её щекам, оставляя на них тёмные полоски туши. Не хватало кислорода. Геля пыталась дышать и не могла, воздух не проходил сквозь перехваченное спазмом горло. Книга валялась на полу рядом с ней. Ослабевшие руки не подняли бы и соломинки.

В другом углу тишины выломался Боря, обхватил колени и покачивался в такт единственному звуку, который хоть как-то слышал сквозь блокаду в ушах – стуку собственного несчастного сердца. Его губы что-то шептали, но вряд ли он сам знал, что. Уставившись в ничем не выделяющуюся на общем фоне точку на гладкой стене, он походил на человека, разбуженного ядерным взрывом. Вот уже стёкла плавятся в окнах, воспламеняется воздух, и нет спасения, есть только эта случайно выбранная и постоянно уменьшающаяся часть плоскости, пока ещё не затронутая распадом.

Я безуспешно пытался закурить. Сигарета, набухшая от слюны, не собиралась гореть, и я ободрал палец об острое кольцо зажигалки. Потом руки сами сломали сигарету и отбросили в дальний угол. Больше делать было нечего, и я закрыл глаза.

– Пересмешник, – сказала, наконец, Геля, и я впервые не узнал её голос, – ты – Пересмешник.

– А вы – Танцующие на Крышах?

– Да, – ответил вместо девушки Боря, – мы – Танцующие на Крышах.

Так родились Танцующие.

Секреты амбарной книги

Страшно, когда в десять вечера темнеет последнее окно. В мёртвом городе не боятся чудовищ под кроватью, тут есть вещи куда более жуткие – целые улицы домов, наглухо заколоченных и покорёженных безжалостной старостью, пришедшей словно из ниоткуда и оставшейся на бесконечный постой. То там, то здесь, чавкая, кровоточат пробитые трубы, воют набитые хламом чердаки, шелестят жестью покатые худые крыши, но в этих органических шумах нет практически ничего от человека, от приложенного им когда-то при строительстве города труда. В беспросветной мгле, охватившей, кажется, всю планету, мерещатся распахнутые настежь грудные клетки гаражей. Горизонт как никогда близок – равнина, покрытая инеем, обступает со всех сторон, и только далёкое звёздное небо, как осколок чьих-то невозможных мечтаний, смотрит на эту пустоту с брезгливой неприязнью. Зеркально отражая изгибы притихшего шоссе, лежит Млечный

путь, или, по крайней мере, нечто, похожее на его изображение в детских книжках про звёзды и галактики.

Век давно перевалил за середину, он медленно ползёт вперёд, постаревший на целую людскую жизнь, но всё стремящийся к своему логическому завершению. Выйти на круг, повторить судьбу предшественника – вот его неистовое желание, его награда за неторопливость, его проклятие и утешение. Мечтам не суждено сбыться, кровавому колесу или, как сказал бы Пересмешник, шестерне скоро некого будет давить в своих страшных челюстных объятьях. С каждым оборотом на свете остаётся все меньше невольных заложников столетия, и уже завтра некому будет помнить, как методично и жестоко снимает головы с плеч огромная остро наточенная металлическая лопасть – так стремится к нулю популяция двуногих, и разрастается, курлыкая северной птицей, лишённая геометрии и ориентиров пустота.

Ангелина Петровна вот уже несколько десятилетий дышит воздухом в кредит, ей его отпускает молчаливый страж этих бескрайних злых просторов под дикие проценты и только после проверки подлинности её желания жить.

Она так мало успела. Иногда любому разумному существу очень хочется просто остановиться, вынуть батарейки из часов и оглянуться назад, отбросив в сторону все переживания, всю грусть и тоску, посмотреть на свою жизнь как бы от лица постороннего, не склонного к оценочным суждениям наблюдателя. Но оглядываться нельзя. Ещё в детстве она усвоила один простой урок, что преподали ей край бесконечной пустоты, который люди по инерции называли малой родиной, и его глупые сказки, от которых веяло землистой тоской: обернёшься – и уже никогда не найдёшь правильной дороги, не выйдешь из лабиринта, заблудишься в лесу. Может, именно поэтому Ангелина Петровна так долго не хотела вспоминать своё детство, снова погружаться в вязкое болото бессмысленности.

Вся её жизнь – короткий промежуток времени между двадцатым и сороковым днями рождения. Всё, что было до этого, и всё, что не случилось после – тень человека, его проект, схема для мастеровитого паренька, запертого в кабинете труда. Можно было жить и после сорока, как можно было бы, при огромном желании, усмотреть интересные сюжеты в жизни до знакомства с Пересмешником, но само это странное слово «жить» в одном предложении с описанием двух одинаково тоскливых эпох её земного, или, скорее, приземлённого существования звучит дико и лживо.

С тридцатых годов ей, как и многим другим, нечем было дышать: несколько поколений вынуждены были самостоятельно выдумывать воздух. Они и создали его, наполнили свои слабые лёгкие бесцветным и бесполезным газом, лишь чуть-чуть насыщающим кровь жизненно необходимыми элементами – лишь бы хватило для того, чтобы передвигать ноги и носить сумки. Да что они, не знающие формул! Совсем ещё молодая дочурка Ангелины Петровны по сей день проводит дни и ночи в попытках выдумать себе жизнь, которой нет, которой просто не может быть после того, что случилось в 2050-м году нашей эры. Но хотя бы в этом мать всё ещё чувствует своё превосходство над не по годам развитой женщиной, которая, вроде бы, плоть от её собственной плоти. У неё-то были Танцующие.

Многое забыто, многое и не хочется вспоминать, как иной раз неприятно восстанавливать по кусочкам моменты разрыва, позора или недопонимания. Хорошее растоптано настоящим, плохое – вызывает болезненные ощущения до сих пор, потому что, как бы ни увещевали нас древние пословицы, время – отвратительный лекарь, к тому же забывший дома все свои волшебные травки и коренья.

У Ангелины Петровны нет литературы, посвящённой Танцующим, хотя такие книги и выходили в тридцатые годы сравнительно большими тиражами. В одной молодая танцовщица выставлялась ветреной дамочкой, которая спала с десятком мужчин и старалась как можно чаще показывать окружающим своё не слишком выдающееся тело. Эту дрянь Ангелина Петровна даже не дочитала – её начало тошнить от неправдоподобного рассказа о знакомстве будущих сотрясателей мира московских буржуа, то есть с первой же страницы увесистого, хотя и в мягкой об-

ложке, тома. Вторая, более серьёзная книга, была полностью посвящена гонениям, устроенным на Танцующих в конце тридцатых, причём сам феномен небольшой коммуны рассматривался с точки зрения общего упадка моральных норм и культуры как таковой. Хотя напрямую гонения и не преподносились как однозначное благо для общества, но дух одобрения витал над каждой страницей, как ангел над рождественской ёлкой. Тоже ничего особенного: скучный заказной текст не слишком одарённого ретрограда, старающегося показаться объективным. Сочинение Бориса В. «Танцы в лучах заката» сорокалетняя Геля случайно забыла в Москве, когда в каком-то неистовстве, граничащем с очередным нервным срывом или даже окончательно пришедшим на смену редким всполохам психоза сумасшествием, покидала её той последней весной, чтобы уже никогда не вернуться.

Зато у неё есть своя собственная книга о Танцующих – огромная тетрадь, в которую когда-то бухгалтеры должны были занести скучную информацию о доходах и расходах своей компании. Геля нашла её у Пересмешника, когда рылась в его шкафах, и спасла от плачевной участи. Несколько пожелтевших листов до сих пор хранят карандашную наметку разлиновки на два столбца, но новая владелица тетради поля и прочие границы не замечала никогда – привычка заезжать за разметку появилась у неё в пятнадцать лет, и с тех пор она ни разу не попыталась измениться. В тетрадь на протяжении почти двух десятилетий танцовщица вклеивала всё, что казалось ей действительно важным – вырезки из газет и журналов, распечатки с интернет-сайтов, фотографии, даже избранные страницы из своего дневника. То, что внимания не заслуживало, отправлялось прямиком в огонь. Пожар, в пламени которого сгорают твои неудачи и ошибки, пожалуй, является самым приятным на свете зрелищем.

Скорее всего, эта неказистая амбарная книга – самое полное на свете собрание упоминаний о Танцующих, некий не оцифрованный архив, существующий в единственном экземпляре. К примеру, сюда Геля когда-то любовно вклеила самую первую рецензию на уличную акцию «Попрание границ». Звучное название (Пересмешник мастерски обзывал каждый танец неудавшейся балерины) привлекло внимание одного известного в те времена сайта, посвящённого левому искусству, и краткость записи, которой отозвался неизвестный автор, никогда никого не могла обмануть – именно с неё началась их история.

Мы думали, что левое искусство умерло. Что оно осталось где-то во вчерашнем дне, и не скоро вернёт себе гордое звание авангарда. Танцующие на Крышах смогли подарить нам веру в то, что ещё не всё потеряно. Их «Попрание границ» – мощнейший удар по дряхлеющим устоям раздавленного тяжестью гложущих его противоречий общества. Языком танца, языком площадей оно говорит о безумии разграниченного и поделённого между разными правящими элитами мира. Словно кто-то кричит в толпу: «Люди! Наша национальность – Человек, наша страна – это то, что мы способны объять взглядом!»

Распечатку короткой рецензии Геля когда-то вклеила в самое начало своей летописи.

Когда накануне сорокового дня рождения она собирала вещи, чтобы навсегда уехать из Москвы, амбарная книга в последний раз пополнилась редким, но таким долгожданным экспонатом – дневником неожиданно оказавшейся не у дел девушки по имени Геля-с-серьгой-в-языке. Несколько вырезок из её записной книжки, невесомые клочки прошлого, записанного кривоватым почерком на маленькой кухне Пересмешника, от них бы не осталось и следа, если бы не какая-то внутренняя уверенность в том, что такие записи однажды пригодятся, может быть, уже не ей. Геля долго выбирала, что имеет смысл сохранить, а что не представляет никакой ценности. В результате, остались нетронутыми лишь три странички – все её личные переживания, без которых не хотелось жить. Всё остальное она сожгла в раковине, вместе с несколькими письмами от поклонников, постановлениями суда и целым ворохом анонимных угроз, да так увлеклась, что чуть не спалила в придачу и собственную футболку, которая едва занялась и была молниеносно потушена водой из-под крана. Пылающие в ночном мраке мосты ещё долго снились Геле, вызывая прежде всего сомнения в собственной одарённости – такая простая и предсказуемая метафора бесила сильнее, чем чёрный укус, оставленный на одежде сопротивляющимся дневником.

Мой дневник

Хей! Всем привет!

Меня зовут Геля-с-серьгой-в-языке, и я главная по танцам в Танцующих на Крышах! На собрании нашей маленькой коммуны было принято решение всем вести дневники, что я не без удовольствия привожу в исполнение. Вдруг их когда-нибудь издадут? Было бы здорово!

Последний раз я что-то записывала, когда мне было восемнадцать лет, и это было задание для реабилитации, так что – ни отвертеться, ни соврать не было никакой возможности. Как вы поняли, я немного сумасшедшая (это, пожалуй, публиковать при моей жизни не стоит). Когда мне было пятнадцать, от нас ушла мама, сбежала с каким-то подполковником. Мужик был ничего, но хитрый и изворотливый, практически полная противоположность папаши, который когда-то казался моей родительнице отличным приобретением. Тот как был увальнем, так увальнем и остался, развод научил его только одному – бабам доверять нельзя. Ох, и натерпелась я тогда от него, ох, и наслушалась всякого про весь наш сучий женский род. Он даже бить меня пытался, как будто у НЕГО это могло получиться! Выходили лёгкие пощёчины, и не более того, но мне в любом случае было очень обидно, и я старалась как можно реже появляться дома. Шлялась где-то, постоянно находилась среди людей, чтобы не было так больно и так одиноко.

В итоге была отправлена к психиатру с установкой на исправление. Все мои срывы, слёзы, крики, шрамы на запястьях, этого дядю интересовало всё, вплоть до того, по каким соображениям я выбираю именно кофе со сливками, и в каком возрасте у меня приключился первый сексуальный опыт.

Чем больше он меня лечил, тем сложнее мне становилось сходиться с людьми. Я забралась в себя и выглядывала оттуда только чтобы расстроиться и снова сорваться в крутое психозное пике. «Интересный случай». Так говорил врач. Дома атмосфера была невыносимой: папа зарабатывал на жизнь тем, что лечил чужие зубы, так что никаких интересных разговоров ожидать не стоило – сплошь и рядом валялись брошюры с изображёнными на них улыбающимися многотысячными челюстями людьми разного пола, возраста и цвета кожи. В общем, я была одинокой худенькой старшеклассницей без ярко выраженных друзей и половых признаков, а заодно без интересов, полезных умений и даже постоянного секса, что в том возрасте казалось не таким уж и бесполезным аксессуаром. В тот год я проколола язык, растеряла всех знакомых и стала сумасшедшей. Вот это был годик, скажу я вам!

А в восемнадцать я собрала вещи и поехала в Москву. Меня передали с рук на руки другому психиатру, а папаша на радостях, что я его покидаю, даже проплатил мне комнату в общежитии при балетной школе, сразу на два года вперёд. Лихо от меня отделался. И я стала жить в столице, одна, практически ни с кем кроме Кати не знакомясь, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности быть отвергнутой. Со временем я даже к этому привыкла – научилась обсуждать все проблемы и интересные вещи сама с собой, да так, чтобы этого никто не слышал. Мне ничего не стоило закрыться в комнате на несколько дней, благо через пару месяцев после поступления мою соседку вышибли из группы за излишне неуклюжие па, и я осталась одна в роскошных восьмиметровых хоромах, увешанных плакатами из молодёжных журналов.

Но я заболталась, а между тем на втором году постижения балетных премудростей судьба свела меня с очень странными парнями, почти на полжизни старше, но в некоторых вещах – сущими детьми. Мы с Катей сидели в каком-то кафе неподалёку от красивого столичного вокзала, обсуждали её совсем непростые отношения с отчимом, гниловатым пропойцей и пошляком, когда они ввалились внутрь с явным намерением охомутать парочку симпатичных особей женского пола. Мы бы и не посмотрели на них, если бы в их поведении не было чего-то загадочного, какой-то невысказанной грусти; чтобы в таком настроении идти искать сексуальных утех, нужно быть немножко не от мира сего. А нас с Катей это интриговало.

Конечно, сейчас я не совсем справедлива. Во-первых, мы, а в особенности я, никогда особым вниманием со стороны парней не пользовались, так что грубоватая попытка мальчиков даже до-

ставила нам удовольствие. А во-вторых, Пересмешник, хотя Пересмешником он стал значительно позже, привлёк меня ещё чем-то, но у меня не хватает словарного запаса, чтобы описать это. Знаете, бывает такая погода за окном, когда ты снова чувствуешь себя шестилетним ребёнком, изнывающим от скуки, но получающим от неё ещё и некоторое иррациональное удовольствие. Я лишь один раз встретилась с Пересмешником взглядом, а через секунду уже целовала его, чувствуя ту самую грусть, и вместе с тем – удовлетворение от того, что существую на этом свете, сижу на коленях у этого странного парня, пью его виски, делая вид, что отрешённо озираюсь по сторонам. Если это и была игра, то лишь игра в форму, заковавшую мою душу и придвинувшую меня вплотную к моему Рубикону.

На этом запись обрывалась, так как тетрадный разворот был намертво приклеен к странице амбарной книги клеем ПВА, из-за чего сморщился и напоминал больше всего морду шарпея-альбиноса, которому не повезло лично поучаствовать в защите лесов, принеся себя в жертву излияниям человеческой памяти. Если Ангелина Петровна не ошибается, а она вполне может и ошибаться, так как прошло уже не одно десятилетие с момента последнего прочтения обратной стороны этого листа, речь там шла о том, каким необычным показался ей при первой встрече Пересмешник и каким необычным он кажется ей до сих пор. Она терялась в догадках, что же такое с ним случилось, что заставило его пить почти три года без перерыва. Эти мысли уже нет смысла охранять от забвения – они ничего не стоят, главное было сказано, повторено, вызубрено, это главное выжгли паяльником на её подкорке, чтобы даже ночью во сне она снова и снова возвращалась к мыслям о прошлом.

Было время, когда Геля могла, причём несколько раз подряд, делать первый шаг, брать на себя ответственность, выполнять каскад самоубийственных движений, ни в одном из которых нельзя было ошибиться ни на миллиметр. После того как в день первой встречи они вчетвером ввалились в маленькую однушку на окраине, Геля затолкала Пересмешника в ванную комнату и сняла с себя всё, что ей мешало, чтобы он мог спокойно и без уже ненужных преамбул оценить свой улов. Потом они стояли под душем, чувствуя, как потоки воды смывают с них городскую пыль, и её новый знакомый руками исследовал её тело, мягко ощупывал, словно составлял топологическую карту местности, а Геля, зажмурившись, старалась не шевелиться и даже не дышать, чтобы не спугнуть этот внезапный исследовательский азарт.

Она чувствовала, что сквозь его руки в неё входит какая-то бешеная энергия непонятного свойства: по всему телу растекалась приятная нега, похожая скорее не на возбуждение, а на умиротворение, близость к нирване, в которой собственное Я растворяется, уступая место всеобъемлющему и вездесущему МЫ. Она поняла, что подключена к чему-то, больше всего напоминающему огромную, размером со всю вселенную, компьютерную сеть, осознала своё место в этой системе хаотично разбросанных по миру ретрансляторов, и всё вокруг, ванная комната, струи воды, слабые голоса подруги и её нового парня за стенкой, сделалось совершенно неважным. Мир оказался сложнее, чем ей думалось раньше, настолько сложным, что мозг не мог справиться с лавиной новой непонятной информации. Тогда она постаралась расслабиться, чтобы не спугнуть это наваждение, по телу пробежала мелкая дрожь, а под левой коленкой предательски заиграла, зазвенела самая малая жилка, резонируя с белым шумом вселенского радиоэфира.

Когда Пересмешник вошёл в неё, она, наверное, впервые за свою недолгую жизнь, осознала, что секс – это ничто, лишь обязательство, которое в данный момент её партнёр брал на себя, потому что так заведено. Сначала ей очень хотелось повернуться и попросить его перестать, так как после «подключения» все плотские ощущения казались мелкими и даже мерзкими, но потом разом иссякли все её силы, и им обоим оставалось лишь наблюдать за собственными телами, довершающими начатую игру. Самую древнюю и самую бесполезную на свете, если, конечно, не считать полезным удовлетворение вшитого в подкорку желания пустить семена в удобренную почву, прорасти новой жизнью, выпустить в мир ещё одного несчастного представителя человеческого вида.

У Ангелины Петровны – две дочери, обеим уже за тридцать, так что свои материнские обязанности она давно исполнила. Но в этом и заключается подвох – нарожать детей и жить-поживать на пенсию да на подачки родственников никогда не входило в её планы, и никакого удовлетворения от жизни она давно уже не испытывает. Она уехала из холодной и недоброй Москвы не для того, чтобы наслаждаться старением, не для того, чтобы стать милой старушкой рантье в своей глубинке, от которой её в детстве тошнило. Она сбежала от нахлынувшей пустоты и одиночества, связанного сначала с исчезновением Пересмешника, а потом и с опустившимся за Землю, укутавшим её, словно мягкое пуховое одеяло, Катаклизмом, подобного которому не было в истории двуногих.

И только изредка перебирая старые бумаги, женщина вдруг снова начинает улыбаться и с недоверием трогать свою серьгу. Где-то внутри всё ещё живёт, всё ещё как-то существует Геля-с-серьгой-в-языке, так и не постаревшая, но запертая в это громоздкое тело. Ждущая, когда же ей удастся освободиться и снова стать частью огромной сети с сотнями тысяч взаимосвязанных элементов, за которой надзирает её старый друг, любовник, учитель и человек-константа. С такими мыслями Ангелина Петровна закрывает амбарную книгу, ставит её на полку и ложится в кровать. Время – четыре часа ночи, самый удачный момент, чтобы немного вздремнуть и дать отдых уставшим от длительной ходьбы ногам.

На пороге Конца Света

Шло время, шёл по рельсам обычный зелёный, со следами побоев вагон, и единственные его пассажиры – четверо, немного сумасшедшие и никому не нужные, тряслись в тесном купе с влажными простынями, подёрнутыми коричневатой коростой стенами и вечно открытым окном, вдыхающим внутрь сквозняк и выдыхающим белый никотиновый дым. Не работало отопление, пассажиров нещадно лихорадило. На каждой станции, на каждом ночном перегоне, тормозящем тех, кому некуда было спешить, так как никто на свете не ждал их приезда, стояли, тревожно вслушиваясь в новые возгласы, наклонения и акценты, в шум исподволь меняющегося мира. Соприкасаясь с неприкрытой реальностью, ещё долго отходили от шока, прижимаясь друг к другу, воздух хватали даже не ртами – всеми порами впитывали, стараясь надышаться наперёд, запастись кислородом, чтобы лишний раз не покидать мир в четыре стены.

Отпраздновали моё тридцатилетие, шумно и весело, признаваясь друг другу, что время кажется не иначе как поездом, способным сойти с рельсов только в случае крушения. Сами себя решили считать опасливыми, неуверенными в себе и в плотности окружающего вещества купейными завсегдатаями. А подвижной состав уже начинал изнашиваться, стачивались неимоверно прочные колёса, первые морщинки вдруг легли на лица ходячих мясных футляров для чего-то большего, что по растерянности не вложили в нас ещё на конвейере.

У Танцующих, как и у всего другого, конечно, есть свой срок годности, равняющийся хотя бы нашим жизням, и всё же, могли ли мы думать до этого момента о том, когда и как закончится наше путешествие? Когда всё только начиналось, мы делали то, что хотели делать, как бы банально и наивно это ни звучало теперь, после нескольких лет напряжённой работы. Просто огромный Колосс вдруг склонился над нами, и только надежда на возможную, хотя и маловероятную победу, заставляла нас изобретать новые орудия, наносить удары в самые незащищённые части его тела, не оставляя на этом теле улик и синяков. Обманчиво твёрдый, то есть состоящий из очень близко пригнанных друг к другу микроскопических частиц, этот монстр по имени общество неистово набрасывался на наши обманки. Снова и снова попадая в расставленные на него ловушки, он с упорством барана продолжал преследование, обманутый тем, что жертва так мала и бессильна перед его ненормальной фанатичной мощью.

К сожалению, неумолимо заканчивающееся время не даёт мне возможности подробно рассказать об этих нескольких годах нашего существования, хотя они и достойны самого вдумчивого

изложения, так что пора перейти к главному. Как это ни прискорбно, в отличие от меня, мои товарищи написали куда больше, и их дневники, скорее всего, когда-нибудь помогут исследователям по крупицам восстановить всю нашу историю, если найдутся интересующиеся ею люди в мире после Конца Света. Я же пишу всё это только потому, что именно сегодня решится, быть ли Танцующим дальше, или мы исчерпали лимит отпущенного нам, исполнили всё, что смогли взвалить на себя и без позора пронести на слабых спинах. Мы – это трое без прошлого, это Геля-с-серьгой-в-языке, Боря Философ и я, Пересмешник. Ещё совсем недавно нас было четверо, но история неумолима, она кроит мир по своим лекалам, и вторгаться в этот процесс – непозволительная роскошь для простых смертных, облачённых в легко рвущуюся кожу.

Итак, первую акцию мы вынашивали довольно долго – ею стала замечательная на мой личный взгляд зарисовка «Попрание границ», собравшая сотни тысяч просмотров в сети и показанная нами десятки раз на сравнительно свежем воздухе столичных пешеходных улиц. Не упомянуть её пусть даже в столь коротком и лишённом конкретики отрывке было бы преступлением. Геля, создавшая весь рисунок движений и отрепетировавшая всё до мельчайших подробностей на моей маленькой, меньше будущей сцены, кухоньке, пользовалась многими источниками вдохновения, но первый её опыт постановки базировался, прежде всего, на балетных па, которые она усвоила за время обучения в студии. Речь тут вовсе не о красоте, если, конечно, вы понимаете, что я имею в виду.

– Не обещаю, что это будет красиво, – сказала Геля на первой же репетиции, которую посетили все Танцующие, – но цель будет достигнута любой ценой.

Не знаю, какие представления о цели крутились в её сознании в те летние вечера, но танец произвёл на нас эффект разорвавшейся прямо под окнами бомбы. Несколько па-де-Буррэ, словно танцовщица пытается своими маленькими ножками утоптать картонный бутафорский грунт, несколько резких отскоков от несуществующих стен между Гелей и зрителями, несколько обязательных арабесков номер три и падение на землю в изнеможении, чему нет специального названия ни в одной балетной школе мира. К этому моменту в сознании наблюдателей уже складывалось определённое представление о пространстве, нарисованном танцовщицей. Об огромной шестиугольной комнате с толстыми стенами, лишённой окон и дверей, в которой, как в затоне, с трудом дышит мокрым воздухом юная босая девушка. Прибалтийский каменный мешок, выбраться из которого не под силу ни одному фокуснику в мире. И вдруг, словно разряд от пролетающей мимо шаровой молнии, неожиданный изящный кошачий прыжок сквозь эту казавшуюся непробиваемой стену, и лёгкий манеж вокруг невидимого жуткого строения, в существовании которого ещё минуту назад не сомневался ни один зритель. Настоящий шок.

Пока Геля завершала представление, нашей с Борей задачей было не допустить тактильного контакта, который мог сбить нашу прекрасную балерину. Не столь страшно, что кто-то мог испортить саму акцию, куда страшнее – сломанная, подбитая, словно птица на взлёте, метафора, заново нарисовать которую практически невозможно. Этому строительству ничто не должно было мешать, а потому мы всегда принимали все меры предосторожности, вплоть до балаклав на наших с Борей головах. Внимание зрителей концентрировалось на Геле, мы же лишь стояли рядом и притворялись статуями до того момента, пока не случалась какая-то непредвиденная ситуация. После того как зрители начинали аплодировать, а аплодисменты мы собирали всегда, сцена быстро разбиралась, складывалась в большие спортивные сумки, и мы моментально ретировались, чтобы не попасться полиции. Много позже, когда мы уже имели некоторый вес, разбирать сцену мы перестали – защитники правопорядка неизменно прибывали на место за десять минут, и нам приходилось бросать всё и бежать что есть мочи в ближайший вход в метро. Зрители не могли понять, что происходит, почему обычные уличные артисты боятся сотрудников полиции, но органы уже кое-что осознали, нащупали нечто настораживающее в наших ни с кем не согласованных заранее акциях. Танцующие стали ещё и бегающими.

Было довольно много акций, много разрушительных жестов, которые вызывали настоящие бои на форумах, и каждый такой всплеск активности мы, следящие за всем, что происходит в

сети, воспринимали как личную победу. Но настоящая работа началась чуть позже, когда нищающее правительство, в желании сократить затраты на электроэнергию, издало указ о выселении заводов за границы города, в котором и так нечем было дышать, не то от выделяемого каждым чёртовым автомобилем углекислого газа, не то от каждодневно утверждаемых с телеэкранов сомнительных истин. Это был шанс, который не могло упустить ни одно объединение, хоть немного имеющее отношение к современному искусству. По всему городу хаотично стали возникать сквоты, захваченные цеха и фабрики, не нужные больше никому и медленно ветшающие под напором единственной силы, рядом с которой любые принятые кем-то там законы не стоят даже одной, лет десять как упразднённой копейки.

Танцующие свой цех заняли в тот момент, когда завод ещё даже полностью не съехал. Желание обзавестись большой мастерской было столь огромным, что мы взломали замки ночью, пробрались внутрь опустевшего гиганта и уже из его утробы смотрели, как грузовики вывозят с территории кирпичного завода последние металлические конструкции, стоящие хоть каких-то денег. У нас же, кроме стен, имелась разве что розовая пыль, облюбовавшая все горизонтальные поверхности в нашей будущей мастерской. В тот момент она напоминала ангар для звездолёта из фантастического кино середины семидесятых, такими высокими казались нам семиметровые потолки, таким громоздким цех выглядел снаружи и просторным – изнутри. Цех со всех сторон окружали другие здания странной геометрической формы, так что мы не боялись, что кто-то увидит нас с улицы, но страх внушали соседи, которые наверняка не отказались бы от лишнего помещения, да ещё и таких размеров. Как оказалось впоследствии, мы зря нервничали – на территории завода разместилась не самая большая в мире колония хиппи, и пара передвижных художественных мастерских.

Так появился Цех с большой буквы. Какое-то время все были полны агрессивного энтузиазма, того самого, что заставляет гробить своё здоровье, по много часов в день выметая из всех углов кирпичную крошку и строя посреди помещения сцену для репетиций из найденных на помойке старых столов и шкафов. Того самого, что когда-то заставлял учёных и в лагерях изобретать новые способы отправки смертоносного заряда на другой, конечно же враждебный континент. Но теперь мне кажется, что трещина к тому моменту уже заявила о себе, просто была ещё столь мала, что её никто не заметил.

Поставив себе большой письменный стол и ежедневно проводя за ним по три часа, Боря всётаки смог преодолеть свою боязнь бумаги, так что именно в Цехе впервые был прочитан, то есть – озвучен для вечности, первый его труд – «Учебник для самоубийц в картинках». Важность момента сложно переоценить – эта книга вывела в свет нового писателя и публициста, показала близкой к искусству общественности, что существуют такие странные и немного ненормальные ребята, как Танцующие на Крышах, выстрелила в воздух зарядом едкой иронии, граничащей с издёвкой и ставшей притчей во языцех для нескольких поколений жителей этого мрачноватого города. В книге были, например, такие пассажи.

Меня привели в кабинет грозного усатого чиновника, меньше всего похожего на целителя больных душ. Он важно и с непробиваемым чувством собственного достоинства смотрел на меня, жуя свой жёсткий ус.

– Ваше имя, – спросил он безо всякой вопросительной интонации.

Я представился.

– Возраст?

Я назвал дату своего рождения, намекая на то, что подсчёты он может произвести сам.

– Национальность?

– Человек, – ответил я, улыбаясь.

– Это не национальность, – сказал он строго.

– Национальность.

– Хорошо, – он выплюнул ус и заметно поскучнел. – Кем были ваши родители?

Я начал рассказывать. Мужчина и женщина (что, по правде говоря, вполне логично), таких-то годов рождения, он – театральный критик, она – инженер в коммерческой фирме.

– Ну, а у них какая национальность была? – нетерпеливо перебил меня доктор.

– Люди. Жили в Москве. Какая ещё национальность вам нужна?

– У всех людей есть национальность. Где вы родились?

– В Москве, на Сухаревской.

– Русский?

– Почему? Просто человек.

– Возраст?

На этот раз я назвал точную дату рождения и свой возраст, подсчитав заодно и количество дней, прошедших с моего последнего на данный момент юбилея.

– Национальность?

– Человек.

И так без конца, на протяжении почти трёх часов. В итоге, в деле записали – еврей, но карандашом. Уверенности у докторов не было, зато клиническая картина в этот момент начала вырисовываться.

В общем, книга была издана через несколько месяцев после того, как Боря зачитал её нам, под периодически возникающие громогласные аплодисменты, усиленные отличной акустикой огромного Цеха. В нём же мы впервые увидели репетицию, пожалуй, самой запоминающейся акции Танцующих за всю их историю – Нулевого Интернационала. Геля провела не одну бессонную ночь за столом, чтобы набросать рисунок будущего танца, она прекрасно понимала, что акцию такого масштаба испортить было нельзя, мы же старались всеми силами ей помогать, то есть делать то, чего она от нас ждала – ходили на цыпочках и не издавали ни звука.

Нулевой стал сенсацией, не без нашей помощи. Журналистам самых разных изданий были предварительно разосланы релизы, назначено место встречи, мы терроризировали их на протяжении месяца, пока не получили подтверждение от большинства модных в то время акул пера и гиен бумаги. С одиннадцати часов утра в день премьеры акции они маялись бездельем на последнем этаже башни Федерация, вводя в ступор работников офисов своими огромными камерами и прочей аппаратурой для быстрой фиксации громких событий. О, они были вознаграждены за это томительное ожидание.

Номер состоял, по сути, из довольно несложного танца на крыше небоскрёба, однако имел несколько технически сложных моментов, реализовать которые было очень непросто. В роли флага выступил кусок алой материи, который мы купили в простом магазине для рукодельниц, в роли сцены – легко разбирающаяся конструкция из фанеры и картона. Геля танцевала обнажённой, только пластыри на пальцах выдавали в ней простую девушку из этого насквозь материального мира. Обёрнутая в красное полотнище, она выглядела столь яростно, что её фотография в итоге украсила обложки нескольких крупных журналов, а прибежавшие на вызов ребята из внутренних войск лишь добавили ситуации пикантности, когда застыли с раскрытыми ртами перед сценой, не в силах пошевелиться. В конце концов Геля прошла мимо них с высоко поднятой головой, а мы ушли следом за ней, и только несколько солдатиков остались стоять на опустевшей крыше, так и не придя в себя.

Так мы ступили на скрипящий деревянный порог дома под названием Конец Света. И начался он с нас самих: закончившая обучение и к тому времени уже профессиональная модель Катя совершенно неожиданно уехала во Францию, не собираясь возвращаться. Мы не винили её, и даже Боря, остающийся в одиночестве, лично дотащил все её вещи до аэропорта, усадил на самолёт и озвучил пожелания личного счастья и профессиональных удач от лица Танцующих. Первое время они часто переписывались и регулярно созванивались, но со временем контакты становились всё реже – у Кати началась новая жизнь, она вышла замуж и довольно быстро стала матерью. И всё же, если есть человек, благодаря которому Танцующие стали явлением международного масштаба, то это она: наша боевая подруга выискивала всевозможные пути для популяризации

нашего маленького общества за границей, там регулярно выходили статьи и интервью, что доставляло нам удовольствие.

А мы тем временем всё больше погружались в затяжную депрессию. В Цехе всё чаще гостевала тяжёлая вяжущая тишина, мрачный Боря постоянно сидел за своим огромным столом и чертил линии на листочке, я пил пиво на улице возле ангара, а Геля тихо стирала с лица слёзы, пристроившись на краю нашей большой самодельной сцены. Это – тупик. Знаете, что такое тупик? Тупик – это диагноз, отсутствие смысла в том, что вы делаете, невозможность найти новую цель и постоянный возврат в прошлое. Лично у меня в прошлом нет ничего такого, к чему стоило бы вернуться – только одиночество и выдуманные люди, которых много лет нет на свете.

По ночам ко мне приходит Лена.

Во сне, кажущемся более реальным, чем настоящая жизнь, мы вместе гуляем по берегу реки и ждём, когда же разразится дождь, но за шесть лет он так и не пошёл – небо всё набухает, темнеет, очертания деревьев на той стороне делаются всё чётче и болезненнее, но дождь не торопится. Тысячелетний дождь из книги Писателя никак не начнётся, а у нас уже нет сил танцевать наши ритуальные танцы, пытаясь привлечь его внимание – рано или поздно мы достигаем предела возможностей. Лена, в редкие мгновения, когда она что-то говорит, озвучивает удивительно наивную, но кажущуюся вполне логичной мысль: если ты прикладываешь все силы, а результата нет, возможно, ты просто перепутал местами причины и следствия. В этом есть что-то, что не даёт мне просто сдаться.

– Помнишь горячий шоколад в том маленьком кафе? – спрашивает она, теребя зонтик в руках.

– Спрашиваешь! – возмущаюсь я. – Я до сих пор иногда прихожу туда и выпиваю две чашки – свою и твою.

– Может, в этом всё дело? Нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Времени вообще не существует, есть лишь наша уверенность в его существовании. А на самом деле мы одновременно проживаем все моменты наших жизней. Как думаешь?

– Возможно. Я никогда об этом не задумывался.

– Задумайся. Мы стоим здесь, одновременно с этим мы пьём шоколад, глядя на рыбу над входом, и Та, твоя подруга, тоже жива где-то, она всё ещё сидит на скамейке и ждёт, когда туман дойдёт до города и вы будете гулять в нём вечно.

– Но я знаю, что это не так.

– Знаешь, или ты просто не можешь отказаться от линейного восприятия времени? – спрашивает Лена, неожиданно переходя на интонации университетского лектора.

Я сдаюсь. Не знаю, что ответить.

Я чувствую трещину. Она разрастается, издавая довольно противный звук распарываемой ножом ткани.

Три правила прохождения тоннеля

Я иду по тоннелю, в котором неприятный запах сырой земли бьёт в переносицу, вызывая тошноту и неясную тревогу. Никаких подпорок, никакого человеческого вмешательства, как будто я двигаюсь по лазу, прорытому огромным слепым кротом. Ненадёжный потолок и взрыхлённый пол, в неровностях которого – следы водяного потока, прошедшего здесь совсем недавно и влившегося в подземные реки. Сверху иногда сыпется земля, но она опускается на пол бесшумно, как в вакууме, и очень медленно: при желании можно увернуться от любого кома, спасти свою одежду и свои волосы от грязи и порчи.

Где-то далеко шумит речка. Этот звук, единственный в глухом подземном мире, больше всего напоминает белый шум. Так звучало по ночам старое радио, которое до самого конца девяностых стояло в доме без номера в городе моего детства – проводной приёмник, когда-то шедший в

комплекте с фанерными стенами. Шум никогда не бывает однородным, в нём можно расслышать песни на неизвестном языке, переговоры экипажа зависшего где-то над Испанией самолёта, таинственные послания затерянных в дебрях людей, отзвуки чужих тайн, переданных морзянкой по венам проводов. Планета крутится и хрипит на миллион голосов, её несмазанная ось жалобно постанывает, совершая оборот, словно сопротивляется вращению.

Темнота и белый шум – два моих лучших друга с незапамятных и незапятнанных времён.

Лена сказала, что меня будут ждать Ужас, Боль и Пустота – три стража тоннеля, которые проверят меня на прочность, с которыми я должен встретиться, если хочу сдвинуться с мёртвой точки. Ужас будет страшен, Боль – и того хуже, но Пустота – самый опасный противник, сразиться с которым может лишь тот, кто идёт в верном направлении.

По поводу направления я сомневался и высказал свои опасения Лене. Дело в том, что у меня его попросту нет. Я понятия не имею, куда иду, хотя на какое-то время мне подумалось, что цель есть, и она достойна моих усилий. Танцующие закончились, не начавшись, а вместе с ними канул и пункт назначения, который я хоть и абстрактно, но представлял себе в виде пустого перрона где-то в далёкой заснеженной степи. Я думал, что выйду на него, и буранный полустанок приоткроет мне свои тайны, но ничего подобного не случилось. Да и не могло случиться.

Три правила прохождения тоннеля:

1. Не оглядываться. Тебя должна интересовать только цель – микроскопическая белая точка вдали, к которой нужно двигаться, что бы ни поджидало по дороге.

2. Не мешкать. Позади бесшумно шаркает непослушными ногами некто, не имеющий лица, голоса, разума, и он хочет восполнить недостающие части твоими. Ты будешь донором, а он – реципиентом, в этом его предназначение, что совсем не совпадает с твоими интересами.

3. Ничему не верить. В замкнутом пространстве мозг начинает выкидывать фортели, запутывать себя самого, и ты можешь испугаться, остолбенеть, купиться на лживые обещания.

– У тебя всё получится. Терять тебе всё равно нечего. – Лена весело мотнула головой, и отросшие за десять лет волосы медленно улеглись обратно в аккуратную причёску. Она натянула зелёную шляпку с огромными полями, хотя никогда, повторюсь, никогда при жизни не носила головных уборов. Странно, как меняются вкусы людей после смерти. Перед тем как я моргнул, я успел заметить зонтик-трость в её тонкой руке. Открыл глаза я уже в тоннеле.

Кто ты, безликий? Зачем ты меня преследуешь?

Я побрёл на свет, но он никак не хотел приближаться, и я понял, что движение здесь бессмысленно по определению. Я должен лишь делать вид, что иду – тогда мой преследователь меня не достанет, а стражи этого мрачного червивого мирка смогут неожиданно выскочить передо мной, напугать, заставить меня отступить в объятья безликого монстра.

Почему мне нельзя оглядываться? Почему даже во сне я не могу обернуться?

Что-то внутри моего черепа ответило мне голосом Лены: потому что это не сон. Всё что угодно, но только не сон.

Сзади набухало что-то тяжёлое, чёрное, я почувствовал, как в тоннеле, суть – в огромной трубе, изменилось давление, и это открытие неприятно, хотя и не болезненно, ударило меня по ушам. Я спиной ощущал, как что-то клубится, стелется по земле, не издавая звуков, не вызывая вибраций, но всё равно ощутимо, неотвратимо, как первый снег, засыпающий против желания владельцев автомобили, крыши домов, всё ещё зелёный канадский газон внутреннего дворика. Эта неотвратимость меня немного пугала, я повторял про себя три главных правила прохождения тоннеля: не оглядываться, не мешкать, не верить. Это похоже на мантру и, как часто бывает, не имеет никакого значения. С правилами всегда так: если ты не можешь их нарушить, то это не правило, а закон мироздания. Если же можешь – в чём смысл их исполнять?

И всё же я не рискнул оборачиваться.

Продолжая идти вперёд, я вдруг понял, что точки больше нет. Тоннель не заканчивался светлым пятном, буквально в десяти шагах передо мной был туман, или дым, или чёрт знает что ещё.

В нём тонули стены, пол и потолок, и совершенно непонятно было, что это такое, как это обойти, и стоит ли соваться вглубь.

А потом из этого мрачного облака влаги вышла старуха. Мерзкая бестия, беззубая, с широко раскрытым ртом, она смотрела на меня, не моргая, и глаза её казались остекленевшими. Она смеялась, но звука не было. Я осторожно приблизился к ней, она продолжала пялиться, но руки не подняла, с места не сдвинулась. Просто стояла и смотрела, как я подхожу, разглядываю её. Впрочем, никакого желания делать это у меня не было, лишь необходимость сразиться с противником и не попасться в лапы тому, кто шагает следом.

Потом дали звук.

– Ты знаешь, когда умрёшь? – загрохотало под сводами тоннеля. Я вздрогнул. Понятно, почему старуха показалась мне смутно знакомой – мы уже встречались, много лет назад, в начале осени. В тумане. Я попятился. Старуха снова засмеялась, но на этот раз я отчётливо слышал её смех – прежний булькающий звук сменился на хрипы, она словно не могла вдохнуть и использовала весь кислород, скопившийся у неё внутри, на поддержание этого противного звука.

– Кто ты такая? – спросил я.

– Кто ты такая? – передразнила меня старуха, продолжая смеяться. – А кто ты такой, чтобы задавать мне подобные вопросы? Может быть, ты пришёл сюда для того, чтобы ещё кто-то умер?

– Нет. Я пришёл не за этим.

– Тогда разворачивайся. Тебе здесь нечего делать.

– Тебе меня не остановить.

– Правда? А я попробую. – С этими словами старуха достала из кармана телефон. Телефон Лены, конечно. Поставив его на громкую связь, она набрала какой-то номер, и в трубке раздались медленные продолжительные гудки. А потом ответили.

– Здравствуйте, уважаемый, хотя не могу сказать, что крайне рад нашей очередной беседе. – Козлиный голос, неприятный, пробирающий до костей. Это он когда-то предупреждал Лену о смерти, его владелец звонил мне, о нём рассказывал Писатель в своём романе «Луга, залитые надеждой». Голос-убийца. – Кажется, вы подбираете дурные эпитеты относительно моей особы? Это неприлично, хотя и по-человечески понятно. Позвольте кое-что вам сказать. Вы уже поняли, что преследует вас по пятам?

– Нет, как я могу это понять?

– Эх вы. Видимо, вы не так умны. Ну что ж. Помните, что случилось, когда вы в прошлый раз пренебрегли моим звонком? Сейчас будет много хуже.

Старуха дёрнулась, её лицо застыло, как маска на лице не слишком умного шутника. А потом вдруг отвалилась нижняя челюсть. И нос как-то вогнулся внутрь, освобождая место для зияющей дыры в её голове. Глаза выкатились из глазниц и упали на землю, сразу же собрав комья грязи. В тоннеле было темно, но я почему-то рассмотрел всё до мельчайших подробностей. Из дыры в голове старухи что-то полезло. Она рухнула на колени, в то время как маленькие заострённые коготки вылезали из гортани, тянулись к её кадыку. Я закричал. Никогда не кричал, а тут вдруг просто-таки завизжал, сгребая в охапку воздух вокруг себя. Мне не было страшно – я был в настоящем зверином ужасе. Захотелось рвануть обратно что есть мочи, рухнуть к Лениным ногам, обнять их и никогда больше не отпускать.

Пути назад нет. Голос Лены в моей голове звучит нежно, вся её посмертная серьёзность испарилась, как только она вселилась в мою голову.

– Знаешь, почему я тогда не вышла замуж?

– Ты умерла.

– Конечно, умерла. И всё же.

– Не знаю.

– Потому что боялась. Боялась перемен, боялась, что когда выйду замуж, на свете родится новая девушка, а я умру, и никто не заметит подмены. Что ты видишь перед собой?

Я принялся описывать.

Длинные когти ломают надгортанник, раздвигают мышцы горла, хватаются за впадину носа и вытягивают себя из глубины её тела. Впрочем, из темноты нутра старухи уже вылезли не только когти, но и длинные скрюченные пальцы, которые потянулись к её шее, медленно обвивая её чуть пониже кадыка.

Нечто душило тело, из которого появлялось. Бессмысленность этого действия вдруг оборвала меня на полуслове. Я рухнул на колени, не в силах выносить разворачивающееся передо мной действо. Меня тошнило. В глазах заплясали шаманские танцы чёрные круги с кроваво-красной окантовкой.

– Вставай. – Сказала Лена. Но я продолжал сидеть на земле, не понимая, что происходит.

– Вставай! – крикнула Лена. Но я не встал.

– Вставай, – прошептало сзади. Голос был тихим, но уверенным. Каким-то бесцветным. Кто-то, кого я так и не смог разглядеть, потому что не мог обернуться, склонился надо мной и шепнул этот приказ, а возможно – дружеский совет, прямо мне в ухо. Я содрогнулся и вскочил. Не оглядываться, сказала мне Лена в самом начале пути, очень важно не оглядываться, пока не дойдёшь до конца, ибо то, что идёт по твоим пятам, только этого и ждёт. Оно не нападает, если ты не смотришь на него.

И я не стал смотреть. Я рванул вперёд, прямо через старуху, из горла которой уже показалось чьё-то плечо, и возможно даже опрокинул её навзничь, продираясь к спасительному пятну света, которое должно было быть далеко-далеко впереди.

– Я не боюсь! – закричал я и расхохотался. – Я в ужасе, но я не боюсь!

– Молодец. – Кажется, Лена улыбалась, не имея ни лица, ни прочих средств для осуществления этого мимического действия.

Туман действительно кончился быстро, буквально через двадцать шагов. И вновь я остался один на один с точкой вдали. Сзади раздались страшные звуки, словно кто-то кого-то ел, и мне на секунду подумалось, что это тот, кто идёт по моим стопам, пожирает старуху и то, что лезло из её раскрытого горла. Один кошмар уничтожал другой, доказывая, кто их них страшнее, кто из них на самом деле – Ужас.

Между тем тоннель начал сужаться. Потолок оказался почти над моею головой, а плечами я почти касался стен, хотя и не успел ещё испачкать одежду.

Стало тихо. Смолкла река, несшая свои грозные воды в неведомые миры, смолкло довольное чавканье чудища, что непрестанно перебирало лапами за моей спиной, я почувствовал, что все невзгоды почти подошли к концу.

А потом я увидел чей-то силуэт впереди. Это была Боль – второе испытание, предначертанное мне сумасшедшими создателями этого тоннеля. И я мог безошибочно определить, что меня ждёт, так как настоящая боль не нуждается в представлении.

Эта девушка когда-то существовала в двух ипостасях. Та, которая настоящая, и та, которую я выдумал, совершенно того не желая. Её расщепило на две части, и чуждая ей, изначальной, щепка стала захватывать жизнь, комкать её и мешать ей практически в любом начинании, а виноват в этом был, конечно, я.

Подойдя поближе, я понял, что она стоит обнажённая посреди тоннеля, а её голова запрокинута, словно на потолке есть нечто интересное настолько, что девушка не отрываясь следит за ним. Её ноги почти вросли в землю, а руки бессильно висели вдоль тела.

– Что ты мне приготовила? – спросил я, храбрясь и стараясь не выдать своего отчаяния. Она лишь молчала в ответ. Я обошёл её по кругу, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда пришёл. Впрочем, в тот момент я не помнил про три правила прохождения тоннелей, меня больше волновало её тело, истерзанное, в глубоких шрамах чуть ли не по всей поверхности, кроме спины. Спина была, как и десять лет назад, гордо распрямлена, без единой царапины на смуглой красивой коже.

Я остановился перед ней. Чудовищно долго мы стояли, не говоря ни слова. Потом, медленно, как в страшных фильмах, она начала опускать голову. Потом попыталась выдохнуть, и мне в лицо брызнула вода. Я зажмурился, а когда открыл глаза – тоннеля не было.

Была моя комната в съёмной квартире в Медведково, где я когда-то жил. Как будто ничего не случилось, всё по-прежнему. Томик Бродского на столе, пыль в отблеске окна, и подушка, на которой ещё не лежит роковое для меня письмо, написанное ею. Да и она ещё не покинула квартиру, я слышу шум воды в ванной, вижу её одежду, одиноко висящую на стуле, как оставленный хозяйкой плюшевый медведь, перед которым забыли извиниться.

– Зачем ты меня сюда привела? – спрашиваю я в пустоту, но мне, конечно, никто не отвечает.

Иду в ванную. У двери на мгновение останавливаюсь, переводя дух. Я не хочу туда заходить. Мне не страшно, но как-то горько, и в нос бьёт неприятный запах ментоловых сигарет, который я не люблю с тех самых пор, как остался в съёмной квартире совершенно один. Поначалу я тянусь к ручке, но останавливаюсь – захожу так, прямо сквозь дерево, которое смыкается за моей спиной совершенно бесшумно. Сейчас я – призрак, а эта девушка, лежащая в ванне, настоящая, она не видит меня и не слышит, да и не хотела бы слышать меня никогда.

– Я тебя ненавижу. Урод. Сволочь! – Она изо всех сил царапает себя ногтями, и я понимаю, откуда у неё шрамы на всём теле. – Ненавижу!

Как же я не проснулся? Почему не слышал её слов?

Она плачет. Хватается за голову и кричит, а потом снова рвёт свою кожу, в попытке очиститься от моего запаха, от моего постоянного присутствия. Её руки в крови, но она словно не замечает, и только плачет всё тише, съёжившись, как будто на неё наступает монстр.

Я закрываю глаза. Достаточно, все, что было нужно, я увидел.

Она смотрит мне в глаза. Зрачки настолько потемнели, что у них уже нет цвета – они стали идеальной отражающей поверхностью, в которой если и есть какие-то эмоции, то только мои собственные. Перекошенное лицо человека, которому больно.

Я чувствую её. Боль – вечный мой спутник, который я иногда слышу голосом в моей голове, а иногда вижу в зеркале, в собственных глазах. Она растекается по моему телу неожиданно приятной дрожью. Оказывается, мне приятна эта боль, она мне даже нравится, как нравится героин прожжённому и уже понимающему свою обречённость наркоману.

Нужно что-то сказать. Но что? Она смотрит на меня своим холодным взором, а по лицу стекает вода, вода затона, в котором я её, сам того не желая, утопил и не спас, когда была возможность.

– Прости, – говорю я и жду, что она сделает. Стоит как вкопанная. Я могу пройти, знаю, совсем не сложно обогнуть её по дуге и ринуться дальше, к последнему испытанию Пустотой, но что-то не даёт мне это сделать. А сзади приближается монстр, о котором я почти забыл.

– Что ты хочешь от меня? – кричу я ей в лицо. И снова она не двигается. Только вода струится и струится из её рта, стекает по подбородку, падает между грудей и стекает к низу живота. Я подхожу ближе. Смахиваю воду с её лица, но из открытого рта продолжает бить родник, и то, что я делаю, не имеет никакого смысла.

– Я люблю тебя, – говорю я. Впервые в жизни. Но и это ей не нужно. Разве нужны утопленнице извинения? Нужна ли ей моя любовь, она же – бесконечная, надрывная, но почему-то приятная мне боль? И Лена, как назло, молчит, давая мне возможность самостоятельно понять, что нужно делать.

– Что же ты медлишь? – вдруг говорит монстр за спиной. – У тебя есть выход. Развернись. Дай мне посмотреть на тебя. И всё кончится, не будет ни ужаса, ни боли, ни пустоты, до которой ты так и не дошёл. Так ничего и не понял, да? Зачем говорить ложь? Она знает, что ты не хочешь извиняться. Да и не можешь – иначе вся твоя жизнь рухнет. Она знает, что ты её любишь. Зачем говорить очевидное? По крайней мере, тот ты, который был в тумане, не боялся это показать. Пойдём со мной?

– Нет. Я не понимаю. Не понимаю!

– Конечно, не понимаешь. Если бы ты всё понимал, ты бы не оказался здесь. Что ты ищешь?

– Ничего.

– Ничего ты найдёшь без труда. – Кажется, в голосе монстра вдруг появилась интонация – ирония, не более. Монстр оказался человечным.

– Я не жалею, – сказал вдруг я и обнял её, обнажённую и вросшую в землю. – Я не жалею, – шепнул в ухо, как будто рассказал секрет лучшему другу, чтобы только остальной класс не расслышал моего признания.

Она закашлялась. Вода хлынула из лёгких с новой силой и намочила мне рукав. А потом осталась только вода. Путь был свободен, моя боль растворилась без следа, оставив мне только слабый, совсем не неприятный запах затона.

Я бросился вперёд, подальше от монстра-искусителя, который только что сожрал старуху. Бросился к точке, к свету в конце этого длинного и страшного тоннеля. Но внутри всё горело, словно у меня была температура – меня мучила мысль о том, что ей нужно было лишь знать, что я не жалею.

Теперь мне уже было всё равно, что там впереди. Пустота? Самое страшное испытание? Да не смешите. Что может быть страшнее?

А потом тоннель кончился. Я ворвался в белое, бесконечное, в молочную комнату без дверей и окон.

Вокруг меня сомкнулись стены. И я остался в белом один-одинёшенек. Не было стула, чтобы сесть, не было кровати, чтобы лечь. Это действительно была Пустота с большой буквы. Ни звуков, ни ветерка, ничего.

Я запаниковал. Впереди – тупик. Позади – враг. Сердце яростно колотилось, пытаясь пригнать в голову столько крови, сколько мне может понадобиться для того, чтобы разгадать последнюю загадку. Я дотронулся до стены, но она была монолитом, без единого соединительного шва или углубления – пробиться через неё было невозможно, даже если бы у меня было чем ударить по ней изо всех моих сил.

– Ты прошёл Ужас и Боль. Что ты понял? – Слева от меня стояла Лена, в своей зелёной шляпке. Она стояла босыми ногами на белом полу, и её волосы впервые за десять лет не развевались, застыли в пустоте. Мне почему-то стало так грустно, что захотелось сесть на пол и заплакать.

– Я ничего не понял.

– Не притворяйся.

– Но это правда! – Я закричал в голос.

– У тебя остаётся немного времени, чтобы подумать. – Я посмотрел направо, там оказалась Кансер, танцовщица из моих вечно чересчур реалистичных снов. Она, следуя за моими движениями, дотронулась до стены. – У тебя осталось одно незаконченное дело. Но прежде чем ты приступишь к нему, тебе нужно попрощаться.

– Прощай. – Лена улыбалась. Снова, впервые за десять лет. – Я не буду больше тебе звонить. Не будет больше затона с навеки застрявшими в нём людьми. Может, останется только моя любимая песенка. «Повернуть время вспять», помнишь?

– Не уходи. – Я прошептал это еле слышно, потому что слёзы душили, потому что в комнате и так не было ни единого звука.

– Мне пора. Отпусти меня, пожалуйста. Я понимаю, что тебе больно, но больно бывает всем. Ты уже прошёл боль. Ты прошёл ужас. Впереди – пустота. Но если ты и её не боишься, ты выберешься.

– Я не хочу, чтобы ты уходила.

– Дурачок, я ушла десять лет назад. Я умерла, помнишь? Пустота не для меня, твой путь дальше – путь Пересмешника. Я уже не нужна.

– Не бойся, я буду помогать тебе до поры до времени. А ей пора. Она и так слишком здесь задержалась. – Кансер положила руку мне на плечо и пропала.

Лена обняла меня и звучно, как только она умела, чмокнула в губы. В этот момент, готов поклясться, она была совсем как живая.

– Ну, привет! – Лена испарилась, оставив в воздухе едва различимый запах простеньких сладких духов.

И я завис на месте.

Неужели всё повторяется? Снова все уходят, а я остаюсь один. Где-то в моей квартире спят двое, которые невесть как вошли в мою жизнь и не знают, что я опять попал в водоворот, и он утягивает меня на дно, чтобы побить о камни. Вот бы кто-нибудь из них меня разбудил. Дал бы пару оплеух, облил водой, и я бы очнулся посреди ночи. А потом раздался бы звонок...

– Пора заканчивать? – спросил меня голос из-за спины. – Как тебе пустота?

– Отсюда никак не выбраться?

– Конечно, никак. Здесь нет никакого пожарного выхода, это же пустота.

Я задумался. Три правила прохождения тоннеля потеряли смысл. Я не мог двигаться вперёд. Позади меня стоял монстр. Не потому ли эти правила так называются, что я могу их нарушить, пусть даже только раз? Мне надоело бегать, мне больно бегать. Я хочу повернуться и посмотреть, от чего же я бежал.

– Ты можешь отсюда выйти? – спрашиваю я своего закадычного врага.

– Нет. Но я могу заполнить эту пустоту.

– Тогда начинай. – Я повернулся к монстру и остолбенел. На меня смотрела моя точная копия, почему-то одетая в древний, протёршийся на локтях фрак. На голове у двойника красовался большой чёрный цилиндр с порванными в одном месте полями.

И свет погас. Я долго пытался проморгаться, чтобы хоть что-то увидеть, но чернота вокруг была абсолютной. Такой не бывает в природе, но вот она, окутывала меня своим могуществом. Вернулись звуки – где-то совсем рядом ревели машины, но я слышал их как сквозь кисель – такой концентрированной была тьма, и таким слабым, неразумным – мой рассудок.

Щелчок.

Небольшое пламя вырвалось из зажигалки в метре от моего лица. Кто-то закурил. Я поспешно отшатнулся и упёрся спиной в стену.

– Ну, привет, – сказали из темноты. Голос мужской, раньше я его, кажется, не слышал.

– Привет.

– Ты очень долго шёл ко мне.

– Я шёл к тебе?

– Конечно, ведь это я тебя выдумал. Впрочем, мне помогли.

– Ты написал «Луга»?

– Да, их написал я. А ты, стало быть, Пересмешник? Хочешь пива?

Я кивнул, хотя он и не видел. Писатель поставил бутылку на стол прямо передо мной. Я не увидел, но по звуку смог примерно определить её местонахождение, взял пиво в руку и ощутил приятный холод, исходящий от только что вытащенного из холодильника стекла. Сделав пару глотков, я поставил бутылку на место.

– Итак, ты, наконец, добрался. Что дальше?

– А дальше – домой, – сказал моими губами Пересмешник. – Нам предстоит много работы, так что постарайся завтра встать пораньше. Я приду в половине двенадцатого.

Всё исчезло. Растворилась темнота, пропал Писатель, а точнее – голос Писателя, забылся тоннель. Надо мной стояла Геля и не отрываясь смотрела на процесс моего пробуждения. Видимо, я как-то не так спал – у неё было заинтересованное и лишь самую капельку взволнованное лицо.

– Вставай, соня, – сказала она, когда я перестал притворяться, и раскрыл глаза. – Завтрак готов.

Я встал и пошёл в ванную. У меня была назначена встреча, на которую не стоит опаздывать. Пересмешник, серьёзный и озабоченный, где-то внутри меня развлекался тем, что всматривался в вероятности и прокладывал маршрут нашего грядущего похода.

Пересмешник и Писатель

Меня зовут Пересмешник. Никак иначе меня не называют уже несколько лет, а самому себя даже в пространных внутренних монологах как-либо именовать не хочется. Голос во мне посме-

ивается, он-то знает, кто тут настоящий Пересмешник, а кто – лишь большой мясной футляр, вместилище странного существа с птичьим именем.

В уличных акциях Танцующих я – человек без лица, стою за сценой и слежу за порядком, на моей голове – балаклава, чтобы никто не отвлекался от лицезрения прекрасной танцовщицы на моё сосредоточенное лицо с первыми морщинами, легко легшими поверх некогда чистой бледной кожи. Во всём этом совсем нет меня, но сейчас это меня нисколько не беспокоит.

Меня беспокоят двери, и то, что за ними скрывается.

В мире существует великое множество самых разных дверей: некоторые не запираются вообще, в принципе не имея нужного для этого механизма, иные открываются лишь одним ключом, существуют и такие, которые однажды были закрыты навсегда, и нет в мире той силы, что сможет расшевелить эти насквозь проржавевшие петли. Хоть выпиливай из стены, если только стена поддастся.

На самом деле, мы живём в мире дверей. По ним можно легко определить, что за человек укрылся в квартире от всего света, чего он боится, о чём мечтает, и что, вполне возможно, станет причиной его гибели. По множеству еле заметных признаков можно составить клиническую картину: отпечатки ног над порогом, разболтанная ручка, замазанный маркером глазок, всё это словно объясняет нам что-то важное. Хозяин квартиры вряд ли поделится с гостем своими переживаниями, а вот дверь молчать не будет.

Одна моя подруга однажды вошла в закрытую дверь и не вернулась обратно. Просто дотронулась до неё и исчезла. Я осмотрел этот кусок надтреснутого дерева очень тщательно, искал хоть малейшие следы, улики, подтверждающие, что дверь недавно открывали, но всё тщетно – этот немой свидетель решил не давать показаний, чтобы не свидетельствовать против себя самого. И только не умеющая разговаривать грустная старая собака смотрела на меня с соседнего участка как-то подозрительно, будто что-то знала.

Может ли дверь втянуть человека внутрь, даже не открываясь? Получается, может. Страшно подумать, на что был бы похож мир, если бы все двери умели творить такие страшные чудеса по собственному желанию или по прихоти чего-то невидимого, что раскладывает по полочкам все вещицы, составляющие нашу жизнь.

Но однажды мне довелось увидеть дверь, ставшую стеной. До сих пор не могу понять, что меня больше напугало – то что она давным-давно не открывалась, слившись с камнем в одну плоскость, или то что даже если у запертого внутри человека возникнет такое желание, выйти наружу ему будет нелегко.

В высоком доме – два лифта, представьте себе, один из них не работает, у второго явно проблема с сочленениями, он издаёт странные свистящие звуки, напоминающие крики выброшенного на берег кита. Не рискнув пользоваться его услугами, я размеренно поднимаюсь по лестнице, считая про себя замызганные ступени с пятнами мочи, чёрными облачками подгорелой краски, следами грязных подошв, и мне кажется, что я бреду по заросшей звериной тропе, ведшей когда-то на водопой к пересохшему ныне потоку. Громко и гулко бьётся сердце в ушах, а голос в моей голове размеренно и почти весело отсчитывает удары.

– Восемьдесят пять. Восемьдесят шесть. Восемьдесят семь.

– Может, ты уже заткнешься, наконец?

– Зачем? – удивился он, а я почему-то пожал плечами. – Интересно, на каком ударе он откроет дверь.

Но Писатель дверь не откроет. Он годами сидел, замурованный в собственной квартире, и в уголках двери сложилась в некое подобие гороскопа прочная белёсая паутина. Кажется, даже механизм внутри замка замер в статике, как собака на картине, изображающей охоту на лис – готовая к прыжку, но не способная его совершить. Эта дверь стала стеной.

Я долго стою, бесцельно пялясь в стену, соображая, что могу сказать тому, кто уже создал свой главный роман. Потом просто стучу по металлической облицовке и слушаю тишину, ни о чём не думая. Только руки немного подрагивают – так воют слабые нервы, просят сбежать, ретироваться

от греха подальше. Бешено колотится сердце, и голос в моей голове всё-таки замолкает, поняв, что просто не успевает произносить числительные так быстро.

– Кто вы? – вдруг раздаётся голос с той стороны. Как же он подошёл так неслышно, почему я не разобрал шагов в вязкой тишине грязного подъезда? Кажется, что Писатель всё это время сидел прямо рядом с дверью и просто в нужный момент подал голос.

– Это вы написали «Луга»? – оробев, спрашиваю я.

– Да. Но я не даю интервью и автографов.

– Простите, но я вовсе не за тем пришёл.

– Мне не интересно. Извините.

Я лихорадочно соображаю, что же теперь делать. Дома ждут Танцующие, что я им скажу, когда они спросят, куда нам теперь держать путь?

– Да подождите вы! – кричу я немому дверному косяку. – Подождите! Я – Пересмешник.

В ответ – только густая натужна тишина. Проходят минуты.

– С чего вы взяли? – вдруг произносят за стеной. – С чего вы взяли, что вы – Пересмешник?

– Чёрт, – я перехожу на крик. – Да я был там! Я был в тумане. Я видел реку, и траву, и мостик у воды, я мок под тем тоскливым дождём, который длится сотни лет, я смотрел на горбуна, и горбун смотрел на меня. Я видел, как плавно двигалась танцовщица у самой кромки воды.

– Танцовщица? – голос Писателя вдруг теплеет.

– Да. – Стараюсь удержать его внимание. – Худенькая, грациозная, даже красивая. Она танцевала босыми ногами в траве, она защитила меня от голодных теней!

– Кансер. – Я слышу, как у Писателя перехватывает дыхание, и понимаю, что дело сделано – автор величайшего романа нашего времени прислоняется к стене и медленно опускается на пол – я слышу это по характерному шороху. – Я не понимаю. Кто вы?

– В смысле?

– Ну, вообще, в жизни вы кто? Чем занимаетесь?

– Тогда я работал бухгалтером.

– Бухгалтером и всё?

– Да.

Писатель явно разочарован.

– И вы действительно там были?

– Да, был.

– Ничего не понимаю.

Я сажусь прямо на пол, чтобы быть ещё ближе к тому, кто всех нас выдумал, и закуриваю. Писатель молчит, и так же тихо ведёт себя обычно достающий меня своими несвоевременными фразочками голос в моей голове.

– Слушайте, вы не обижайтесь. Я сижу здесь уже много лет, безвылазно, всегда один, и мне даже словом не с кем перемолвиться, хотя иногда, хотите верьте, а хотите – нет, очень хочется. За это время ко мне почти никто не приходил. Была одна. Давняя знакомая. Несколько раз приходили те, кому понравился роман, хотя, судя по их комментариям, они не поняли в нём нихрена. С тех пор я стараюсь не отвечать или отделываться пустыми словами, лишь бы гости ушли. Да и немногим хочется болтать через дверь.

– Я понимаю.

– Действительно? – Пересмешник усмехается у меня в голове.

– Я верю вам. – Писатель словно слышит этот комментарий моего второго Я, и пытается защитить первое от позора. – Вы и правда думаете, что понимаете, но, к сожалению, это не так. Зачем бы нормальному человеку, пусть даже со странностями, прятаться в своей квартире многие годы? Я не знаю, что стало с вами после встречи с.... этим, но даже я, хотя меня едва коснулось дыхание огромной машины на той стороне, вдруг осознал, что мир устроен совсем не так, как нам казалось. Я был словно ребёнок, понявший, что в мире есть смерть, а такое потрясение дважды переживают за свой короткий век единицы. Вы уже думали о том, что сошли с ума?

– О, да!

– Не бойтесь, не сошли. И не надейтесь, что сойдёте. Представьте себе муравья, мимо которого проехала колонна тяжёлой техники. Она вырубит весь лес, оставит одни пни, и среди них муравью придётся как-то выживать, но в данный момент он физически не способен понять, что происходит вокруг, что так неумолимо приближается, проходит мимо, огромное и лишь отбрасывающее на него тень. Муравей, конечно, не понял, не осознал, не смог объять всю картину целиком, но в отличие от насекомого у нас есть некоторые иррациональные чувства и страхи. Я все эти годы сижу здесь взаперти, и меня душат слёзы. По касательной к моей жизни пронеслось нечто такое, что навсегда изменит мир, а я это едва уловил и совсем ничего не понял. У меня была только мечта – дописать роман, и была Кансер, но потом не стало ни её, ни мечты, осталась одна только пустота, которая жрала меня ежедневно и ежеминутно.

– Но кто тогда я?

– А вы – другая деталь паззла. Всё очень просто, и одновременно с этим очень сложно. Мальчик, выдумывающий людей, да?

– Видимо, да.

– Расскажите.

И я рассказываю ему всё. Я говорю, что когда-то давно создал девочку, населил ею тело совершенно постороннего человека, что ей пришлось как-то существовать, раздвоенной, писать мне грустные и путаные письма, что ей, в конце концов, пришлось умереть. Писатель слушает молча, ни единым словом не прерывая мой длинный рассказ. Он сидит в своём мирке и пытается понять чуть больше, чем понимал до этого момента.

– А вы знаете, я ведь с ней общался, – говорит вдруг Писатель, когда я замолкаю.

– Как это?

– Очень просто. Как с вами сейчас, хотя её я всё-таки немного видел. Очень красивая, я думаю. Ваше гениальное творение. Вы можете гордиться, вы – единственный реальный человек в романе. Это она передала вам привет.

– Ничего не понимаю.

– Это нормально. Но какая, право слово, интересная механика!

– Механика, – глухо повторяет голос в моей голове.

– Да-да, механика, – задумчиво шепчет Писатель, его речь становится неразборчивой. – Как же жаль, что я не был там, где были вы. Почему повезло вам, а не мне?

– Не знаю.

– Вот и я не знаю. Но, видимо, так должно быть.

– А что с ней стало потом?

– Вам лучше не знать. Но она мертва. Полностью и навсегда.

Я молчу, не желая говорить ему правду. О том, что она не мертва, она всё ещё тонет в омуте затона, и будет тонуть ещё многие тысячи лет, потому что это я обрёк её на это. Потому что за всё надо платить.

– Вы ведь пришли не просто так?

– Танцующие, – отвечаю я твёрдо. – Им нужна помощь. НАМ нужна ваша помощь.

– Как интересно крутятся шестерни, – пробормотал Писатель. – Как странно всё складывается. Что ж, вы пришли за благословением?

– Что-то в этом роде.

– Я не могу дать вам его. Да оно вам и не нужно. Слушайте. Танцующие на Крышах – это не общество по интересам, не группа людей, осиливших этот чёртов роман, не политическая партия, не организация. Танцующие – это голая интуиция. Они появляются, когда дышать больше попросту нечем. Вам будут говорить, что всё хорошо, а вы беситесь с жиру – и по логике окружающих это так и есть. Над вами будут смеяться, и вас точно никто не захочет понять. Вы никого не переспорите, максимум – уроните зерно сомнения, из которого, при правильном поливе и уходе, может, что-то и вырастет. Но объяснять – не ваша задача, время слов прошло, настало время ме-

ханики, той самой, огромной и непонятной, которую вы когда-то давно видели в тумане и до сих пор вспоминаете, стоит закрыть глаза.

– Всё ещё не понимаю.

– Да и не надо! Не нужно понимать! Вы просто те, кто на шажок ближе – вы не поняли, но почувствовали, что что-то меняется. Помните, колет пальцы, так всегда.... У вас закололо пальцы. Объяснить это иначе я не могу.

У меня ноет спина. Я пришёл за советом, а на меня обрушилась тонна неопознанного груза.

– Пересмешник, – позвал Писатель.

– Да?

– Вы боитесь? Я вас прекрасно понимаю. Надвигается такое, что мы с вами, скорее всего, не переживём. Идёт страшное нечто, не имеющее названия. И всё же, помните, шестерни можно остановить, пусть даже собственным телом. Что нам терять, в конце концов? Мой роман писали трое – Я, Кансер и немного ваша подруга. И всё это – лишь подготовка плацдарма для вашего появления. Двоих из нас уже нет, а то, что осталось от меня – лишь ошмёток, который вряд ли сможет быть особо полезным в вашем деле. Теперь очередь ваша, начинается ваша игра, в которой нет ни правил, ни главного приза. Ничему не удивляйтесь, но готовьтесь к тому, что впереди – бездна, которая уже вперила в нас своё око и ждёт, когда мы встретимся с нею взглядами.

– Он прав, – вдруг сказал мой внутренний голос. – И это очень плохо!

– Ты когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным?

Голос в моём черепе лишь усмехнулся.

– Знаешь, почему Конец Света называется Концом? Его никто не может пережить. Так что нет, я не сталкивался. И никто не сталкивался, мы будем первыми и последними.

– Приходите ещё, я точно буду здесь, – говорит Писатель на прощание. У меня появляется ощущение, что он – фактически мой ровесник, – общается со мной не официально. Он общается со мной как с двумя людьми.

– Приду.

Пересмешник покидает дом, в котором дверь стала стеной.

Секреты амбарной книги. Ч. 2

Ангелина Петровна снова сидит в кресле и держит в руках свою амбарную книгу о Танцующих на Крышах. В комнате – полумрак, в котором загадочными и даже немного пугающими кажутся уже не только зеркала, но и простые диван, стол, стулья – их поплывшие очертания вызывают полуночную тревогу. Но женщина спокойна: на ручке кресла покоится бокал с непривычным для здешних мест бренди, из него отпито грамм 40, а за головой притаилась небольшая лампа для чтения – подарок одарённой младшей дочурки своей старой мамочке на какой-то юбилей. В общем, весьма уютно.

Старушка вся в воспоминаниях, сегодня она перелистывает страницы с газетными вырезками – уникальные свидетельства её былой славы, написанные чаще всего в сдержанно осуждающих тонах, но не без восторга перед масштабами, которые приобрели Танцующие к середине двадцатых. И это неспроста – ведь тогда вышел из своего многолетнего заточения Писатель, их небольшое общество выросло аж до семи человек, а слава была столь велика, что поклонники успешно организовывались в самостоятельные группы по всему миру.

Сейчас перед Ангелиной Петровной лежат вырезки из газет середины двадцатых – восторженные отзывы, изобилующие выражениями «безнравственно», «упадок» и другими им подобными – отличная попытка укусить облако на небе беззубыми ртами. Журналисты не скупились на помои, причём встречали каждую акцию Танцующих в штыки, а им только того и было надо – редко какая большая газета хоть раз в неделю не оповещала общественность об очередной «вопиющей» проделке Гели и её друзей в масках, скрывающих их лица. Так маленькая группка на глазах становилась заметным явлением.

И только Геля знала, чего стоило Пересмешнику вызволить автора великого романа из плена собственной квартиры. Он несколько лет постоянно ходил в гости к литератору, сидел под его дверью, слушал и говорил, словно видел собеседника сквозь толстый металлический лист. В такие дни, вечером, когда Цех погружался в приятную дрёму, когда работал на полную катушку их импровизированный камин, сделанный из нескольких бочек из-под мазута, а за окнами выла метель или, что чаще, строчил телеграммы холодный осенний дождь, Пересмешник пересказывал Танцующим, что говорил ему тот, кто всех их выдумал.

Это был своего рода ритуал, все члены группы ждали его возвращения с трепетом, откладывали все свои дела. Боря, вечно погружённый в свои литературные изыскания, покидал пост у стола, Геля заваривала горячий напиток из какао-бобов и усаживалась прямо на пол, на небольшой ковёр для посиделок. Часы, проведённые ими в таком положении, являются самым счастливым воспоминанием, которое и теперь вызывает у Ангелины Петровны слёзы. Вот бы ещё раз оказаться там, пережить всё это, снова уткнуться в плечо Пересмешнику и слушать, как из его уст льются рассказы о том, как устроен мир, о том, что Писатель говорил об их последней акции, о том, как тот восторгался их маленькой коммуной, и как хотел бы, если бы мог выйти из собственной квартиры, присоединиться к ним. Словно у Гели снова был любящий и волнующийся за неё отец, который, хоть и далеко, но всё равно следит за всем, переживает, передаёт письма.

Этот уютный маленький мир. Они улеглись на дно, контактировали с внешним миром только посредством акций, а потом снова забирались в Цех, как в норку, и общались, общались, общались бесконечно много. Нет в мире большего удовольствия, чем говорить, и быть услышанным, и быть понятым. И когда ты начинаешь предложение, а кто-то подхватывает его на лету, как ловили стрелу голыми руками предки, ты чувствуешь, что всё не зря, что ты там, где должен быть. Так Геля впервые постигла настоящее счастье. Действительно, Писатель помог им почувствовать себя семьёй, пусть даже сам был далеко и следил за всем со своего заброшенного поста.

Между тем чем ближе Ангелина Петровна подходит в своих воспоминаниях к моменту явления Писателя, тем больше появляется вырезок, не связанных с нею напрямую. Много внимания тогда уделяли Бориным книгам, рассказам в лакированных журналах, небольшим эссе, которые он строчил со скоростью профессиональной машинистки. Дорвавшись до понимания того, как ложатся слова на бумагу и как потом они считываются их неизвестными поклонниками, молодой философ готов был сутки тратить на подготовку новых материалов. Это наполнило его жизнь новым смыслом, и теперь уже Танцующие могли атаковать Колосс общества со всех сторон, а не только с помощью танца и Гелиного тела.

Удивительным пополнением их маленького общества стали Сестрички.

У девчонок не было имён, они были просто Старшей и Младшей, причём если Старшая была в меру скромной, аккуратной, всегда со вкусом одетой черноволосой девушкой, то Младшая была настоящим ураганом в чудовищных юбках самых диких расцветок, с вечным хаосом на голове и, конечно, в голове. Её запястья были покрыты шрамами, хотя она никогда и не думала о самоубийстве – ей просто нравились такие украшения, и она не могла остановиться, нанося их снова и снова, как только заживали и почти пропадали предыдущие.

На первый взгляд, Старшая была адекватной, но всё менялось, когда они принимались за работу. Из обеих Сестричек в мир, посредством их рисунков, выходило что-то такое, что невозможно представить и тем более увидеть. Жестокость, тоска, безысходность, целый больной и действительно мрачный мир их фантазий, кошмаров и фобий.

Страхи бесстрашного человека – это настоящее испытание для психики. А Сестрички были бесстрашны, как никто – это, наверное, и привело к печальной развязке. Но сейчас не время для этого, развязка наступит позже.

В середине двадцатых Танцующие везде и повсюду. Им пишут письма со всех уголков огромной заснеженной страны, где-то пытаются повторить их акции, пристраиваются под знамёна, не до конца понимая сути, не всегда в соответствии с эстетикой Гелиного танца. Но это уже и не важно.

Волна пошла.

Волна вынесла их на райский остров, который предстояло отбить у кровожадных аборигенов.

А потом к ним присоединился Дима – художник, любитель кислотных граффити и, наверное, последний уличный романтик. Дима по совместительству является и отцом старшей дочери Ангелины Петровны – так уж получилось, что в определённый момент они оказались в одной кровати. Но это, в общем-то, неважно. Институт семьи всегда интересовал Гелю постольку поскольку, а теперь не интересует вовсе – она принимала участие в акции под названием замужество, и если бы ей даже предложили, повторять этот опыт она не стала бы. Её сценой была улица, кухня – в широком смысле – никогда, хотя готовить на всю коммуну она очень любила.

Кстати, именно Геля принимала Диму в Танцующих. Было это так.

– Привет! – Сказал Дима и улыбнулся. Геле он сразу же показался очень милым, но немного поверхностным парнем.

– Привет. Садись. – Она указала на стул и слегка приложилась к бокалу белого полусладкого, у которого в этом странном кафе даже не было никакого названия.

– Я так понимаю, мне надо что-то рассказать о себе? – уточнил он, сев. Присутствовать на интервью, тем более на таких, ему раньше явно не доводилось.

– Да, что-то рассказать, наверное, придётся.

– Что именно?

– А что угодно. – Геля расплылась в наигранной улыбке, так как её сейчас занимали совсем другие мысли.

– Ну, хорошо. Только что я шёл следом за одной парочкой от самого метро. Они, кажется, тоже зашли сюда.

Он помолчал, внимательно изучая бездарно оформленное меню. У него были длинные спутанные волосы, горящие рыжим пламенем, и несколько измождённое лицо с карими глазами. В глазах плясали огоньки.

– Парень на голову выше, худощавый, как я. Несколько раз оборачивался, словно невзначай, знаешь, так бывает, когда нужно сделать вид, что ищешь глазами что-то или кого-то знакомого.

Геля кивнула.

– Это ведь не любопытство, понимаешь? – Дима пару раз легонько сжал зубы. – Это рефлекс защитника. Никак эта зараза не сотрётся из нашего генетического кода.

– Думаешь, это природное? – уточнила Геля.

– А то как же! – Костя прыснул. – Конечно, природное. Причём самое что ни на есть дремучее. Я практически вижу, как макака-мужчина лапами роется в шерсти своей подружки, тоже макаки, конечно, а глазками зыркает направо и налево, определяя потенциальных соперников. Но скажи мне, разве с моей комплекцией выискивать соперников? А у этого парня, ещё раз повторяю, телосложение в точности как у меня. Предположим, он увидит угрозу. Что он будет делать? Да ничего. Нихрена он сделать не сможет. Разве что под каким-нибудь предлогом изменит направление движения. Скажет, что давно хотел что-то там посмотреть, пройти по другой дороге.

– Вероятно, ты прав, – неуверенно отозвалась Геля. Она уже забыла, что мужчины иногда ведут себя как идиоты.

– У девушки была отличная фигура. А лицо парня мне совсем не понравилось. Да и слова, которые до меня долетали сквозь отвратный гул отбойного молотка, показались совсем уж глупыми и напыщенными. Это что же получается, я ревную девчонку, лица которой даже не вижу, к незнакомому парню? Интересно, а если бы она оказалась уродиной, я бы успокоился?

– А ты сам как думаешь?

– Понятия не имею. В общем, недалеко отсюда я их обогнал.

– Лицо не рассмотрел?

– Нет. Наоборот, специально отводил взгляд, чтобы только не разглядеть. В итоге в памяти остался только её затылок.

– И фигура?

– И фигура. – Он одобрительно кивнул и заказал мороженое с фисташками и клубничным сиропом.

– У тебя интересный подход к женщинам.

– Я тебе больше скажу. – Он дотронулся до вилки и ножа, что лежали слева от него, как будто проверял, настоящие ли они. Не нарисованы ли. – Ко всем девчонкам, которые мне нравятся, я отношусь так: просто издалека смотрю и фиксирую свои ощущения. Я чувствую возбуждение, сексуальный интерес, но ни одна не вызывает у меня приступа радости. Хотелось бы, знаешь, радоваться самому тому факту, что я их вижу, нахожусь с ними рядом, разговариваю, а не получается. Я, конечно, привык списывать это на их изъяны, но правда в том, что логичнее поискать изъян внутри себя самого, благо пространства для поисков хоть отбавляй.

Геля кивнула и вновь принялась за вино. Эта история была ей отчасти знакома.

– Я думаю обо всём и сразу. В какой-то момент я вдруг понял, что сознание расслоилось. И каждый слой практически не вступает в контакт с другими. Даже послов не отправляет, хотя, чёрт побери, иногда было бы полезно прийти к какому-то общему знаменателю. Вот так думаешь о десятке вещей одновременно, в какой-то момент тебе вдруг кажется, что ты – Бог, что ты всесилен. Что вышел на какой-то новый уровень, не доступный остальным людям. А потом, когда мозг уже перегружен, приходит головная боль. Когда я читал «Луга», голова у меня просто трещала, и отвлечься на что-то стороннее не получалось до тех самых пор, пока я не дочитал последнюю страницу и не закрыл книгу.

– У тебя частые головные боли?

– Нет. Пару раз за год накрывает. Только не говори мне, что я вам не подхожу из-за того, что у меня мигрени.

– Нет, не скажу. Это мелочи. Впрочем, я знаю одного человека, который способен думать одновременно о десятках, если не сотнях вещей, и у него никогда не болит голова. Пойдём, я тебя с ним познакомлю.

– Это значит, что я принят? – поинтересовался Дима.

– Конечно. Как иначе? – Геля одним махом опустошила бокал.

Первый бал Танцующих на Крышах

Мы уходили. Я и Пересмешник. Мы уходили под утро к другим солнцам, другим лесам, к другим травам на полях. Мы просчитывали вероятности и с удовольствием наблюдали за точностью предсказаний. Пересмешник тащился сквозь века, сквозь податливое время и зыбкое пространство, чтобы осесть в моей голове, ступать вместе со мной по прелой земле, обонять, видеть и слышать, трогать и говорить. Правда, говорил он всегда немного, скупо цедя слова и мысли, но всегда по делу, не отвлекаясь на какие-то мелочи, с которых началось наше с ним общение.

Он был ехиден, как любой пожилой интеллектуал, и столь же раним. Он и был сплошной открытой раной. Человек-константа, он, наверное, полагал, что состоит из загадок, но я, в свою очередь, втайне исследовал его разум, всё больше понимая в хитросплетениях его удивительной, нечеловеческой логики.

Незаметно, но ни от кого не скрываясь, мы входим в Цитадель, проходим её насквозь к дальнему бару. Заказываем виски. Я – в нелепой птичьей маске, он – в моей нелепой голове. Нас двое здесь, в этом стареющем теле, и пара сотен в ангаре, миллиарды в этом обречённом мире. Пересмешник пьёт моими губами, обжигает мой пищевод. Отгадывает загадки – кто есть кто и зачем сюда пришёл, почему выбрал именно такую маску. Его суждения безошибочны.

– Ничего не надо прощать, – размышляет Пересмешник, смотря как Геля в платье Дюймовочки выкручивает пируэты с нашим новым художником Димой. – Потому что никому не нужно прощение.

Я улыбаюсь про себя, в лицо второму. Эту истину я усвоил давно. Просто каждый – прав.

Вокруг нас – свет и звук. Вечеринка, бомонд, постаревшие художники некогда громогласного андеграунда, элита, попавшая в опалу. Никто не знает, кто мы такие, и всем плевать. Оркестр струнных выплёвывает авангардный джаз, и даже музыканты одеты в костюмы, на лицах их красуются странные маски из комедии дель арте. Возникает ощущение, что мы оказались на бале теней.

– Тебе хорошо размышлять об этом, – иронизирует Пересмешник. – А я бывал на таких балах. Мало приятного. Один раз я его даже устраивал. Может, расскажу тебе когда-нибудь.

Здесь все – тени. За окнами Цитадели – мрак, два заводских фонаря освещают площадку перед входом, а больше света нет, есть только лучи прожекторов изнутри. Таков мир на пороге Конца света – буранный полустанок, с парой ничего не освещающих фонарей. Когда-нибудь здесь останется только ветер, и нам придётся ютиться с ним в пустоте вдвоём.

– Втроём, – поправляет Пересмешник. – Этот вечер принесёт массу сюрпризов. Ты готов?

К нам подходит женщина. На ней маска белой обезьяны, не страшная, но слишком уж бутафорская, словно она натянула её в последний момент, прямо перед входом в Цитадель.

Я знаю, кто это. Писатель много рассказал про Карину – прекрасную, холодную и опасную девушку из своего прошлого.

Опасная женщина Карина в танце – тихая и покладистая, играет в островитянку, открывшую для себя электронную почту и онлайн-порно. Но нас двоих, меня и Пересмешника в моей голове, не проведёшь – мы уже знаем всё, что она может сказать и сделать. Не знаем только, в какой последовательности и в какой форме она это будет произносить.

На ощупь она округлая и мягкая, внутри этой нежной плоти скрывается стальной каркас, а за случайными вроде жестами – холодный расчёт.

Как и говорил Писатель, Карина всё ещё очень красива, хотя откуда ему знать, добровольно запертому в келью. Она сразу же сокращает расстояние между нами до миллиметра, без спросу врывается в зону комфорта, и вот уже её грудь уверенно упирается в мой живот, а руки оседают на моих плечах.

У неё бархатный, сладкий голос.

– Пересмешник, – зовёт она.

– Да? – подтверждаем мы.

– Вы боитесь?

– Нет.

Она умолкает, удовлетворённая ответом, и мы продолжаем кружиться по залу, срастаясь телами и сознаниями настолько, насколько это возможно. Музыка замедляется, превращается в одну тягучую, заунывную ноту. Входя в транс и ежеминутно из него вываливаясь, я чувствую себя мальчишкой, оседлавшим качели ранней весной: проржавевшие, с разбухшей от талого снега доской, они постоянно с силой подбрасывают меня наверх и тяжело, надсадно опускают вниз, рисуя график электрокардиограммы.

Мир уплотняется, наполняется смыслами и образами настолько, что моё сознание не успевает реагировать, но во мне сидит Пересмешник, он видит и запоминает всё. Если вдруг что-то понадобится, я всегда смогу спросить у него, и он вывалит мне гору фактов, опишет всю картину, подобьёт выводы, чтобы дать максимально объективную картину окружающей нас действительности. Этому существу внутри меня чужды эмоции, хотя он их, возможно, и ощущает. Я уверен, что Пересмешник умеет чувствовать, просто эта сфера его личности подавлена, смещена, словно с каждой сменой тела он всё больше и больше отдаляет от себя всё эмоциональное, наносное, постепенно превращаясь в чистый разум. Понять его мне уже не под силу.

– Откуда она пришла? – беззвучно спрашиваю я, проверяя его способности.

– С чужих звёзд, – смеётся он. – А если конкретнее, она стояла возле общего бара в тот момент, как мы вошли. Выждала какое-то время и подошла сквозь центр зала, проделав в рядах танцующих нехилую брешь.

Я доволен. Пусть Пересмешника сложно держать в узде, но его разум – самое ценное приобретение за всю мою жизнь, и пользы от него пока куда больше, чем вреда.

Но в эту минуту меня интересует другой вопрос. Что будет, если он решит взять надо мной верх? Его сил вполне хватит, чтобы полностью уничтожить мою личность, подчинить меня своей воли. Я уже – Пересмешник, а не я сам. Что если ему надоест возиться с малышнёй вроде моего сознания?

– Не переживай. – Пересмешник серьёзен. – Мне не нужна твоя личность. И твоё тело. Я там, где должен быть, и нам с тобой по пути. Ты ещё не понял? Я не захватчик, я не паразит, я вторая твоя часть. Ты выдумываешь людей, я произвожу расчёты. Кто тебе вообще сказал, что Пересмешник – это одно сознание?

– То, что вы не боитесь, это очень хорошо, – говорит Карина, осознавая, что мы беседуем и совсем забыли о ней. – А он боялся.

– Писатель?

– Да. Мой старый друг и любовник. Он ведь рассказывал вам обо мне?

– Да, немного.

– Хорошо. Не хочу, чтобы вы знали всё. Как он там?

Мы задумались. Понятно, что она хочет услышать. Но дело даже не в том, просто Карина многое понимает. Очень многое.

– Не бойтесь, – говорит она. – Я действительно понимаю больше, чем кажется. Именно я настояла на второй и третьей публикации романа – издательство сомневалось, пришлось потянуть за некоторые рычаги. Это было моей миссией. Но я спрашиваю вовсе не об этом. Расскажите мне о нём самом. Что с ним? Как он?

– Ему тяжело. Тяжелее, чем кому бы то ни было. Он один. Замурован в собственной квартире, почти не спит.

– Да, ему тяжелее, чем вам. Но ваш путь длиннее. Он сделал всё, что должен был сделать, а вам ещё только предстоит.

– Мы родились из его романа, – говорю я. – Мы, в общем-то, и есть его роман.

Карина смотрит, пытаясь понять, сколько нас здесь. В этой голове и в этих глазах. Она всё-таки чертовски умна, в её красивых зрачках отражаются оба – два наших сознания, спрятанные в один череп, закованные в птичью маску, оцепленные оборонительными стенами, баррикадами, рвами с водой и кислотой. К нам не подступиться, но она легко вскрывает слой за слоем.

– Вы ещё не готовы к бою, Пересмешник. Если даже я смогла заставить вас вспотеть. – Она смеётся, но мы действительно нервничаем, потому что она докапывается до всего, практически не встречая отпора. – Как вы молоды. Писатель всегда был маленьким старичком: всё видел, всё понимал. Он пугал меня тем, что видел насквозь. А вы, вы смотрите в упор, и пытаетесь понять, что ей известно, откуда, насколько хорошо она понимает ситуацию. Я ведь первой прочитала роман. Сняла его с печатной ленты, прочитала за сутки, потом ещё пару раз, чтобы разобраться в том, ради чего он открестился от меня, от всей своей жизни. И знаете что, Пересмешник? Я немного поняла, в чём там соль. Мне стало не так обидно за то, что Писатель меня бросил. Он создал шедевр, масштабы которого неизмеримо больше того пространства, которое я могла бы занять в его жизни.

Пересмешник не спешит делиться мнением о Карине. Более того, я чувствую, что она ему нравится – прекрасная хищная женщина, так сильно зависевшая и так сильно пострадавшая от неосознанных действий нашего создателя. Я чувствую, что мой друг в нерешительности, ему знакомы такие люди, и он сам сталкивался с ними. Возможно, мне всё-таки придётся выслушать как-нибудь его историю, чтобы понять, в чём причина его этой затянувшейся паузы. Пока же приходится брать управление на себя.

– Карина, – говорю я. – Мы действительно не готовы к бою. Но завтра я пойду к Писателю и расскажу ему о том, что танцевал с вами.

– О, это прелестно! – смеётся Карина и прижимается ко мне ещё сильнее, чем раньше. Пере-

смешник всё ещё молчит. – Передайте ему, что я всё так же хороша и горяча. А впрочем, ничего не передавайте. Он выйдет. Скоро. И ко мне, конечно, не вернётся – нельзя склеить то, что развалилось давным-давно. И всё же, я любила его, Пересмешник, и, конечно, люблю до сих пор. Я думаю, что с сегодняшнего дня и до самого конца мы будем близки. На расстоянии, но близки. И я сделаю всё, чтобы роман оказался не просто великим, этого он добился без меня, но и стал пророческим. Считайте это благословением старой любовницы вашего создателя.

– Эй. – Пересмешник возвращает себе контроль, и я чувствую, как мой голос несколько преображается. Судя по тому, как посмотрела на меня Карина, она тоже это поняла. – Писатель скоро выйдет. И вы с ним не встретитесь. Мне очень жаль. Но поймите одну вещь. Он пуст – совершенно пуст и не способен на жизнь. Он будет играть роль живого человека, приближая, по мере возможности, то, что всех нас ждёт. Чему нет названия ни в одном языке мира, как народы ни пытались его придумать. Такова жизнь. Но когда-нибудь все мы встретимся – за стеной белого плотного тумана, где уже ничто не помешает. Там не будет зла, не будет ревности, не будет собственничества и дурацких игр, в которые мы играем в паре, в коллективе, в человечестве. Мы все будем вместе.

– Знаю. – Карина понимающе кивает. Аудиенция подходит к концу. – Не хотите пойти покурить?

Мы выходим во двор, под слепящий фонарь, что едва освещает эту непроглядную мглу вокруг Цитадели. Карина снимает маску и игриво прикуривает от нашей сигареты. Маска взлохматила ей волосы, но она всё равно потрясающе красива, и сейчас я понимаю, сколь тяжело было Писателю отказаться от жизни с ней ради нелюбимого дитя – его тяжёлого и страшного романа.

– Нравится? – интересуется она.

– Очень. – Мы отвечаем вдвоём, не сомневаясь ни секунды. Действительно, как она может не нравиться?

– Послушайте, Пересмешник. Вам сейчас все дают советы, не сочтите за неуважение, я тоже хочу дать вам один. Может, он вам и не пригодится, но просто выслушайте меня. Я знаю, вы не выкинете это из памяти.

– Не выкинем, вы правы.

– Как мило. Так вот, совет мой довольно прост. Не давайте апатии захватить вас. Я знаю, вы сильны как чёрт, но в силе – всегда слабость. А в слабости иногда – сила, уж поверьте старой опытной женщине.

– Ну, со старостью вы промахнулись.

– Этот мир слишком стар, так что и мы с вами, хотите вы того или нет, уже давно старики. Впрочем, вы, как говорят, константа, возможно вы этого не ощущаете.

Мы ощущаем. Не знаю, понимает ли Пересмешник значение слова «стареть», но я уже давно чувствую, что вовсе не взрослею, а прохожу какой-то другой путь, словно иду знакомыми улочками задом наперёд.

Мы докуриваем сигареты.

– Ну что ж, Пересмешник. Нам пора. Вечер в разгаре, нужно ещё много с кем поговорить, много с кем потанцевать. Нужно сделать очень многое, а вечер не бесконечен. Да и вам уже пора. У вас тоже найдётся пара дел в Цитадели.

Карина улыбается и уходит, немного покачиваясь. Может, от выпитого вина, а может от того, что только что общалась с детьми её старого любовника, друга и учителя. Мы провожаем её долгим грустным взглядом – именно так это можно было бы описать со стороны. Впрочем, тут больше никого нет, и описывать некому.

Мы возвращаемся в зал. Геля танцует с Димой, и их тела очень близки, ближе, чем у остальных танцующих. Мне почему-то становится грустно, но Пересмешник в моей голове одёргивает меня, требует сосредоточенности. Он хочет, чтобы я избавился от лишних эмоций, особенно негативных, и я подчиняюсь.

Скоро на свободу из своего добровольного заточения выйдет Писатель. И тогда всё изменится.

Остановка дыхания

Река была точно такой же, как много лет назад. Она текла с тем же звуком, в том же направлении, цвет воды был таким же, как раньше, и те же самые липы возвышались над её берегами. Открыли шлюзы, и она разлилась чуть шире – погребла под своей водной гладью стол со скамейкой, на которой я пил пиво десять лет назад, когда всё только начиналось. Но в остальном это была всё та же заросшая и могучая силища, уходящая куда-то за горизонт в попытке прорваться сквозь тонкую пелену между мирами.

Писатель молчал и смотрел на поток, остолбенев от близости к источнику всего. Мне тоже нечего было сказать. Кроме белого шума, исходящего от реки, в мире не было других звуков, разве что Сестрички, стоящие в нескольких метрах от нас, иногда странно вздыхали, словно у них затекли их удивительно красивые ноги. Не думаю, что они понимали, что происходит, скорее просто всё принимали, как должное.

Увеченные саморезами, лысые по осени липы замерли, им и шуршать-то было нечем – голые сухие ветви. Но под ними всё равно не так сильно ощущалась мерзкая дождливая морось, сопровождающая день, когда Писатель вышел в свет.

– Тонкая грань между мирами надрывается легко, – сказал Пересмешник моими губами. – Легче, чем можно представить. Ты идешь по тёмному переулку и не всматриваешься в бреши между домами, хоть годами возвращаешься домой одним маршрутом. Но если повернёшь голову и приглядишься, то вот он – совсем другой мир, спрятанный от тебя на расстоянии вытянутой руки. Мир, где ты ещё никогда не был.

Писатель продолжил молча смотреть на реку и лишь слегка кивнул, соглашаясь. Сестрички за нашими спинами обменялись какими-то фразами, но шёпотом, так, чтобы мы не услышали.

– Если предположить, что пространство и время – только случайная аккумуляция чего бы то ни было, получится, что в мире не существует никакой стройной системы, – сказал наконец Писатель.

– Она нужна? – шёпотом спросила Младшая. Её волосы спутались, как шерсть щенка, что только что вылез из ванны.

– Зачем? – как обычно вторила сестре Старшая.

– Система порождает надёжность, – ответил я. – Предположим, человек смертен. В этом краеугольный камень его существования. Ожидание конца заставляет его жить, но оно же и сковывает его движения, как свитер на пару размеров меньше.

– Страх смерти мешает тебе видеть всю картину. Так говорила Кансер, – пробормотал Писатель.

Мимо пролетел фантик от сникерса. Я инстинктивно взмахнул рукой, останавливая его в полёте. Сдвинул его в пространстве, повертел, осмотрел со всех сторон, любуясь изгибами цветастой упаковки, её сложной формой и отсутствием содержания. Писатель недовольно поёжился, и фантик обречённо и словно потяжелев рухнул к моим ногам.

– Детские игры – отказ от страха смерти. Прошу заметить, добровольный отказ, – сказал он. – Но это вовсе не значит, что нам сейчас так уж нужно им предаваться.

Я согласно кивнул. Сестрички замерли, видимо, переживая за судьбу фантика.

В этот момент мы могли почти всё. Сквозь нас в мир вторгалась совершенно чуждая ему сила, и даже Пересмешник во мне начинал опасаться за то, что мы не сможем её контролировать. Не будет ли каких-нибудь последствий? Впрочем, он просчитывал куда больше вероятностей, чем мне доступно хотя бы осознать, так что его напряжённое молчание не следовало трактовать как опасение – скорее, неудовольствие.

Моросило. С неба капало настолько противно, что тоска проникала в подкорку, да так там и оставалась, не давая свыкнуться с реальностью, взывая к себе из глубин подсознания. Она легко завладела мною, Писателем, Пересмешником в моей голове. Человек-калькулятор умолк окончательно, закуклился и наблюдал за моими действиями не без интереса, но и без активного в них

участия. Даже Сестрички приуныли, сейчас они выглядели совсем как старшеклассницы, переживающие очередной подростковый кризис.

– Дожди над рекой, – сказала Младшая и поёжилась.

– Что? – Мы с Писателем как по команде обернулись.

– А что? – удивилась Старшая. – Дожди над рекой. Капли падают в воду. В этом есть что-то противоестественное и грустное.

– Был такой абсурдный случай: стрелочника задавило трамваем. Я почему-то запомнил день, хотя в новостях в те времена было много подобных случаев. Это был день после ночи Семиглава, если вы понимаете, о чём я.

– Тогда умерла Лена, – отозвался я. Пересмешник достал из памяти несколько эпизодов и услужливо подкинул мне. – На следующий день после ночи Звездопада она разбилась на машине. Ехала на встречу со мной.

– Вон как оно закрутилось, – вздохнул Писатель и пожал плечами. – В тот день я впервые увидел Кансер.

– Ночь Семиглава? – переспросила Старшая.

– Звездопад? – заинтересовалась Младшая.

– В тех местах, откуда родом мой отец, существует старое поверие, что в ночь Семиглава, или Звездопада из семи звёзд, наш мир соприкасается с другим, таинственным и страшным. И что это соприкосновение опасно для живых.

Мы с Писателем замолчали. Я думал о том, откуда он вообще знает о Семиглаве.

Из оцепенения нас вывели Сестрички. Старшая взяла меня за руку, Младшая же повисла на Писателе, в котором души не чаяла. Она всматривалась в его лицо восторженными глазами и только повторяла про себя какое-то слово, которое мы не могли расслышать. Что-то вроде слова «аквариум». У меня всё чаще возникало ощущение, что Сестрички знают больше, чем понимают. Возможно, они даже знали больше нашего.

– Я не Лена, – шепнула мне на ухо Старшая, хотя это не требовало доказательств. – Но сегодня с тобой буду я. Мне найдётся место в твоей голове?

– Думаю, найдётся. Ещё чуть-чуть осталось. – Не говорить же ей, что в мозгу моём много брешей, и в них только ветер поёт грустные речные песни.

Мы побрели к станции, потягивая пиво из стеклянных бесцветных бутылок.

В моей голове найдётся место всем. Запасы памяти в ней безграничны. Там вольготно разместился целый Пересмешник, а я и не ощутил, что мне стало не хватать места на жёстком диске. Даже не представляю, что ещё можно было бы туда уместить, если бы возникла такая необходимость. Но Сестрички об этом, конечно, знать не могли.

– Предположим, что всё это скоро кончится. Расы, народы, семьи, пол и возраст, всё перестанет играть роль, – сказал Писатель, когда мы сидели в электричке. Старшая свернулась калачиком на сиденье, положив голову мне на колени, а Младшая увлечённо смотрела в окно, теребя руку Писателя в своих руках. На проносящихся мимо нас заборах были нацарапаны бесхитростные граффити, Сестрички смотрели на них с неодобрением, как на бездарное использование такого специфичного и такого удачно расположенного холста.

Мы чокнулись пивными бутылками. Несмотря на шум, звон получился очень громким и каким-то бравурным.

– Продолжим, – поддакнул я. Пиво приятно горчило, как горчит всё запретное, что нам удаётся попробовать до совершеннолетия.

– Так вот. Миру не свойственная пустота. Место религии всегда занимает идеология, место национальной идентичности – классовая принадлежность, место детства в каком-то смысле занимает юность, а её вытесняет зрелость и так далее. Согласен?

Я взглянул в окно, за которым с огромной скоростью проносились тоскливые подмосковные пейзажи. Что-то там, какая-то часть мигающей картинки подсказала мне ответ. Я кивнул. Согласен.

– В таком случае, не совсем верно рассматривать Танцующих как инструмент разрушения, ведь эту нишу прочно застолбили за собой история и культура. Разрушать мы всегда умели очень хорошо. Вы сделали очень много для того, чтобы разрушить, но споткнулись о тот момент, когда пора было переходить к строительству. Когда надо было идти дальше, а не устраивать базаровский уход. Создавать. Если хочешь, склеивать.

Девчонки навострили ушки.

– Что склеивать? – спросила Младшая.

– Что-то треснуло? – вторила Старшая, всматриваясь мне в лицо. Её движения были совсем детскими, это не мог скрыть ни яркий макияж, ни даже контраст с Младшей, которая вообще не собиралась взрослеть.

– Ничто не треснуло, – сказал я Старшей и поцеловал в коричневые от помады губы. – Склеить нужно то, что до этого не было частями единого целого. А это задачка не из лёгких. Вот когда есть подходящие пазы, или хотя бы удобные плоскости – тогда да, проще простого. А тут непонятно, с какой стороны к этому вообще подойти.

– Сложно. И опасно, да? – спросила Младшая.

– Опасно... – Я не дал Старшей договорить фразу до конца. Наверное, минуту мы провели в процессе обмена слюной, но стоило мне только оторваться от её губ, как она закончила предложение, словно не могла себе позволить не договорить свою реплику: – Может быть опасно?

В глазах у неё заиграли в салки искры, и мне вспомнился костёр посреди залитого дождём луга.

– Очень опасно. И очень интересно, – подал голос до этого игнорировавший нас Писатель. Я заметил, как Младшая сильнее сжала его руку.

Лица сестричек как по команде разгладились, на них отразилось смирение и готовность на всё. Писатель и Пересмешник пообещали им опасность. Кажется, для них это было лучшим подарком.

Дальнейшую дорогу до вокзала мы проделали в тишине. Только Старшая иногда приподнималась, чтобы ещё раз оставить отпечатки своих губ на моём лице, да Писатель иногда передвигал Младшую, которая так и норовила отдавить ему руку. Впрочем, никакого неудовольствия не было написано на его лице, присутствие девушки ему нравилось.

Потом, когда электричка доставила нас в столицу, когда мы на протяжении целого часа тряслись в переполненном вагоне метро, а потом пёрлись по улице под проливным дождём, я начал думать о Пересмешнике и той истории, которую он хотел мне рассказать. Нужно ли мне знать подробности?

Мой внутренний голос никак не комментировал эти мысли и ответа на вопрос давать не стал. Его молчание можно было понимать как угодно.

Рука Старшей была холодной, как ледышка, девушка замёрзла, но бодрилась, периодически взмахивая мокрой шевелюрой, и изучала содержимое карманов свободной рукой, словно там могло лежать что-то, что было ей сейчас жизненно необходимо. Она вообще была очень неумелой во всех ситуациях, кроме тех, где могли пригодиться её таланты. Тем более в тот момент, когда вместо сумасшедшей фурии, какими они были с сестрой на самом деле, нужна была другая, мягкая и спокойная девушка.

Сестрички были особыми существами – бесстрашными и психически неуравновешенными. То, что они делали в данный момент, было подвигом: обычно бесплотные, нездешние, сейчас они стремились оказаться рядом с нами, чтобы показать свою близость, своё понимание ситуации. Смиряя ярость и мрачность, создательницы самых страшных на свете рисунков промокли и выглядели так грустно, так по-детски, что их хотелось прижать к себе и больше никогда не отпускать.

Просто маленькие девчонки, которым ещё нет двадцати и у которых была очень тяжёлая жизнь, страшные сны и одни видения на двоих. Они словно вылезли из чёрно-белого мира, в котором контраст – всегда на разных сторонах спектра и никак иначе.

В этот вечер я вдруг понял, что больше не могу воспринимать людей как один вид, что любое обобщение – путь к непременной фатальной ошибке. И холодная ладошка Старшей стала последним аргументом в этом внутреннем споре, последним кирпичиком моей новой субъективной антропологии.

Писатель ехал туда, где всё началось для него. Это была своеобразная экскурсия: я показал ему реку и город моего детства, а он мне – квартиру с огромным аквариумом, которая всё ещё находилась на том же месте, что и раньше, и ни капельки не изменилась.

Сестричек обуял настоящий ужас. Зайти в квартиру, в которой когда-то жила Кансер, они не смогли.

– Мы вообще-то не трусихи, – оправдывалась Старшая.

– Кому угодно морду вскроем, – деловито подтвердила Младшая.

– Но тут что-то такое, что нас сильно пугает, – упавшим голосом закончила Старшая.

– Ужас, – вздохнула Младшая и почти заплакала.

Писатель лишь кивнул в ответ и первым вошёл в квартиру, благо дверь была не просто не заперта, но и не до конца прикрыта. Опасливо за ним в щёлочку просочился и я, стараясь предотвратить противный скрип двери, который она совершенно точно должна была издать.

Я своими глазами видел, что время не пощадило петли, они покрылись ржавчиной, а пол – плесенью или чем-то подобным. Впрочем, запахов в квартире не было, как не было и звуков, и света, не было мебели, и не было ни души. Только ничем не пахнущий беззвучный ветер бродил по комнатам и со всего разбега ударялся в стеклянный борт аквариума посреди большой комнаты, настолько огромной, что в полутьме даже не было никакой возможности разглядеть её углы.

– Круг замкнулся, – произнёс писатель и провёл по стеклу рукой. – Я вернулся к тому, с чего всё началось. Что мне делать, подскажи.

Тишина ответила ему, не слишком заботясь о том, насколько он готов её слушать. Я был свидетелем этого ответа, я понял, что впереди нас ожидает только неизвестность, как бы Пересмешник ни стремился просчитать все варианты. Есть вещи куда мощнее его безграничного интеллекта.

– Ты знаешь, что всё началось не с романа как такового? Всё началось с её глаз. – Писатель сел прямо на пол и прислонился спиной к аквариуму. Я примостился рядом и стал ждать: что-то должно было произойти. – Это пространство подчиняется мне, Пересмешник. Как твой туман, оно исполняет мою волю. Смотри.

Он приложил руку к аквариуму, и я вдруг увидел, как по другую сторону стекла кто-то нарисовал на пыльной поверхности две вертикальные параллельные линии. Сверху вниз. Мне захотелось плакать, я понимал, что это Кансер, её тонкие пальцы рисуют сейчас в воздухе, где-то по ту сторону дождя, и мы видим лишь отблеск её движений. Кажется, я отпрянул, потому что Писатель посмотрел на меня ободряюще: успокойся, не нервничай, всё идёт так, как должно быть. Ты здесь, я здесь, Кансер тоже здесь, хоть мы её не видим и не слышим.

– Это мой новый мир. И старый, конечно, тоже. Новый и старый одновременно.

– Да, дорогой. Это твой мир. – Её голос зазвучал в наших головах, и мне стало не по себе. – Твой друг волнуется. Я ведь говорила, дурачок, не волнуйся. И ничего не бойся – ничто тебя не обидит.

Писатель окинул меня взглядом.

– Тоже слышишь? Хорошо.

– Наконец-то ты выбрался из своей темницы, – сказала Кансер между делом. – Ты теперь будешь счастлив, поверь мне. Я же обещала. А потом мы встретимся, чтобы уже никогда не разлучаться.

– Никогда, – как завороженный повторил Писатель. – Никогда не разлучаться. Мне нравится.

Она не ответила. И больше не произнесла ни слова. Канал прервался, и квартиру снова затопила тишина, только откуда-то из коридора доносились странные механические звуки, как будто работала кофеварка.

Писатель зажмурился, он купался в звуках её голоса, а теперь почувствовал себя выброшенным на берег китом. Из его глаз сочились слёзы, но лицо не деформировалось мукой, а наоборот – разгладилось, он словно помолодел лет на десять и показался мне просто обычным грустным парнем. Повинуясь странному желанию, я положил ему руку на плечо, и мы ещё несколько минут просидели в такой позе, неудобной, но доверительной. Потом он улыбнулся и поднялся.

– Я хочу кофе, – сказал он. – Пойдём на кухню.

Мы покинули пустую гостиную и вышли на кухню, которая, к моему удивлению, выглядела не настолько запущенной, как всё остальное. На столе посреди комнаты стояли пять чашек кофе, из одной громко прихлёбывала пожилая женщина, выцветшая и лишённая эмоций. Я предположил, что это мать Кансер, хотя точно знать этого, конечно, не мог.

– Я ждала, – просто сказала она.

– Спасибо, – отозвался Писатель и поцеловал её в щёку. – Простите, что задержался.

– Почему чашек пять? – уточнил я, присаживаясь на краешек стула. Писатель и женщина посмотрели на меня с удивлением.

– Мы же не будем оставлять ваших подружек на лестничной клетке, правда? – сказала женщина. – А вот и они.

Я обернулся и увидел, что Сестрички в нерешительности мнутся в коридоре за нашими спинами.

– Простите, мы устали стоять, – сказала Младшая и потупила взор.

– Извините, пожалуйста, – повторила Старшая. – Нам там было очень страшно.

– Ничего, девочки. – Женщина, кажется, даже немного ожила. – Садитесь за стол.

Аккуратно, словно боясь развалить карточный домик, Сестрички опустились на стулья и взяли свои чашки. Они постоянно переводили взгляды с меня на Писателя, затем на женщину, затем снова на меня, пытаясь разгадать загадку происходивших вокруг них событий. Писатель не отрываясь смотрел на женщину, а я на писателя. Вот такая странная картина.

В конце концов мы рассмеялись. Напряжение словно испарилось, и мы все принялись за кофе.

Маленькая коммуна и большой Конец Света

Главным местом в Цехе был, конечно, огромный вечно разложенный диван на десять персон, сделанный из двух одинаковой толщины матрасов и большого деревянного помоста, полностью скрытого под пледом с репродукцией Ван Гога, которого никто из нас особо не любил. Он был мягок, как зефир, что плавает в море горячего шоколада, и на удивление удобен. Мы коротали на нём дни и ночи с полным осознанием важности наших бесконечных бесед, разговоров под свист заоконной метели и редких криков, доносящихся из соседних зданий. Там ютились какие-то современные художники, с которыми мы почему-то никогда не пересекались.

Места на диване были расписаны, отступать от правил никто не решался. Справа от меня лежала Геля, одной рукой приобнимающая Диму за шею, а другой вечно сжимающая мою руку. Иногда Дима был занят тем, что расписывал своими фресками стены и потолок Цеха, и тогда Геля лежала на боку, уткнувшись в моё плечо носом. Она уже была заметно беременна, а потому долго устраивалась, чтобы было удобно. Это отразилось и на Диме, который постоянно ходил облепленный никотиновыми пластырями, как солдат, вернувшийся с фронтов неизвестной войны.

Между мной и Писателем лежали Сестрички. Они всегда соприкасались спинами, Старшая сопела мне в ухо, периодически задавая шёпотом какие-то неожиданные вопросы и терпеливо ожидая ответа, а Младшая, обладающая талантом принимать самые неожиданные позы, укладывала голову на плечо Писателю и млела, не теряя концентрации. Рядом с Писателем лежал Боря, который в любой момент мог уйти так глубоко в себя, что практически терял сознание и забывал дышать. Тогда Младшая аккуратно била его рукой по щеке – будила, возвращала в наш мир из бесконечных просторов его сознания.

Боря не видел необходимости в поисках пары. Мы не раз пытались сосватать ему какую-нибудь знакомую девчонку, но после Кати на него напала какая-то апатия, он совсем не стремился к женскому обществу и старательно избегал разговоров об этом. Впрочем, Сестрички порой совершенно голые врывались к нему в душ и с диким визгом устраивали маленький Армагеддон, его ему, кажется, вполне хватало. Выглядел он счастливым и вечно задумчивым.

Да, мы жили странно, не чувствуя времени и не видя перемен, что наверняка происходили в мире за стенами Цеха. Ночами Дима и Сестрички рыскали по городу в поисках ещё пустующих стен – своих мольбертов, оставляя на нас, трёх взрослых мужчин, Гелю и её ещё не родившегося ребёнка. Мы все заранее любили его, как отцы, и любили нашу прекрасную танцовщицу, как мужья. Лёжа с нами на диване, Геля чувствовала, я это точно знаю, только спокойствие. Она делала вид что спала, а между тем пристально разглядывала наши лица, и улыбка нет-нет да пробегала по её губам. В такие минуты даже Писатель млел и вдруг возвращался из каких-то неизвестных миров сюда, на грешную землю, к своим созданиям.

Геля всё меньше участвовала в акциях, но дома постоянно генерировала идеи, направляла нас и порой грустила в сторонке, тихо плача. Это всегда продолжалось минут десять, мы не трогали её, давая ей возможность побыть наедине с собой и своими предчувствиями.

– Всё изменилось, – сказала она мне как-то. – Я рада, что стану матерью, но когда нас было только трое, было немножко лучше. Может, даже не лучше, а теплее. Я люблю Диму, люблю Сестричек, обожаю Писателя, и всё равно скучаю по тому времени. Ты, я и Боря – волшебные годы.

– Я тоже скучаю. Но мы движемся, тормозить уже нельзя, – грустно сказал я.

– Знаю. – Она помолчала. – Пересмешник?

– Что? – Я лежал на боку и смотрел, как её неряшливая косичка норовит забраться ей в рот. Боря возился за столом, больше никого в Цехе не было.

– Я всё ещё та самая Геля-с-серьгой-в-языке. Не забывай об этом.

– Не забываю. Ты была ею, ты сейчас она и останешься ею навсегда.

Геля лежала рядом со мной, она провела рукой мне по щеке и улыбнулась.

– Навсегда. Как это хорошо, когда навсегда. И мы будем вместе? Все вместе? Я, ты, Боря, Писатель, Сестрички и Дима?

– Да. Все вместе. – Я подтвердил, а Боря рассмеялся откуда-то издалека. Геля поцеловала меня и довольная улеглась на свою левую руку.

– Ты врёшь, человек-константа. Но мне нравится твоя ложь.

– Я никогда не вру.

– Действительно, – подтвердил Пересмешник в моей голове. – Ты никогда не врёшь. Всё зависит лишь от формулировки. Мы будем вместе, но разлука, пусть короткая, болезненная, нам всё равно предстоит. Не знаю, к чему это всё идёт, но в таком состоянии нам не удержаться: Катаклизм разрушит нашу коммуну.

Я не ответил голосу в голове. Это, в общем, было и не нужно. Пусть рушит, пусть попытается нас разделить, но мы всё равно вернёмся, и когда-нибудь будем вместе уже навсегда. А расставание, мнимое, конечно, как и все расставания на свете, мы переживём, на то мы и люди. Возможно, Пересмешник уже не помнит, как это – быть человеком.

Сложно описать словами. Нас было семеро, и мы чувствовали друг друга так, как никогда прежде никто не чувствовал каждого из нас. Когда грустил Боря, Сестрички вдруг откуда ни возьмись появлялись рядом, пару раз даже возвращались с улиц раньше времени, чтобы вывести философа из прострации. Прямо в ярких рабочих комбинезонах они вбегали в Цех, переворачивали все бумаги на столе Бори вверх тормашками, а потом помогали ему всё уложить в нужной последовательности. Злиться на Сестричек дольше, чем того позволяли условия игры, было просто невозможно, потому что все, конечно, понимали, чего им стоит такое проявление нежности в отношении другого человека.

Когда Писатель, нашедший-таки работу в строительной фирме где-то за МКАДом, усталый приходил домой, его ждал горячий ужин, заботливо приготовленный Гелей ровно ко времени его

возвращения. Беременная, она почему-то полюбила готовить. Когда мы с удовольствием доедали всё, что было на столе, Сестрички вылизывали тарелки почти дочиста, а потом целовали измазанными в остатках еды губами Гелю прямо в раскрасневшиеся от комплиментов щёки.

Если мне нужен был художник, Дима и Сестрички были рядом, никто никогда не отказывался, не увиливал. Так мы полностью обновили Цех, закрасили половину этого мрачного города своей символикой, развили деятельность настолько, что окружающие не могли поверить в то, что на улицах орудует не целый дивизион уличных художников.

Ведь нас было лишь семеро – почти библейское число.

Потом Сестрички придумали глаз. Это был конец зимы, Геля к тому моменту настолько округлилась, что с трудом ходила, а такие простые действия, как сесть или встать со стула, казались ей по-настоящему сложными. Набросок глаза, а точнее – Глаза, с большой буквы, девчонки принесли вечером, они корпели над ним целый день, вырисовывая что-то странное в тёмном углу Цеха. Они никого не подпускали даже на расстояние пары метров, и когда Боря в шутку попытался подсмотреть за их работой, в прямом смысле зарычали на него, как рычат уличные псы на того, кто пытается отнять у них кусок мяса.

Глаз – вовсе не символ Танцующих, это настоящий самодостаточный шедевр, превзойти который никому не под силу. Страшный, как схлестнувшиеся армии Гога и Магога, вездесущий, как неизбывные муки совести, он смотрел в нутро человеческому существу, проникал в него. И не было ничего более жуткого в городском пейзаже, окружавшем нас со все сторон.

Верхом мастерства был даже не сам глаз, не уходящий в пустоту узор, не туман, что клубился и внутри, и вовне его, а зрачок. Тут Сестрички рисовали чёрным по чёрному, рисунок получился объёмным и многомерным. Всё то, что я когда-то видел, всё, что так подробно, пусть и вслепую, пересказал Писатель в своём романе, всё воплотилось в этой бездне, всё вместилось в неё: и мрачный затон, и берег реки, и живые без умолку болтающие на своём языке травы. Был в этом зрачке след взгляда Кансер, обречённый шёпот выдуманной мною девушки, смех жуткой старухи, захлёбывающейся речной водой. В нём был и козлиный голос, что звонил нам когда-то на выключенные телефоны.

Когда Писатель увидел глаз, он присвистнул, а потом ещё долго рассматривал картинку, как смотрят на несущееся к берегу цунами обречённые жители портового города.

Быть беде. Эта мысль сквозь приоткрытую форточку между мирами ворвалась в Цех, привела нас в ужас и восторг. Геля, забыв про свой живот, радостно прыгала и хлопала в ладоши, на её глазах снова выступили слёзы, но теперь это были слёзы радости, последствия восхищения. Дима рыцарски склонил голову и поочерёдно пожал руки каждой из Сестричек, а они в ответ повисли у него на шее.

Мы заготовили трафарет и выложили его в сеть.

Глаз воплотился по всему городу. На каждой выбеленной стене, на каждом случайном камне, на заборе съехавшего за город завода и на лестничных клетках ненароком оставленных без охраны подъездов. А потом, как пандемия, он распространился по всей стране, и теперь уже анонимные художники на местах охраняли свои нетленные шедевры, даже не зная, что за юные бунтарки создали Глаз и чего им это стоило.

Однажды случилась такая история.

Как-то во время вечерней прогулки, участие в которой на этот раз принимали я, Сестрички, Писатель и Дима, мы наткнулись на ребят из местной банды, которые ставили свою метку прямо поверх глаза. Они даже не подозревали, как сильно ошиблись: посмотрели на нас рыбьими глазами, пообещав взглядом много неприятностей, если поднимем шум, и всё. Было их человек шесть.

Младшая никогда не выходила на прогулку без бейсбольной биты. Ей хватило пары мгновений, чтобы оказаться рядом с парнем, сжимающим в руке баллончик, и ещё одного мгновения, чтобы челюсть его противно хрустнула, а в снег посыпались обломки зубов. Ближайший к нему соратник бросился было на помощь, но в тот же момент получил пару точных ударов по рёбрам и рухнул, крича. Младшая носилась вокруг поверженных врагов, как фурия, выкрикивая какие-

то заклинания на придуманном ею же языке. Периодически она вбивала металлические стаканы своих ботинок то одному, то другому в податливую плоть, оставляя кровоподтёки и переломы рёбер.

Старшая высвободила руку из моего кармана и достала маленький, изящный ножик-бабочку. Отточенным движением она раскрыла его, спокойно подошла к парочке, валявшейся на земле, удостоверилась, что остальные члены банды стоят поодаль в нерешительности, а потом резким движением вогнала лезвие в наст прямо посередине между двумя валяющимися телами. Парни вздрогнули, но не издали ни звука. Тогда она достала нож, вытерла о штанину неудачливого художника, сложила и сунула его в карман. В тот момент я увидел, как она улыбается – спокойно, холодно и страшно. Даже Пересмешнику в моей голове стало не по себе.

Писатель неодобрительно покачал головой, через секунду Младшая уже висела на нём, как всегда восторженно смотря ему прямо в рот, а Старшая вернулась обратно ко мне и засунула руку в мой карман.

– Прости. Больше не отпущу, – прошептала она и поцеловала меня в ухо, для чего ей пришлось привстать на носки. В этот момент под её ногами хрустнула сухая веточка, а мимо как в замедленной съёмке пронёсся фантик от конфеты.

Мы удалились, давая возможность банде забрать своих раненных и до одури напуганных друзей. Глаз почти не пострадал.

Сестрички были больными, они сами это знали, и мы это знали. И любили их, а они любили нас, хоть иногда и устраивали непонятно что в Цехе. Когда они злились, а злились они часто, по помещению летала посуда и мебель, а Младшая однажды даже разнесла в щепу стул Бори, после чего они обе долго вымаливали у него прощение.

Геля обожала наблюдать за Сестричками. А уж услышав историю про выбитые зубы и поломанные рёбра местных хулиганов, она смеялась в голос, и в этот момент сама была похожа на валькирию из скандинавских легенд. По такому случаю она даже затолкала Сестричек в ванную и долго намыливала их и себя, чтобы смыть с них кровь, а со своего тела – следы злой радости за то, что вандалы получили по заслугам. Не знаю почему, но душ был для Гели святым местом.

– Правда не знаешь почему? – спрашивает меня Пересмешник. Он перебивает меня редко, чаще подкидывает идею для обсуждения и ждёт, пока я выговорюсь.

– Правда.

– Вроде умный, а иногда дуб дубом, – смеётся он и умолкает, оставляя мне возможность додуматься самому. Однако я понятия не имею, о чём он.

Мы были локомотивом, что держит путь на восток, туда, откуда начнётся Конец Света.

Мы были разными, но никто не был старше, никто не был опытнее, среди нас не было учителей и учеников, как бы мы ни превозносили Писателя и какую в некотором смысле отеческую позицию ни занимали по отношению к беременной Геле и совсем ещё юным Сестричкам.

А Конец Света двигался наперерез, если бы мы только вышли на улицу, в большую жизнь, вдохнули полной грудью воздух, если бы только остановились и понаблюдали, мы бы поняли, насколько он близок, и насколько наше маленькое счастье зыбко и уязвимо. Увы, мы упивались нашим существованием и заметили это слишком поздно. Когда не стало Сестричек.

Последняя вылазка Сестричек

Сестрички погибли в прямом эфире. Нам не нужно было наблюдать за этим в сети, чтобы чувствовать, как они умирают, как останавливаются их маленькие, но такие яростные сердца – в те минуты, тянувшиеся вечность, мы и сами испытывали адскую боль в области груди.

Геля нянчилась с дочерью, но на кукольное личико ручьём текли слёзы, и это маленькое существо, сжимаемое дрожащими материнскими руками, ощущало на губах солёную, грустную жидкость. Танцовщица пыталась гладить ребёнка, укачивать его, но получалось что-то вроде зем-

летрясения – Гелю корёжило, она как в бреду повторяла какие-то бессвязные слова, а больше не было никакого смысла – ни в чём. Успокоить её было некому, потому что в оцепеневшем Цехе не было ни одного человека, крепко стоявшего на ногах. Только щелчки выстрелов, транслируемые из колонок компьютера, создавали звуки в тишине бывшего заводского помещения.

Сестрички вышли на охоту как обычно, в тот час, когда зажигают фонари, и вообще ничто не предвещает беды. Впрочем, по со временем мы стали вспоминать, что вели они себя какое-то время довольно-таки необычно: часто сидели в уголке вдвоём и что-то упоённо обсуждали, не подпуская нас к себе. За две недели до вылазки они вдруг вернулись, да так, что наша близость стала почти ненормальной – они таскались за мной и Писателем повсюду, прижимались при любом удобном случае, перепадало и Боре, и Геле с Димой. Сестрички даже пытались рисовать для дочери танцовщицы какие-то милые рисунки на альбомных листах, украсили ей самодельную колыбельку, хотя и тут что-то мрачное и нервозное вылезло наружу, и рожицы смешных зверей на бортиках выражали вовсе не радость, а какую-то глубокую задумчивость и печаль. Впрочем, Геля никогда не отказывалась от их подарков – её приводили в восторг и куда более мрачные шедевры Сестричек. Она могла битый час рассказывать об очередном творении молодых художниц, несмотря на то, что мы все его видели и уже высказали своё восхищение. Геля искала в рисунках смыслы, которые девчонки не закладывали, считала, что их рукой на бумаге рисует что-то куда большее, чем их разум, какая-то невыносимо масштабная стихия. Для неё творчество было наваждением.

Сестрички к чему-то готовились, просто их и без того ненормальное поведение размыло картину, мы не смогли подготовиться к чему-то действительно серьёзному. По ночам Старшая прижималась ко мне с таким упоением, так напрягала бёдра в попытке стать ещё ближе, ближе, чем это физически возможно, что, казалось, сливалась со мной в одно целое, и я знал, что чуть левее то же самое делает Младшая по отношению к Писателю. Не могу сказать, что я тогда подумал, даже Пересмешник молчит, не в силах подсказать мне правильный ответ. Он тоже всё проморгал, мой вечный и такой умный спутник.

В то утро Сестрички сложили свои альбомы и стопки разрозненных листов в башенку в своём любимом углу, и оттуда мы потом выудили несколько потрясающих работ, которые отнесли их матери в день похорон. Большую часть мы, однако, припрятали, потому что они были мрачны и сумасбродны, нам просто не хотелось травмировать несчастную женщину. Впрочем, как показали последующие события, предосторожности были излишни.

Днём мы как всегда пообедали вместе, это была суббота, и вся наша маленькая коммуна собралась у стола в три часа дня. Пили чешское пиво, если стейки, которые приготовила Геля, умудряющаяся и ухаживать за ребёнком, и вести кулинарную деятельность на всю компанию. Помню, Дима пытался ей помочь, но она с негодованием прогнала его с кухни – не терпела конкуренции и неумелых помощников. Сестрички что-то весело вещали, чавкали и постоянно пачкали скатерть соусом. После еды вылизали все тарелки и как всегда расцеловали нашего симпатичного, сильно похудевшего после родов кулинара в щёки и в губы. Геля как обычно зарделась.

Если бы мы только знали, что будет дальше. Если бы только могли предвидеть, что это наша последняя совместная трапеза! Мы бы связали их той самой испачканной скатертью, заперли бы в Цехе, сломали бы им ноги в конце концов, чтобы они уж точно в ближайшее время никуда не смогли деться.

Перед уходом Старшая пришла ко мне, поцеловала в ухо и ускользнула от моего прямого взгляда ей в глаза. Тут меня кольнуло впервые. Я почувствовал неясную тревогу, но она улыбнулась и лизнула меня в нижнюю губу.

– Немножко не вытер, – сказала она. И ещё: – Не скучай.

Здание банка, куда они залезли, было одним из самых высоких строений в центре Москвы. Чем-то похожее на башню из страшных сказок, оно возвышалось над постройками девятнадцатого века, как возвышается над одноклассниками мальчик-переросток, такой великан точно есть

в любом классе. Неожиданно вытянувшийся за лето приятель, вгоняющий всех остальных в состояние завистливой прострации.

Старшая сразу же кинулась наверх, туда, где имелось удобное для работы сужение ствола небоскрёба. Она заранее заготовила огромный клеёнчатый трафарет, чтобы не терять времени на контур и узнаваемые изгибы страшного глаза Танцующих. Специально для работы на большой высоте она надела на себя половину тёплых вещей, кожаные легинсы, тяжёлые армейские сапоги, которые, в отличие от Младшей, носила очень редко. На голове у неё красовался капюшон, а лицо было закрыто респиратором. В рюкзаке удобно притаились баллончики и книга «Луга, залитые надеждой». Она принялась за работу ещё до того, как хлопнула дверь лестничной площадки.

Младшая забаррикадировалась внизу, в холле. Поставила бейсбольную биту к стене, достала из кармана мобильный телефон и включила трансляцию от имени Танцующих на Крышах, к которой в течение пары минут подключилось несколько тысяч человек, в том числе и мы из Цеха. Мы уже поняли, что что-то не так – девчонки никогда до этого не транслировали свою работу в сеть.

Геля предлагала позвонить Сестричкам, возможно, отговорить, попросить не совершать глупостей, но когда Младшая достала из кармана два пистолета Макарова и показала их камере и всему миру, нам стало понятно, что поправить ситуацию уже нельзя. Оставалось лишь наблюдать, как Сестрички уходят туда, куда всегда хотели попасть однажды, в день, когда всё станет понятно. Видимо, для них он уже наступил.

Старшая подключила трансляцию, когда остов рисунка был уже перенесён на стену. Она изредка посматривала в камеру, и у меня складывалась впечатление, что смотрит она мне в глаза – так точно она фокусировалась именно на мне, будто знала, где я буду сидеть, в какой позе и как долго. Впрочем, я это знал и без видео – чувствовал каким-то десятым чувством, наличия которого никогда даже не предполагал. Старшая действительно смотрела на меня, ожидала поддержки, участия, и я дал ей его, просто подумав о том, как сильно я горжусь ими, как мы все гордимся ими и как мы любим их.

Мальчишки из внутренних войск прибыли на место через пятнадцать минут. Что-то вещали в мегафон, предлагали прекратить вандализм и сдаться. Обещали административное наказание. Обещали не трогать. Младшая ничего не отвечала, Старшая же панически вырисовывала клубы тумана, сочащиеся из страшного зрачка размером больше неё самой. Этот глаз был виден за километр – таким огромным они сделали трафарет. До сих пор не понимаю, как он уместился у них в сумке.

– Ну вот и всё, – сказал Писатель.

– Что всё? – не понял Боря.

– Конец Света. Он начинается сегодня.

Я закурил, забыв даже о том, что неподалёку сидит на руках у плачущей матери наш общий ребёнок. Пересмешник внутри меня прислушивался к тому, как надсадно стучит в грудной клетке сердце. Уже не такое молодое, как когда-то, сильно износившееся от всех тех испытаний, что я ему устраивал на протяжении своей жизни. Точно также бились сейчас сердца Сестричек, одна из которых отстреливалась на первом этаже здания, а вторая заканчивала рисовать зрачок на самом верху. Мне было нестерпимо жаль их обеих, немного жаль солдат, которые явно недооценивали противника, тем самым выписывая как минимум нескольким своим сослуживцам смертный приговор.

Младшая успела выпустить четыре обоймы. Неудобный вход в банк исключал моментальный штурм, да и не ребятам из внутренних войск заниматься такими вещами – у них к тому не было ни способностей, ни желания. Первым в дверь попытался войти молодой лейтенант, и сразу же схлопотал пулю куда-то в область шеи. Сестрички метко стреляли, да и холодным оружием пользовались с удивительной лёгкостью, хотя я никогда не видел, чтобы они пускали его в ход. Солдаты за стеклом выглядели напуганными, им ещё никогда не приходилось сталкиваться с серьёзным сопротивлением. Это дало Старшей время.

Когда Младшая получила первую пулю, сначала в ногу, её сестра наверху скорчилась от боли. Застонали и мы, чувствуя, как разрывает плоть раскалённый кусок металла. Но сопротивление продолжалось ещё одиннадцать минут.

Старшая закончила граффити в тот момент, когда солдаты выбили дверь на крышу. У неё оставалось ещё несколько секунд для того, чтобы подхватить пистолет и выпустить всю обойму туда, где по её предположениям находились нападавшие. Видеть она их не могла – зрение почти пропало ещё в тот момент, когда пуля пронзила голову Младшей, и больше уже не вернулось. На крыше внутренние войска потеряли двоих, пока не сообразили снять девушку из-за стальной двери, но и оттуда попали не сразу, а лишь с третьей попытки. Старшая прыгала, как безумная, не давая неопытным солдатам шанса нормально прицелиться.

Старшая залила кровью объектив, но телефон продолжал передавать звук, и трансляция остановилась лишь когда кто-то из солдат разбил мобильник. Было слышно, как перед самым выключением он сказал:

– Сумасшедшие какие-то. Какого чёрта мы не дождались группу захвата?

Геля никогда на моей памяти так не плакала. Потрясённый Дима забрал у неё ребёнка, впрочем, не сразу, и она долго стояла на коленях посреди Цеха, не издавая ни звука. И лишь когда он переложил дочь в колыбель, Геля закричала.

Это был и не плач, и не вопль, это был белый шум, такие высокие частоты, что уши почти не могут его воспринять. Меня мутило.

– Только не делай глупостей. Пожалуйста, только не делай глупостей, – повторял Пересмешник внутри меня. Впрочем, я и не мог ничего делать, потому что остолбенел и плохо понимал, что вообще происходит. Я понимал только, что эти твари только что убили Сестричек, и что это сойдёт им с рук, как всегда сходит с рук тем, кто просто выполняет приказы, любое дерьмо, которое они творят.

Геля кричала безостановочно, я был совершенно уверен, что ещё в тот момент, когда умерла Младшая, мы все, и танцовщица, конечно, тоже, на какое-то время ослепли и оглохли от чудовищной боли. Мы все были слишком близки, чтобы не ощущать её. Конечно, были ещё злость, ненависть, жажда мести, но всё это пришло потом. Сейчас же была только боль, голая, не прикрытая никакими условностями.

– Если вы не закончите то, что начали, пусть я даже не понимаю, что это такое, я буду вас презирать, – сказала нам мать Сестричек через несколько дней, уже на похоронах.

Это была совсем молодая женщина, лет сорока пяти, странная, с какими-то птичьими движениями, непропорционально длинными руками и ногами, укутанная в чёрный шарф размером со взлётную полосу. Она пришла одна, кроме неё и Танцующих никто не находился возле колумбария, в который поместили урну с прахом Сестричек. Старшая и Младшая, в одной капсуле – так распорядилась мать, хотевшая, чтобы их прах перемешался навеки.

Она не плакала. За весь день не проронила ни слезинки.

– Мы все состоим из звёздной пыли, – сказал я. – Идя по дороге к людям или от людей, мы должны помнить, что и мы, и они, и дорога, по которой мы шагаем, всё это – одно. В какую сторону света мы бы ни направлялись, какой бы транспорт ни избрали, мы движемся ко всему, чтобы стать его частью.

– Обожаю, когда ты умничаешь, – сквозь слёзы сказала Геля. Она выплакала литр слёз, за себя, за мать Сестричек, за каждого из нас.

Писатель кусал губы в стороне, Дима и Боря слились с противоположной стеной и не подавали признаков жизни. Я говорил речь, что-то несвязное, но во что я по-настоящему верил.

В тот момент по всей стране шла волна ненависти. Те, кто смотрел трансляцию, рисовали на стенах глаз Танцующих. В каждом городе, в каждом селе, в самых отдалённых уголках появлялось это страшное око, и с каждым рисунком Конец Света становился всё ближе. Государство, поздно понявшее оплошность, пыталось как-то исправить ситуацию, но оно уже ничего не решало, ибо налетела стихия, настолько далёкая от политики, что её невозможно было осмыслить. Время политиков заканчивалось, эта сомнительная материя просто перестала играть хоть какую-то роль.

Катаклизм начался со смерти Сестричек. Поздно вечером в день похорон мы все собрались на кухне у их матери, отдали ей рисунки, она приняла их с гордостью, было видно, насколько она дорожит их трудами. Собрала в папку, подписала и положила в стол, откуда могла достать работы в любой момент. У неё дома хранились сотни рисунков, десятки альбомов; стены в комнате Сестричек, в которой была лишь одна кровать, были изрисованы так, что не было ни сантиметра свободного пространства. Более того, они красили стены в несколько слоёв, так что чтобы разобрать хоть что-то, нужно было подолгу присматриваться – буквально нести вахту возле стен комнаты, повидавшей все безумства двух таких талантливых и таких мрачных красоток, настоящих имён которых мы так и не узнали.

Мы ожидали увидеть мать, которая ничего не понимала в увлечениях дочерей, домашнего сатрапа и поверхностного, пусть даже и приятного в общении человека. А увидели женщину, которая сама была практически такой же безумной, как и Сестрички. Их мрачность не была бунтом, она была наследственной.

– Я рада, – сказала она, – что у моих дочерей были вы. Вы прекрасны, такой удивительной семьи у них не было никогда, а я сама не смогла бы дать им того, что они нашли у вас.

– Мы, по сути, отняли их у вас, – возразил Писатель.

– Ничего подобного. – Женщина уверенно покачала головой. – Они всегда были со мной. И будут. Вы дали им возможность жить в полную силу.

– Мы понимаем это, – сказал Пересмешник моими губами. – Но не можем смириться с произошедшим. Мы выражаем вам соболезнование, настолько горячее, что им можно было бы растопить ледники и устроить новый всемирный потоп. Именно потому что мы были семьёй, мы понимаем ваши чувства лучше, чем кто-либо.

Мать Сестричек обняла меня, а мне было как-то неудобно говорить, что слова принадлежат не мне, а втором существу, что вольготно разместилось у меня в голове. Геля обняла нас обоих, а остальные встали рядом и долго не отходили.

– Давайте выпьем за девчонок! – воскликнула мать. На столе красовались три бутылки Ламбруски, совсем не траурного напитка, который, однако, без каких-либо проблем проникал в желудок, и от него становилось тепло нутру. Приносил он облегчение и дающему сбои мозгу, а утешение нам сейчас было необходимо.

Мы выпили.

В комнате стало душно, тут давно не собиралось столько народу. Мы сидели на полу, и мать этих потусторонних девчонок, за которых мы сегодня пили, рассказывала нам истории, иногда весёлые, но гораздо чаще – грустные, о том, какими они были, когда учились в школе, когда отдыхали на море у родни, когда ходили по врачам, пытающимся разобраться, что же с ними не так, откуда эта всепоглощающая мрачность.

Они прожили странную, болезненную, как операция под местным наркозом, жизнь, которая легко делилась на периоды полной апатии, взлётов в какие-то невозможные выси и неожиданных падений о землю. Их травили в школе, а они учились отбиваться, их любили мальчишки, а они учились обходиться без них, потому что не доверяли никому и ничему в этом мире. А к нам пришли – раскрытые до костей, как рана от топора. Восторженные, открывшие в книге Писателя новые грани и новые миры, которых до этого не видели, и в которые, признаться, не верили, пока не оказались в Цехе и не посмотрели на всё это своими глазами, они стали частью нашей семьи, жизненно важным звеном организма Танцующих на крышах.

И мы рассказывали матери о её дочерях. Говорили, что не воспринимали Сестричек как замкнутых мрачных сестёр, коими они слыли в школе и после неё. Рассказывали о том, как делили одну постель, как они вылизывали тарелки, Боря, смущаясь, рассказал, как они врывались к нему в душ во время мытья, и неожиданно постаревшая под вечер женщина в голос смеялась от наших рассказов. Она была так довольна, так счастлива, что покраснела, и в глазах у неё неожиданно заиграл шальной огонь, какой постоянно плутал в глубине глаз Сестричек с самого первого их появления в Цехе.

– Останьтесь сегодня у нас? – попросила она, и мы не рискнули ей отказать.

Ночью, когда мы устроились на полу посреди комнаты Сестричек, в окружении их ночных кошмаров, с любовью смотрящих на нас со всех стен, она пробралась к нам и тихо, чтобы никого не разбудить, легла между мной и Писателем – на место своих погибших дочерей. Мы не спали, ни один из нас, но не подали виду, чтобы она сама поверила в незаметное своё появление. Под утро Геля, невесть как дотянувшаяся рукой в ночи, всё-таки нашла и крепко сжала ладошку матери Сестричек в своей. Так мы и проснулись на утро – они сцепились руками поверх меня, и мне пришлось ждать, пока они встанут, чтобы изобразить момент пробуждения.

Пока я ждал, Пересмешник внутри меня что-то говорил. Я так и не понял, говорил он со мной или бурчал себе под нос, что было бы странно для бестелесного нагловатого существа.

– Мы скоро встретимся. Все скоро встретимся. И что мы будем делать потом? Что вообще можно делать ПОТОМ, после того, как произойдёт эта радостная последняя встреча? Какие у нас варианты?

– А никаких, – отвечал он же сам себе спокойным холодным голосом. – Мы поймём что-то только после того, как всё это закончится.

Утром мы пили кофе. Мать Сестричек словно помолодела, выглядела куда веселее и спокойнее. Казалось, её боль осталась в прошлом. На ней красовался фартук в разноцветную толстую полоску, по кухне растекался голос Принца, а больше ничего и не нужно было, чтобы встретить новый день.

– Как их звали на самом деле? – без особой надежды спросил Боря.

– Это неважно, – улыбнулась мать. – Их настоящие имена никто не произносил вот уже лет семь. Вы знаете их под именами Старшая и Младшая, думаю, этого достаточно. Я сама всегда называла их так, в общем-то, именно я и придумала эти клички. Вам не всё равно?

– Меня зовут Геля-с-серьгой-в-языке! – бодро отрапортовала Геля и заплакала. Снова.

– Знаю. – Хозяйка дома кивнула. – Я знаю всех вас. И люблю как родных. Как любили вас дочки. Послушайте, я хочу вас попросить об одолжении.

– Просите о чём угодно. – Мы с Писателем кивнули.

– Пусть всё это будет не напрасно.

– Это мы можем вам обещать, – совершенно серьёзно сказал Писатель, и я подтвердил его слова.

Секреты амбарной книги. Ч. 3

Ветер орал над пустошью. Ангелина Петровна прислушивалась к нему, пытаясь разобрать какие-то слова, а может и целые фразы, но это было так же бесполезно, как пытаться отыскать крупицу смысла в том вопле, который она испустила, всем телом чувствуя смерть Сестричек. Ветер просто кричал, потому что мог никого не стесняться в мёртвом краю, посреди давно уже замолчавшей страны, самой большой на этом голубом шарике. Если вдуматься, планета со всех сторон окружена тишиной, и кто сказал, что её жителям кто-то должен устраивать райские условия? Одинокий кусок камня летает по постоянной траектории вокруг злобного раскалённого светила, и люди, тараканами расплодившиеся по поверхности, – такие же одинокие, неприкаянные, их жизни расписаны на годы вперёд.

Миром правит инерция.

Ангелина Петровна в путешествии по волнам своей памяти добралась до того момента, когда привычный ей мир раз и навсегда рухнул. Это произошло так быстро, что она даже не успела осознать происходящее – только что их коммуна жила своей жизнью, они спали в обнимку, гуляли каждый вечер с её двумя дочерьми, которые росли быстрее, чем можно было предполагать. Две девчонки от разных отцов, что, в общем-то, никого особо не волновало, у них было сразу несколько заботливых пап и одна мать, а кроме неё – тени Сестричек, которые не присутствовали,

но постоянно подразумевались. Геля даже накладывала им еду или хотя бы ставила две пустые тарелки, сохраняла иллюзию того, что они живы и всё так же громко чавкают, периодически проливая на пожелтевшую скатерть красные капли сильно пахнущего перцем и томатами соуса.

Иногда в Цех приходила мать Сестричек, принимала участие в шумных трапезах, а потом, следом за своими дочерьми, целовала танцовщицу в щёки с тем же самым жаром и благодарностью.

Геля постепенно возвратилась к танцу. Сказав себе, что больше детей рожать не собирается, она активно занялась собой, за месяц сбросила все лишние, по её мнению, килограммы и принялась оттачивать балетное мастерство, перемежая занятия степом и длительными прогулками с коляской на свежем воздухе. Боря, Пересмешник и Писатель не без удовольствия сопровождали её, Дима всё больше времени проводил в городе – после смерти Сестричек он остался единственным художником в коммуне и работал сразу за троих, считая это своей обязанностью.

Первым словом, которое сказала старшая дочь, стало слово «танец».

– Это танец, – говорила Геля, сажая детей перед танцевальной площадкой, когда готовилась в очередной раз разминать свои непокорные руки и ноги, теряющие прежнюю гибкость. Это слово они, действительно, слышали чаще всего, хотя, в сущности, оно было лишено какой-либо ценности – просто набор звуков, не передающий всей сути действий женщины.

Сейчас Ангелине Петровне даже сложно себе представить, как сложилась бы её жизнь, если бы она не занялась балетом. Что, собственно, у неё было кроме танца?

Старушка встала с кресла и переместилась на диван, укутав ноги огромным мохнатым пледом. Ночь двигалась навстречу серому рассвету, в котором планировала обрести свой долгожданный отдых от трудов, Ангелине Петровне же хотелось совсем другого – ей хотелось прогнать дрожь, что охватывала её всякий раз, когда она подбиралась мысленно к той злосчастной дате. К утру, когда пропал Пересмешник.

Он ушёл ночью, тихо, попрощавшись только с Борей, и то лишь потому, что философу приспичило именно в тот момент засидеться за работой, не обращая внимания на часы. Поднялся с кровати, умудрившись не разбудить Гелю – она до сих самых пор не понимает, как ему это удалось, – быстро оделся, взял с собой небольшой рюкзачок и удалился, на прощание покурив с Борей у единственного на территории завода фонаря. Наутро Геля нашла его окурок на земле.

– Как же ты ушёл? – спрашивает Ангелина Петровна пустоту вокруг, но пустота, конечно, не может ей ничего ответить, а потому просто молчит, заставляя старушку дремотно ёжиться. Порывы ветра хоть и не проникают в комнату никаким иным образом, кроме разве что звука, всё равно вызывают озноб. Да и как они могут его не вызывать, если дуют уже больше полугода, ни на минуту не затыкая свои рты?

После исчезновения Пересмешника Ангелина Петровна переехала обратно в родной город. Забрала дочерей, попрощалась с ребятами, обняла и поцеловала каждого. Они обменялись контактами и иногда действительно созванивались, но постепенно их связь прервалась. Ангелина Петровна знала, чувствовала, что и у Димы, и у Бори – нет никого, они одиноки, но так же одиноки были все люди на свете, особенно после того, как этот белый свет погасил Катаклизм.

Ангелина Петровна закрывает амбарную книгу, которая обрывается на сообщении о выходе последнего труда Бориса В. под названием «Добро пожаловать в Катаклизм». Больше она не собирала вырезки, потому что время остановилось, и уже ничего не происходило. На тумбочке стоит початый стакан бренди, старушка поднимает его, взвешивает морщинистой рукой и немного отпивает, наслаждаясь нестерпимым жжением в горле. В этом действии есть что-то мазохистское, и она сама это знает, но на то и расчёт. Почувствовать физическую боль – разве это не возможность хотя бы на время избавиться от боли душевной?

Когда спадает шок, возвращаются зрение и слух, Ангелина Петровна понимает, что не одна в темноте. В комнате есть кто-то ещё.

– Пересмешник? – спрашивает она с величайшей надеждой.

– Я здесь, – отвечает человек-константа и выходит из тёмного угла, в котором зачем-то прятался, пока Ангелина Петровна принимала дозу крепкого терпкого алкоголя. Он медленно проплывает по паркетном полу вдоль картин, фотографий, книжных полок, потом наступает на ковёр и идёт уже по нему, совсем бесшумно. С интересом поднимает амбарную книгу. – Ты всё ещё это хранишь?

– А что мне остаётся? – машинально отзывается старушка и смотрит на Пересмешника. На совершенно молодого Пересмешника, точно такого же, каким он был вечером перед исчезновением.

– Танцевать, – улыбается он.

– Танцевать? Посмотри на меня. Я старуха, и я едва хожу.

– Глупости. – Пересмешник смотрит на Ангелину Петровну, а видит Гелю, и ничто не сможет его убедить в том, что она постарела. Старушка понимает, что для него время уже не имеет значения. От этого ей делается ещё обиднее, и она пытается заплакать, но слёзы, почему-то, не желают литься. Тогда она просто замирает и следит за тем, как мужчина в чёрном плаще поверх давным-давно вышедшего из моды костюма озирается, изучая помещение.

Пересмешник раскрывает амбарную книгу на случайной странице и с интересом пробегает глазами газетные вырезки и распечатки.

– Надо же, – говорит он. – Ты всё сохранила.

– Ты обещал мне, что мы будем вместе, – говорит наконец старушка, вспоминая, что же хотела высказать своему другу, учителю и любовнику, если им ещё хоть раз доведётся встретиться.

– Конечно. – Он кивает и улыбается. Как же здорово он улыбается! Ангелине Петровне кажется, что так он не улыбался никогда. И ещё ей кажется, что она спит. Или умерла.

– Это правда?

– Мы будем вместе всегда. Клянусь. – Он с серьёзным видом поднимает правую руку, словно действительно клянётся на какой-то святой книге.

Ангелина Петровна обводит комнату взглядом. Тут нет ничего, что ей хотелось бы иметь, будь у неё выбор. Бесполезный хлам и не более. Всё это она с удовольствием променяла бы на минуту в старом теле, на минуту танца посреди Цеха, и чтобы была ночь, и были овации шестерых, и чтобы все были живы. А ещё она готова была променять всё, что только есть на свете, на ванную комнату, молодого Пересмешника и то чувство, которое испытывала, когда он деловито исследовал каждый миллиметр её тела, на Подключение к вселенской сети, шёпот бесконечности, прорывавшийся в её мозг напрямую, минуя уши и прочие органы чувств.

– Ты готова? – спрашивает Пересмешник.

– К чему?

– Идти. Ты готова идти?

Ангелина Петровна привстаёт и потягивается.

– А куда мы пойдём? – спрашивает она наконец, заглядывая в глаза Пересмешнику. Из его зрачков в ответ смотрит живой океан.

– Мы пойдём домой.

Ангелина Петровна закрывает глаза. В ушах шумит река – бурлит, заикаясь о камни, поток, уходящий на юг, к краю света, и будет шуметь всегда, потому что это мы – временные, а он – вечный.

Геля открывает глаза.

Она стоит посреди поля, в мокрой от росы траве. На ней – коротенькие шортики и топик, а волосы снова заплетены в непослушную дерзкую косичку. На ногах нет обуви, она чувствует, как травинки щекочут ей пятки. Она дотрагивается до живота и понимает, что на нём нет и следа от кесарева сечения, полученного ею во время вторых родов, да и ноги больше не болят, нет странной многолетней ломоты в пояснице.

Геля чувствует, как её берут за руки. Перед ней практически из пустоты материализуется прекрасное девичье личико, бледное и худое, с огромными, подведёнными красным глазами. Геля,

конечно, узнаёт Кансер, а та тянет её в водоворот танца, и вот они уже вдвоём топчут мощную прибрежную траву, кружась и смеясь до слёз.

– Так вот как ты выглядишь, мёртвая девочка. – говорит Геля, пытаясь отдышаться.

– Да, вот так я выгляжу, – смеётся Кансер.

Смеётся и Пересмешник. Прислонившись к дереву плечом, он наблюдает, как Геля осознаёт себя снова молодой, осознаёт, что она здесь не одна. Что она больше не одинока, да и никогда не была одинокой.

Танец останавливается, и вдруг на Гелю набрасываются две молоденькие бестии, Сестрички, целуют её в щёки, обнимают до боли, что-то тараторят ей в уши, конечно, повторяя друг за другом, как делали всегда. Совершенно случайно попавшая в эти объятья Кансер визжит, и Сестрички целуют и её, за компанию. По лицу танцовщицы заметно, что она ничего не понимает, но весь этот радостный круговорот невозможно остановить, чтобы кто-то всё объяснил. Впрочем, единственный, кто мог бы объяснить действительно всё, кажется, не собирается этого делать вовсе.

Геля замечает Писателя, который сидит у стены разваливающегося сарая. Он сигнализирует ей и улыбается, он счастлив, и таким его ещё никто никогда не видел. Поодаль улыбается Дима. Возле самой реки, устроившись рядом с молчащим горбуном, притаился Боря, их философ и самый старый член Танцующих, за исключением, конечно, самой Гели и Пересмешника. Она протягивает руки, и Боря бросается к ней в объятья.

– Мы будем здесь жить? – спрашивает Геля у Пересмешника. Её голос звенит от восторга, и она сама стесняется того, каким высоким он оказался.

– Нет, не будем. Но мы всегда будем вместе, как я и обещал.

– А этот, второй, всё ещё у тебя в голове?

– Мы давно уже одно. Но не бойся, я всё тот же бухгалтер и зануда.

– И ты опять будешь умничать?

– О, поверь мне, от этого вы никуда не денетесь.

– Обожаю, когда ты умничаешь.

Геля бросается к нему на шею, и все Танцующие расступаются, чтобы тот, за чьими плечами ворочается бесконечное море теней, получил свою порцию ласки. Геля методично целует его в щёки, в губы, в глаза, в нос, в лоб, и никто не отводит взгляд, потому что здесь незачем, да и некуда его отводить. Танцовщица вдруг понимает, что даже моргая не может перестать видеть весь луг, все травы, горбуна, сарай, реку, небо, намертво заколоченное тучами. Она видит каждого Танцующего, видит и их глазами, и своими, и откуда-то сверху. От такого потока информации её голова начинает пухнуть.

– Не бойся, это пройдёт, – говорит Пересмешник.

– Кто тебе сказал, что я боюсь, дурачок? Я счастлива.

– Мы все счастливы, – говорят хором Танцующие на Крышах. Они все набрасываются на Пересмешника, сбивают его с ног и с хохотом принимаются кататься по траве, впервые за долгие годы оказавшись рядом друг с другом, в одном мире, на расстоянии вытянутой руки.

А потом начинается дождь.

Косичка Гели спутывается окончательно и превращается в мочалку. Писатель достаёт из сарая зонт, и под его покатую крышу врываются Кансер и Младшая, почти вытеснив их спасителя под потоки тёплой воды. Пересмешник поднимает лицо к небу и жадно принимает капли лицом, пьёт их, и вместе с ним поднимают головы наверх Дима, Боря, Старшая, чей чёрный макияж начинает течь ей по щекам, шее и ниже, и сама Геля. У танцовщицы дрожат колени, она готова упасть на землю и расплакаться.

– Но что же случилось? – спрашивает Геля, пытаясь перекричать ропот стихии. – Как мы тут оказались?

– Ничего не случилось. Просто всё кончилось. Танцующие сыграли свою роль, – говорит Пересмешник.

– А как же остальные?

– Пойдут вслед за нами, наверное. По крайней мере, мы дали им выбор, а значит и возможность. Мы всё-таки авангард, помнишь?

– Конечно, помню. – Геля действительно никогда этого не забывала.

– Ну вот. Пойдут, пойдут, куда денутся. А нам нужно двигаться дальше.

Танцующие на Крышах окружают Пересмешника. Все молчат, ожидая что он скажет какие-то напутственные слова.

– Нам открыты все дороги. Все пути. Мы не просто осколки звёзд, мы – новые звёзды. Молодые, горячие, как миллионы пожаров. И мы – навсегда.

– Обожаю. Я это просто обожаю! – выкрикивает Геля, и вдруг понимает, что ей совсем необязательно перекрикивать ливень, потому что все собравшиеся отлично её слышат, даже когда она говорит про себя.

– Вы готовы? – спрашивает Пересмешник.

– Мы готовы, – церемонно отзываются все.

– Мы готовы ко всему, – подтверждает Геля-с-серьгой-в-языке.

Поляну затапливает яркий свет, и они стартуют.

Катаклизм сходит на землю

В один из вечеров, задолго до этого, генеральный директор крупной строительной фирмы задержался на работе. Ему некуда было возвращаться, так что он не преминул воспользоваться своим положением и переночевать в кабинете, на чёрном кожаном диване, максимально безликом и лишённом даже бирки.

В двенадцатом часу завибрировала старая нокия, но директор даже не достал её из кармана. Он смотрел на экран огромного телевизора, куда стекалась вся основная информация из филиалов: оттуда приходили вести о падении серверов, одного за другим, потом начали отключаться сайты, потом и иконка сети сменилась на красный крестик. Тогда мужчина включил радио и убедился, что ни одной станции не осталось. В эфире бушевал лишь разноцветный белый шум.

Мир пожирала пустота.

Она медленно опускалась на Землю, вселенская, недобрая, но и не жестокая, а просто такая, какая есть – безразличная к чужим горестям и радостям. Люди по всей планете замирали, тупо смотря в зёрна помех, ещё не понимая, что это теперь надолго. Умолкали проигрыватели в автомобилях, гасли рекламные щиты над скоростными шоссе и маленькие телевизоры в спортивных барах. Отправленные электронные письма не доходили до получателей. Наконец, перестал вибрировать и телефон в кармане – ему не суждено больше зазвенеть, как бы кто ни пытался его реанимировать.

Директор устало откинулся на спинку дивана. Вот и всё. Мониторы погасли, телефоны замолчали, старые аналоговые радиоприёмники сошли с ума.

Бизнесмен почувствовал, как тяжесть прожитых лет обрушилась на его плечи вместе с Катаклизмом. В конце концов, ему уже за семьдесят, у него даже есть внуки от случайных детей, которые с ним практически не общаются. Он легко прошёл по жизни, практически ничего не оставив после себя, разве что одну вещь, собственноручно созданную и оставленную в назидание потомкам. Кто мог знать, что именно она натворит такое? Некому было предсказать такой финал, а если и была когда-то девушка, на это способная, то она умерла, очень-очень много лет назад.

Директор поднял чашку с кофе, и она показалась ему невыносимо тяжёлой, словно и он сам лишился сил вслед за телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами и взорвавшимися прямо на орбите искусственными спутниками Земли. А ведь ещё вчера он, несмотря на возраст, был полон сил и энергии. Ещё вчера он бежал на работу под проливным дождём в последнем приступе жизнелюбия, даже не подозревая, что совсем скоро всё кончится.

Следом погас свет. Директор даже не шелохнулся, ему уже было всё равно. Зачем нужен свет, если нет дел, которые нужно сделать? Если обесценились и навсегда потеряли интерес хоть для кого-то толстые папки-скоросшиватели. Темнота и тишина пришли в мир, а пустота была их королевой.

– Проходите, располагайтесь, – сказал директор, хотя в комнате никого не было. – Теперь вы будете жить с нами. Не бойтесь, Конец Света так и не наступил. Точнее, света и правда нет, но вот Страшный суд что-то не торопится. Точнее...

Как выразиться ещё точнее, он не знал. Было время, когда директор мнил себя писателем, уж в те счастливые деньки он что-нибудь бы придумал, но теперь, будучи главой строительной фирмы, он намертво забыл всё, что знал, и разучился делать всё, что умел. Его жизнь после тридцати оказалась бездарной, бесполезной, бессмысленной, и это только три из огромного списка эпитетов на букву Б, который он мог бы накропать, если бы ему было скучно.

Раздался телефонный звонок. Директор тупо уставился на аппарат, стоявший на столе неподалёку. В мире без телефонной связи звонок казался как минимум невероятным, но старик ждал именно его многие десятилетия.

– Здравствуйте, – грустно поприветствовал его козлиный голос, явно доносившийся издалека.

– Привет-привет, – почти весело отозвался директор и присел на краешек стола, гадая, зачем ему позвонил этот странный и, видимо, бессмертный персонаж.

– Я ведь предупреждал вас когда-то, что публикация романа может привести к непредсказуемым последствиям? Кажется, я был прав. – Голос констатировал это спокойно, без эмоций, и это в очередной раз натолкнуло директора на мысль о том, что у козлоголосого в принципе не было эмоций, как у робота, не оснащённого даже искусственным интеллектом.

– Видимо, были правы.

– И как вам?

– Пока не знаю. – Директор задумался. – Если так разобраться, вроде и ничего.

– А вы всё так же упрямы, как и много лет назад. Полвека миновало, пора бы подрасти.

Кажется, голос в трубке продолжал что-то говорить, но директор неожиданно перестал его слушать, потому что почувствовал чьё-то присутствие в кабинете. По телу пробежал холод, а внутренности, наоборот, вдруг ощутили сильный жар. На фоне огромного офисного окна, с которого забыли снять новогодние украшения-снежинки, возник женский силуэт.

Худое изящное тельце, незабываемо красивые ноги, длинные волосы, собранные в странную несимметричную причёску, даже по этому силуэту директор определил гостью с лёгкостью. Кансер, такая забытая, оставленная в другой жизни, и такая незабываемая, смотревшая на него из отражения в зеркале, из его собственных зрачков.

– Надеюсь, вы понимаете, – продолжал тем временем нудеть голос в трубке, – что ребёнок должен сперва пойти в школу, отучиться как следует, потом поступить в институт, постигать суть профессии, покутить и какое-то время вытягивать из родителей деньги. Это же так естественно. А вы оставили его один на один с таким ужасом...

Кансер преодолела расстояние, отделяющее окно от стола, за одно лишь мгновение, быстро и бесшумно, взяла директора за руку, которая всё ещё судорожно сжимала телефонную трубку. Аппарат умолк. Сделал то, что должен был сделать двадцать минут назад, вместе с остальными телефонами планеты. Девушка отбросила устройство в другой конец комнаты, и оно раскололось с пронзительным звоном.

– Хватит. Всё это уже неважно.

– Кансер?

– Да, дорогой. Это я.

– Но...

– Никаких но. Просто я, и всё. Перестань задумываться обо всём и мучить себя по пустякам. Я надеялась, что ты этим уже переболел. Вон уже и волосы побелели, и сил почти не осталось, а ты всё умничаешь, как полвека назад.

– Прости.

– Я же просила тебя не извиняться. Или ты забыл?

Директор тяжело опустился на стул.

– Я ничего не забыл. Ни слова.

– Тогда почему ты стал директором в этой дыре?

– Надо было как-то жить, – неопределённо отозвался Писатель. – Я постарел.

– Какая чушь. – Кансер уселась к нему на колени и заглянула в глаза, в самое нутро. Её взгляд вдруг потеплел, словно она очнулась от ледяного сна. – Бедный мальчик. Ты совсем не понимаешь, что происходит, правда?

– Думаю, тот, другой, всё понимает.

– Нет, и он не понимает. И никто не понимает, если хочешь знать, потому что такого ещё никогда не происходило. А впрочем, какая разница? Мы с тобой закончили все дела, которые должны были закончить. А про него пока не думай. Просто знай, что я – твоя. И всегда была рядом, просто ты очень редко мог меня разглядеть. Я жила в твоей тени, в дыме твоих сигарет, в хрипе твоих прокуренных лёгких по утрам. И когда ты занимался сексом с какой-нибудь очередной своей пассией, это я кричала её голосовыми связками. Не бойся. Да, прошло пятьдесят лет, но сколько ещё времени впереди! Бездна!

– И что будет?

– Здесь? Или там? Впрочем, я не знаю. Всё пошло наперекосяк. Надеюсь, ты не рассчитывал на загробную жизнь, в которой ты будешь сидеть на облаке, свесив ножки? Боюсь, смерть откладывается на неопределённый срок.

– Звучит неплохо.

– Одно я могу тебе обещать. Мы теперь всегда будем вместе. Наверное, это не самое лучшее, что могло случиться с тобой в жизни, но это только начало. Твои друзья будут рядом, наши друзья. Я уже сроднилась с ними. Я покажу тебе реку, и эти зелёные травы, и свой танец, который ты ещё не видел – он очень хорош, я это знаю. Даже лучше, чем самые прекрасные па Гели. И ты теперь сможешь всегда-всегда смотреть мне в глаза безо всякого страха. А ещё я покажу тебе дождь: он пахнет чем-то совсем новым, рождающимся сейчас в твоей и моей крови.

– Здорово, – пробормотал Писатель и улыбнулся.

– Словами не передать. Я покажу тебе всё это. А потом, когда придёт срок, мы вместе встретимся с остальными.

– Как только придёт срок.

– Да. Как только придёт срок. А пока мы поедем к тебе, поставим на плиту чайник, газ ведь ещё есть в трубах, я сделаю тебе отличный кофе. А потом постригу тебя, потому что этот старческий вид тебе совершенно не идёт.

Кансер взяла Писателя за руку, и они вдвоём вышли из офисного здания на свежий пьянящий воздух. В тёмный, лишившийся электричества город. В толпу ошарашенных Концом Света людей.

Алиса ОРЛОВА

майское введенское

в мае все с цветами носятся
обнимаются
мальчики несут цветы девочкам
угловатые неловкие дерзкие
бабушки несут дедушкам цветы
на кладбище введенское

мальчики девочкам – навсегда
бабушки дедушкам – до скорого
после едут в одном трамвае
высаживаются на улицы города

майское введенское переменчивое
разлучное обручальное
у кладбища на остановке трамвая
маяться радостно и печально

scjaraciula

чего ты хочешь моя душа?
о чем ты плачешь душа?
камышовую дудочку я прошу
огрызок карандаша
стеклянный шарик
пучок травы
ягодку и перо
и отпускную тебе подпишу
когда соберу добро

из стружки
и грифеля карандаша
я сделаю черный мед
ты думаешь плачет твоя душа
а это она поет:

Алиса Орлова родилась в 1976 году в Саратове. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета. Публиковалась в альманахе «Василиск», журналах «Дети Ра», «Волга – XXI век», «Сетевая поэзия», «Современная поэзия», «Российский колокол», «Новый мир» и др. Лауреат (2004) и дипломант (2007) Международного литературного Волошинского конкурса.

Scjaraciula Maraciula, la lusigne la cracule,
La piciule si niciule, di polvar a si tacule.
O Scjaraciule Maraciule, cu la rucole e la cocule,
la fantate a je une trapule, il fantat un trapolon.

время пришло
скорей говори
что у тебя внутри?
вишневая косточка
уголек
перышко
бледный огонь

время уходит
все что в груди
в Божью клади ладонь

скажи за
что тебя любили?
...
сверчок
тростинка
горстка пыли

будешь кузькина мать

А когда окончилось время утех,
отсырел порох в шутихе,
она замела по углам конфетти,
стала нервной и тихой.

И, подражая принцессе Атех,
как могла, навела уют:
собрала лото, продала пальто
и купила соль девяти сортов –
научилась брать что дают.

Взгляд ее диковат, быт ее суров,
караваном через ее кровать –
переселенцы – чужие сны
и толпа неприкаянных слов,
им нечего здесь клевать.

Обметала ей губы стальная сыпь,
а она – закусила кончик косы,

повторяя себе: «Не ссы!»
Таракан, сова и черная выпь
собрались, чтоб держать совет:
как ее такую теперь назвать?
Что за слово ей крикнуть вслед?
И решили новое имя дать –
будешь Кузькина Мать.

***

Психею пиши через «пси»
а псицу – не смей
бисером не корми свиней
стой у корней
знай себе – каменей
превращаясь в камею

заляг в нулях декабрей
словно жук в янтаре
только так уцелеем

в теремочке твоей головы
у подножья волшебной горы
что за нивы там
что за львы
тьма нема до поры
но
снова
протирается нить
обнажая основу

поезд из иногды в нигде
приходит два раза в год
из головы – в живот

пока ты тут

бьешься как рыба в Word'е
как рыба об Word

слова
превращаются в лед
мир
сжимается
до размеров
слова

***

дожили до весны
и стали жить обратно
летят пустые сны
к постели мятной
так маятно и неприятно
и тиканья часов
ни звука кроме
и маятник суров
стучит в кукушкин домик

воспоминание

елочный космос восьмидесятых
чем-то звеня и чем-то шурша
извлекает мама из коробки с ватой
стеклянный огромный блестящий шар

чем-то волшебным шурша извлекает
(это такая бумага красивая)
чем-то нездешним тихо звеня
(а это – елочный дождь и бусы)
маму и елку шар отражает
шкаф телевизор меня

на этой картинке отсутствует папа
он в другом доме вешает другие шары
а наш шар скоро разобьется вдребезги на пол
по правилам странной взрослой игры

но это будет в другом году
в новом 1989 году
а пока
наш елочный шар еще цел
мы отражаемся в нем
и ждем папу

лед

от роддома до гробовой доски
не забалуешь здесь
Россия – родина тоски
азъ – есмь
но забыли сказать зачем
зачем я здесь

нищенское серое небо
медленно едет вдоль елей
лед идет гораздо быстрее
в крови закипает яд

цвет лесного волка – лиловый
игла в яйце яйцо в утке
поезду идти еще сутки
через волчцы через тернии

по вагонам ходят карманники
сам смотри ты уж не маленький

– game over?
– ок

кипяток и стакан
в подстаканнике северной черни
где как сахар меня растворят

пророк

и внял он неба трепетанью
прописи все до одной
стали ему понятны
тогда бросил он
искать себе пропитания
и весь удалился в белые пятна

в незнаемые области
в Ultima Thule
на поля примечаний
выдохнули
снова вдохнули
пожимаем плечами

вернуться по следам

поиски совпадений –
попытки найти дорогу
вернуться по собственным следам

лечащего врача зовут
как мою первую учительницу
Анна Дмитриевна
значит все будет хорошо?

голодный лабораторный голубь
вертит головой
топорщит крылья
пытаясь понять
что такого он
сделал в прошлый раз
почему появилась еда

кнопку
дурачок
ты нажал кнопку

паталогоанатома
зовут так же как моего отца
Анатолий Николаевич
но я не узнаю об этом

август ясень

Мой друг превратился в дверной глазок,
в сердечный шум.
Он каждую ночь мне приносит себя кусок,
хоть я не прошу.

Я глотаю август,
как пес – траву,
как кот – куски целлофана.
У меня на руках – кора,
в животе – дыра
и это – уже не странно.

Я – московское дерево – клен или ясень.
Строен прост и предельно ясен.
Зависаю на Яузе, возле мертвой реки Синички.
У меня под ногами вьется трава-мокричка.
На моей голове, то есть в кроне – корона ворон,
а другие – повывелись птички.

елочки палочки точки кавычки

Алла ДУБРОВСКАЯ

ДЕВУШКА. РЕКЛАМА. ИНТЕРНЕТ

Повесть

В этот раз мне досталось место у окна, из которого видны угол 14-й улицы и Восьмой авеню, реклама банка, спины автобусов, помеченные метровыми номерами, юркие желтые пятна городских такси. Время от времени оттуда доносится сирена полицейской или пожарной машины. Идет дождь. Я слежу за струйками, стекающими по стеклу. Еще мне виден светофор. На красный свет поток машин останавливается, уступая дорогу пешеходам под зонтиками. Дети, на что похож раскрытый зонтик? Детям всего мира раскрытый зонтик напоминает гриб. Сегодня первое сентября. День знаний на родине. Кто-то из русских друзей в фейсбуке уже написал: «Просвещение или смерть!» Но здесь, рядом, нет ни одного человека с сантиментами по этому поводу. Все распаковывают коробки, устанавливают мониторы, деловито подключаются. И так каждые полгода. Где-то за неделю до переезда появляется девица с планом этажа в руках. К ней подскакивают менеджеры. Что-то там сверяют. Волнуются только неопытные. Они едва успели расставить книжки по программированию, пригреться на новом месте, как нужно снова паковаться и перемещаться. Через пару переездов всем уже наплевать. Некоторые даже коробки не разбирают. Никто на себе, конечно, столы не таскает. Для этого нанимают здоровенных мужиков-грузчиков. Я уж и не помню, сколько их тут перебывало за восемь лет. Почему-то все на одно лицо и в одинаковых футболках. Понятия не имею, как их отличают друг от друга, особенно когда они выстраиваются в очередь за бифштексами в нашем кафетерии. У меня всегда такое ощущение, что они пытаются съесть побольше халявного мяса, ну там, на день вперед. Кто бы мне сказал, во сколько обходятся такие переезды с места на место? Ребята, которые копаются рядом, конечно, не знают. Они вообще контрактники из Индии. Откуда им знать. Нас и так осталось четыре человека, не считая менеджера. Он тоже индус, кстати. Опаздывает, как всегда, вернее, преднамеренно не торопится. Не могу смотреть, как они ему стол собирают и сервер Linux подключают при том, что он забыл, когда кодировал в последний раз. Есть в этом что-то подобострастное, если я правильное слово вспомнила. За американцами такого не наблюдается. Помочь – пожалуйста, но чтобы вот так – нет. Я вообще люблю сама все делать. Не знаю почему. Из чувства независимости, наверное. Кое-кто говорит, что гипертрофированного. Возможно. Зато я никому ничего не должна. А вот и первый звонок на новом месте. Мама. Не отвлекай, пожалуйста, у меня много работы, говорю. Это ложь. Абсолютная. Работы никакой. Вообще. А ведь когда-то все было совсем не так. Впрочем, если ударяться в воспоминания, то надо решить, откуда начинать playback[1].

Начну, пожалуй, с себя. А что тут такого? К тридцати годам я поняла, что люди говорят только о себе. Это единственная волнующая их тема. Бывают, правда, варианты. Попадаются редкие исключения, которые все же спрашивают, как живешь, как твои дела, но только для того, чтобы незамедлительно переключиться на пересказ дел своих. Другой вариант – тебя вообще не спрашивают. Вопросительная интонация таким людям в принципе не свойственна. В этой группе пока побеждает мамина приятельница из Бруклина, которая умудряется любую тему – от невинного прогноза погоды до ядерных испытаний в Северной Корее – подчинить работе своего кишеч-

[1] Здесь: открутить назад.

Алла Дубровская окончила Ленинградский педагогический институт. Работала учителем истории, техником-смотрителем, теплорегулировщиком. С 1992 года живет в Америке. Автор романа «Одинокая звезда» (СПб.: Алетейя, 2014). Публиковалась в журналах «Крещатик», «Семь искусств», «Звезда», «Интерпоэзия», «Октябрь». В «Волге» публиковалась повесть «Египетский дом» (2016, № 11-12).

ника. Мне почему-то всегда неловко говорить о себе, но что-то все-таки сказать придется. Мы с мамой живем в Бронксе. Был с нами и папа. Был, да умер. Переезд из Питера в Бронкс дался ему с трудом. Наверное, его эстетическим чувствам был нанесен непоправимый ущерб, который он так и не смог восполнить. Кто бывал в Бронксе, поймет, о чем я говорю. Они с мамой тридцать лет выступали в Ленинградской областной филармонии. Мама исполняла романсы, папа аккомпанировал на фортепьяно. Она и теперь нет-нет да и запоет: «Летит, летит по небу клин усталый» или «Отцвели уж давно хризантемы в саду», но тут же начинают стучать соседи сверху, и мама смущенно замолкает. Иногда ее приглашают спеть в доме для престарелых. Выступать там она не любит, хотя всегда возвращается с роскошным букетом. Видимо, в ряду слушателей ей видится «промежуток малый», как «будущее место» для нее. Про себя могу только сказать, что школу я заканчивала тоже здесь, в Бронксе. Не вдаваясь в подробности, замечу, что было это не так уж и страшно. С кое-какими ребятами я дружу до сих пор. Все стремятся отсюда уехать, а я не могу, не оставлять же маму. Здесь хоть кто-то говорит по-русски. Переехать в Бруклин она категорически отказывается. Помню, кто-то из моих наивных друзей-американцев радостно сообщил ей, что ездил в «Маленькую Рашу» на Брайтоне и увидел настоящих русских. У мамы вытянулось лицо, когда я ей это перевела. «Да я сама таких русских не видела, когда в Петербурге жила. Откуда они только понаехали?» – с каким-то несвойственным ей вызовом передернула плечами мама, но попросила перевести что-нибудь вежливое. Короче, мы так и живем в Бронксе. Здесь же я закончила муниципальный колледж. Это что-то наподобие техникума, то есть для совсем неперспективных. Скажем так. Пытаюсь вспомнить, чему я там научилась. Быстро печатать, кажется. Это все. Перед самым окончанием мисс Отиз стала нас готовить к интервью. «Забудьте о джинсах, – первым делом сказала она, похлопывая накладными ресницами. Густые ресницы такой длины носят только в Бронксе. Настоящие нагуталиненные зубные щетки. – Мальчикам – белая рубашка, галстук. Девочкам – тонкие колготки под юбки. Всем – пиджаки». Ну и еще пара таких же деловых советов. И все же я обязана кое-чем этой мисс Отиз. Она позвонила мне уже после окончания колледжа и предложила зайти к ней поболтать по старой дружбе. Дружбы не было никакой, но такими предложениями не разбрасываются. Мы начали с ритуальных взаимных комплиментов, от которых перешли к вопросам, вернее, спрашивала мисс Отиз, пока я пыталась представить ее лицо без этих ужасных ресниц. Возможно, оно бы мне нравилось больше. Выведав, что я работаю кассиром два часа в день в супермаркете, мисс Отиз перешла к делу:

– Не хочешь попытаться найти настоящую работу, скажем, в банке? Ты умная девочка, у тебя должно получиться.

Что тут сказать? Я кивнула. Тогда мисс Отиз приоткрыла тайну нашей встречи. В Ситибанке есть несколько мест data entry[2] для выпускников колледжей без опыта работы.

– Ты же быстро печатаешь, да? Это все, что им нужно.

Благодарность подразумевалась сама собой. Получив несколько положенных наставлений и телефон агента по найму, я удалилась.

У агента оказался приятный голос. Он даже обрадовался, узнав, кто дал мне его номер. «Ты про Ситибанк что-нибудь знаешь?» – спрашивает. «Откуда? – думаю. – У меня там даже счета нет», – но сама молчу. «Ладно, – говорит. – С тебя спрос маленький. Выпускница без опыта работы. Веди себя скромно, но уверенно. Обязательно надень пиджак». И еще что-то такое, уже не помню что. Вызов на интервью пришел на следующий день. Я страшно занервничала, даже в библиотеку сбегала, хотела там найти что-нибудь про этот банк. Не нашла. Википедии тогда еще не было и никакой особой информации в интернете тоже. «Главное – хорошо выглядеть», – сказала мама. Мне кажется, слово «интервью» вводило ее в заблуждение. Как бы там ни было, наглаженная и прилизанная, я пришла на интервью в назначенный час. Меня проводили к даме не только с накладными ресницами, но и с наклеенными ногтями. Дама взглянула мельком на мое резюме и говорит: «Так ты в Бруклине живешь?» Почему-то они все думают, что раз ты русская, так в Бруклине должна жить. Насколько я помню, это был единственный заданный мне вопрос. Потом

[2] Клерк для введения информации в систему.

дама стала говорить о том, какая это честь и радость, но в то же время и большая ответственность – работать в Ситибанке. Я кивала. Так прошло полчаса. Видимо, именно столько времени было отведено на нашу беседу, вернее, монолог дамы. На прощанье она протянула руку, слегка царапнув мою ладонь длинными ногтями. Через два дня я получила по почте большой желтый конверт с договором. «Это начало твоей профессиональной карьеры», – торжественно изрекла мама. Кажется, она потом потихоньку всплакнула.

Уже через неделю, цокая новыми туфельками, я шла по Уолл-стрит мимо Нью-Йоркской фондовой биржи и Федерал-холла к дому сто одиннадцать, занимаемому Ситибанком. Впереди поблескивала Ист-Ривер, позади высился готический шпиль церкви Троицы. Живя в Бронксе, я отвыкла от таких величественных красот. Сердце колотилось в предчувствии чего-то важного. После оформления всевозможных бумажек и знакомства с правилами работы меня отвели на десятый этаж. Гримасу разочарования при виде закутка, где мне предстояло работать, заметила сопровождающая. «Ну, – сказала она, – там в конце коридора есть холл с окнами. Можешь наслаждаться видами во время ланча, а пока почитай инструкции, компьютера у тебя все равно еще нет». Тоска, словом. Телефон только внутренний. Знала бы, книжку принесла почитать или журнальчик. Хорошо, через полчаса еще двух девчонок привели. У кореянки Джун Вонг и то лицо вытянулось, когда она свое рабочее место увидела. Зато Кейла Родригес попалась веселая, и с ней мы так расхохотались, что к нам пришел знакомиться Стас Беликофф из соседнего кубикла. Мужчина еще молодой, но уже представительный, с редеющим чубом и намечающимся под пиджаком животиком. «Веселитесь, девчонки, – говорит, – пока у вас работы нет». «У нас и телефонов нет, – говорю, – а мне позвонить надо». Уж очень мне хотелось позвонить мисс Отиз. «Так звони с моего», – предложил Стас. Вот что значит коммуникейшн скиллс[3]. И я позвонила. Мисс Отиз обрадовалась несказанно, даже стало как-то удивительно, что я приношу людям столько позитивных эмоций. «Конечно, обрадовалась, – совсем не удивилась Кейла. Она была гораздо опытней нас с Джун. – Ей куска два агент отвалил за тебя, а уж сколько ему перепало от банка, сказать не могу».

Ну, а потом начались будни, или, как говорят на Брайтоне, пошли «вырванные годы». Это означает, что весь день перед глазами у меня мелькали зеленые цифры на черном экране монитора. Где-то в далеком Чикаго жил стареющий господин мэйнфрейм[4], который, отдуваясь и пыхтя, проделывал загадочные операции с этими самыми цифрами, сбивая их в огромные файлы. Файлы летели обратно к нам на Уолл-стрит, в кубикл Стаса. Что он там в них видел, я и по сей день не знаю. Иногда он заходил в наш закуток и говорил: «А ну, девчонки, кто из вас напортачил?» И мы долго ковырялись в длиннющих бумажных лентах, пытаясь понять, какая цифра не попала на экран или встала на место другой. Называлось это введением информации. И не было на свете ничего скучнее.

Довольно скоро мне надоело ходить на ланч в кафетерий Ситибанка, и я присмотрела «Старбакс» за углом. В теплую погоду служащие всех окрестных офисов выходили на набережную Ист-Ривер со стаканчиками кофе и бутербродами. Отсюда можно было любоваться круизными кораблями у причала, силуэтом Бруклинского моста в отдалении или просто безмятежно болтать. Ближе к зиме подули холодные ветры, набережная опустела. К тому же стало рано темнеть. Теперь я быстренько выбегала на ланч в соседнюю кафешку и вставала в очередь за оживленными девушками в шубках и кроссовках с белыми носочками поверх черных колготок. Прислушиваясь к их болтовне, я думала о том, что, несмотря на все ожидания, жизнь моя почти не изменилась. Среди тысячи окружавших меня людей я чувствовала себя завалившимся зернышком, так и не проросшим в мощное корпоративное тело. Мне было скучно. Иногда, устав от мелькания цифр на экране, я подходила к окну в холле на десятом этаже и подолгу смотрела вниз на бесконечную ленту машин с зажженными фарами, текущую по хайвею вдоль реки.

– Ну все! Мне надоели ваши мрачные физиономии!

Кейла решительно настроилась бороться с моей хандрой и втягивала в эту борьбу Джун, которой, в общем-то, было на все наплевать.

---

[3] Умение общаться с людьми (англ.).

[4] Большой универсальный сервер со значительными ресурсами ввода-вывода.

– А что ты предлагаешь? – вяло поинтересовалась я.

И Кейла потащила нас на аэробику, благо за это не надо было платить. Теперь два раза в неделю после работы мы переодевались в трико и кроссовки и спускались в просторную комнату на восьмом этаже, где под самбу повторяли за инструктором замысловатые движения перед зеркалом. Тогда, глядя на непроницаемое лицо Джун, с которым она проделывала несвойственные ее худенькому тельцу вращения тазом, и Кейлу, состоящую из вогнутостей, органично переливающихся в выпуклости, я, наверное, поняла, что такое мультикультурализм.

Заметное оживление стало наблюдаться и вокруг нашего закутка. Время от времени этаж почти пустел: сотрудники собирались на таинственные совещания, откуда возвращались, что-то оживленно обсуждая.

– Большие дела задуманы, большие дела, – сказал как-то Стас, склонясь надо мною и следя за мельканием цифр на мониторе. – Детка, ты работаешь в разбухшей корпорации, которая все больше разбухает и разбухает... Знаешь, чем это все однажды кончится...

До меня донесся запах алкоголя. Он все чаще стал приезжать во второй половине дня, ссылаясь на всевозможные причины. Прошел то ли месяц, то ли два. Не помню. Наконец волнение моря серо-синих пиджаков докатилось и до нас: по имейлу пришло письмо о слиянии Ситибанка со страховой корпорацией «Трэвэлерс». С этого дня мы стали работать в самой крупной финансовой компании мира. Нам раздали красные зонтики, бренд «Трэвэлерс». Кто-то придумал подрисовать красную дугу над буквой «т» в логотипе Ситибанка. Получилось красиво. Потом последовал праздничный банкет с шампанским. Все возбужденно говорили о взлете наших акций на фондовом рынке. Кейла мечтала о домике в Апстейте, Джун загадочно улыбалась, а я решила под шумок сбежать домой. В полумраке закутка без пиджака и галстука сидел Стас. Судя по всему, он пил не только шампанское. Я остановилась в нерешительности.

– А-а-а, это ты, девочка...

В его руке булькнула плоская фляжка.

– Ты даже не представляешь, что они сделали... Они разбили наконец это чертово стекло[5].

– Какое стекло? Ты что, напился? – не поняла я.

– Да ты совсем необразованная. Про Великую депрессию слышала когда-нибудь?

Я обиделась.

– Так вот, тогда закон приняли, Гласса – Стиголла называется. В тридцать третьем году, когда нас с тобой еще не было. И закон этот по сей день запрещает слияние коммерческих банков со страховыми компаниями. Во избежание еще одной такой депрессии. Строгий, так сказать, регулятор. Не представляю, сколько они текилы выпили перед тем, как решились его нарушить.

Стас закинул голову, прижав фляжку к губам. Надо было поскорее убираться.

– И что теперь будет? – уже на ходу спросила я.

– А? – лицо Стаса скривилось в гримасе. – Да ничего не будет. Официального запрета можно дожидаться пару лет. Время-то у них есть. А вдруг им возьмут и разрешат эту сделку, а Гласс – Стиголл и вовсе отменят, представляешь?

Мне было все равно.

Нет, какие-то изменения накатились. Первой сбежала Джун. Оказалось, она давно мечтала заниматься страховым бизнесом и после некоторой суеты перевелась в другой офис. Потом Кейла разузнала о наборе в новую группу SWIFT[6] и тоже сбежала. В закутке осталась одна я. Забытый галстук Стаса валялся под его стулом, но самого Стаса не было, хотя табличка «Беликофф» еще висела. Наверное, от одиночества и скуки я лепила много ошибок, исправлять которые должен был он. Не помню, как долго это все продолжалось, но однажды ко мне наведалась секретарша из приемной. Ты, говорит, в Бруклине живешь? Опять! Нет, говорю, а что? Не могла бы ты съездить к мистеру Беликофф и узнать, что с ним происходит? Мы его потеряли. И я поехала. Сначала на

[5] От англ. glass — стекло.

[6] Система международных переводов.

метро до Шипшидбэя, потом пешком, зажав в руке бумажку с адресом. Дошла до приличного домика с ухоженным участком и звоню в дверь. Хозяйка русская. Глаза большие делает:

– Неужели вы туда к ним пойдете?

– Куда?!!

– За угол и две ступеньки вниз. Я уж и не знаю, как их оттуда выселить.

У меня и раньше предчувствие было тяжелое, а теперь и вовсе пришлось собраться с духом. Между тем изрядно потемнело. Спустившись по ступенькам, принимаюсь колотить в дверь, которую долго никто не открывает. Сейчас я пытаюсь понять, почему я тогда не ушла, а продолжала стучать. Не знаю. Дверь открылась-таки. Какая-то особа, выступившая из темноты, дала мне пройти. Под ногами что-то каталось и хрустело.

– Вы свет-то включите! – не выдержала я.

Особа стала на ощупь искать выключатель на стене. Тусклая лампочка осветила пол, покрытый пустыми бутылками и банками из-под пива.

– А собрать бутылки в мешки и вынести на помойку – слабо?

Почему-то я начала говорить командно-покровительственным тоном, который сама не переносила. Особа восприняла это как должное и равнодушно ответила:

– Мешков больше нет.

Ну ладно. Прошли в какую-то комнату, тоже темную. Тут уж я сама выключатель нашла. Под такой же тусклой лампочкой на длинном шнуре высветились объедки на столе. Я в Америке таких лампочек, засиженных мухами, никогда не видела. Про объедки вообще молчу.

– А где же Стас?

Особа пальцем показала на какую-то перегородку. Захожу, откатывая пустые бутылки ногами. На топчане лежит кто-то в куртке на голое тело. Господи, весь в говне. Волна тяжелой вони накрыла меня, вызвав потуги рвоты. Отступать было поздно. Разбуженный Стас совсем не удивился, увидев человека из другой жизни. Он покорно поплелся в ванную, обдавшую меня запахом то ли мочи, то ли грязных полотенец. Да, я как могла обмыла это худое вонючее тело и завернула в какие-то подвернувшиеся тряпки. У Стаса начался озноб. «Я выхожу, я уже выхожу...» – заладил он, стуча зубами, и направился к своему топчану.

– К-у-у-да! – завопила я. – Нельзя! Туда нельзя!

– Стасик, хочешь пива? – подала голос особа.

Стасик отшатнулся к столу. Собрав загаженные простыни в узел, я рванула в ближайшую прачечную-автомат. Несколько человек, стиравших там белье, молча отошли в дальний угол, пока я возилась с вонючим тряпьем. До сих пор не знаю, как люди выходят из запоя. Что нужно делать? Ну, купила какой-то китайской еды по дороге назад. Мечась по комнате, он к ней не притронулся. Зато особа все уплела с большим удовольствием. «Стасик, ляжь!» – время от времени взывала она. И совершенно некстати добавляла: «А я голову помыла», – кокетливо встряхивая редкими волосами. Тут я вспомнила слова, которым научила когда-то свою американскую школьную подругу: «Хо-чу бе-жать отсюда!»

Домой я добралась во втором часу ночи. Потом до трех рассказывала перепуганной маме о парочке из Шипшидбэя, а утром с трудом поднялась на работу. Секретарша с поджатыми губами выслушала о том, что Беликофф болен, но ему уже лучше. Может, ее терзали некоторые подозрения, которыми она если и делилась, то не со мной. В соседнем кубикле никто не появлялся, но однажды там стал отчаянно трезвонить телефон. Обычно у нас не отвечают на чужие звонки, но эти были уж слишком тревожные. Была в них какая-то пьяная настойчивость. И я сняла трубку. Голос особы – ей, видимо, был известен только этот номер – сообщил, что Стас повесился... В похоронный дом на Кони-Айленде пришли несколько человек. Я была благодарна маме за то, что она потащилась со мной в такую даль. Да, а похороны оплатил Ситибанк, где Стас проработал девять лет.

Если некоторые люди любят рассказывать о том, как им плохо, то я говорить об этом не умею. Скажу только, что по утрам мне хотелось проехать свою станцию метро, чтобы не вливаться в поток вечно спешащих по Уолл-стрит деловых людей со стаканчиками кофе в руках. Дома я все

больше лежала на диване с закрытыми глазами под тихое поскрипывание половиц. Это мама осторожно кружила вокруг меня, как будто я была больна или что-то в этом роде. Наконец она не выдержала и сказала: «Белый свет не сошелся клином на этом проклятом Ситибанке». Кажется, эта выстраданная фраза как-то перекликалась с ее прежним репертуаром. В конце концов, она была права. «Так что же тебя держит в этом проклятом банке?» – изо дня на день спрашивала я себя. Один и тот же ответ приходил в голову: ничего. «Так почему же ты ничего не делаешь?» – продолжался допрос. «Вот сейчас буду что-то делать. А что делать-то?» – «Встань со стула, встань с дивана и позвони тому самому агенту, которому звонила два года назад». – «Вот сейчас встану. Сейчас», – и не двигалась. Не помню, сколько времени продолжалась эта неподвижность. Зато помню, как однажды утром, выходя из метро, наткнулась на Кейлу. Пока мы шли к набережной Ист-Ривер, я рассказала ей про Стаса. Кейла работала в новом офисе в Квинсе, мы давно не перезванивались. «Так ты что, одна там сидишь?» – она выпучила на меня черные глазища. Я только кивнула. «Ну, это никуда не годится. Надо немедленно валить оттуда», – и она затараторила о своей работе и о том, как ей там все ужасно нравится. Распрощавшись с ней, я уже точно знала, что нужно делать: валить немедленно!

– Тестировать можешь? – сходу спросил меня агент.

– Ну, я же... это... ввожу информацию для мэйнфрейма...

В моем голосе было скорее смущение, чем уверенность в собственных силах. Это именно то, что презирают агенты по найму рабочей силы.

– Забудь. Что-нибудь знаешь, кроме этого?

Не то чтобы знала, но слышала про Cobol и DB2[7].

– Это сейчас тоже никому не нужно.

Стало понятно, что меня некуда пристроить. Услышав, как мое смущение перешло в отчаяние, он решил меня подбодрить:

– Осмотрись вокруг, детка. Сейчас всем нужен интернет и все, что с ним связано. Попробуй быстренько переучиться. Тогда посмотрим. Удачи.

Тут самое время перестать говорить о себе, потому что то, что происходило вокруг, было гораздо интересней. Постепенно жизнь начала перемещаться в другое пространство. Почтальоны стали приносить меньше писем: переписку поглотила электронная почта. По утрам все меньше людей спешили купить газеты с последними новостями: новости мгновенно долетали из интернета. Отпала необходимость мотаться по магазинам в поисках нужных товаров: открылись интернет-магазины. Больше не нужно было рыться в библиотечных справочниках: возникли поисковые системы и википроекты. Начали исчезать бумажные книги и кинотеатры. Зато появились службы знакомств, социальные сети и компьютерные игры. Каждый, даже самый скромный бизнес силился заявить о себе в интернете. Здесь было все, начиная с невинной продажи пиццы и стрижки собак и кончая сексуальными услугами. Нашлось кое-что подходящее и для меня: дистанционное обучение. Школа программирования онлайн. Первая программа, написанная на C++ за пятнадцать минут, была обманчиво проста. «Привет, мир!» – возвестила я о себе одним воскресным утром, сидя за компьютером в нашей гостиной в Бронксе. Если бы мне хватило воображения представить количество приветов, посланных миру в эту минуту на всех языках программирования со всего земного шара, наверное, я бы не рискнула отправить свой. Но воображения не хватило, и теперь по воскресеньям, как примерная студентка, я генерировала случайные числа и разбиралась с перегруженными функциями. К дефициту воображения добавился дефицит времени и сна. Мама хотела только одного: чтобы я вышла замуж и «перестала мучиться». Институт брака казался ей важнее всех курсов по программированию. Пока в этом направлении успешно продвигалась только Кейла, объявившая о предстоящей помолвке с менеджером по продажам из Чейса. Была еще, правда, беременная школьная подружка, но отец ее ребенка упорно оставался за кадром, что случается в Бронксе довольно часто.

[7] Cobol — язык программирования, DB2 — система управления базой данных.

На вечеринку по случаю прощания с девичеством Кейла позвала и меня с Джун. Все уже изрядно набрались шампанского, когда Джун подкатила к ресторану. Что-то не ладилось в страховом бизнесе. Похоже, слияние с банком никому не пошло на пользу. Какие-то разговоры доходили и до моего закутка. Джун примчалась прямо с работы в тридцатиградусную жару в темно-синем костюме и колготках на кривоватых ножках. Ее личико показалось мне осунувшимся и несчастным. Для начала пришлось подсесть к ней с большим бокалом шампанского. Помогло. Легкий румянец выступил на ее высоких скулах, она разговорилась, вернее, просто защебетала о том, как ей надоел вечно придирающийся менеджер и как ее беспокоит падение курса воны. Я и не знала, что семья ее осталась в Сеуле и что она практически содержит престарелых родителей. После второго бокала Джун сняла пиджак и расстегнула рубашку почти до пупка. Потом настал черед колготок. Задрав подол юбки, она скинула туфли и стянула колготки. За столом оценили этот порыв свободы. Кто-то стал раздеваться. Полуголую девушку увели. Джун перешла к личной драме, послав подальше своего молодого человека. «Из Кореи?» – только и успела спросить я. «Какой, на хрен, Кореи, – нагрубила Джун. – Из России». Мне стало неловко за соотечественника. Пришлось налить ей еще один бокал шампанского, хотя я отчетливо понимала, что это уже через край. «Ну, а ты что? Все принца поджидаешь на белом коне или уже согласна на упрощенный вариант?» Вопрос оказался настолько бестактным, что слезы сами собой брызнули у меня глаз. Слава богу, отвечать не пришлось, пьяненькая Кейла плюхнулась на стул рядом с Джун, и они заговорили о ценах на недвижимость. О чем же еще могут говорить две поддатые девушки из банка?

А ведь и правда, принца не было, как не было и упрощенного варианта. Кто знает, может, поэтому мне и осточертело сидеть в закутке. Каждый день одно и то же: солидные люди в пиджаках и затянутых галстуках, разговоры о кредитах и фондах, фотографии счастливых семейств в рамочках, ожидание бонусов. Но, может, не только это, может, мне хотелось доказать себе, что я гожусь на что-то большее, ведь закончила же я курс программирования и нашла в конце концов новую работу. Конечно, не обошлось и без везения. Мир ответил на посланное приветствие: в интернете появился нескончаемый список вакансий. Это называлось бумом в информационных технологиях.

Кто хоть раз заваливал рабочее интервью, тот помнит трепетное ожидание в приемной, влажные ладони, сжимающие папку с резюме, легкую дрожь в коленях, заискивающую улыбку. У меня было все как у всех: учащенное сердцебиение, разочарование и досада. После второй неудачи я поняла, что нужно научиться нравиться людям. «Блин, да будь же ты обаятельной, уверенной, перспективной молодой особой, – заклинала я, поглядывая на себя в зеркало. – Да, еще это... знающей... ну хоть что-нибудь. Ты же проработала два года в банке. Нет, не так. Ты проработала два года в самой крупной финансовой компании мира. Вот! Уже лучше. Теперь рукопожатие. Крепкое. Энергичное. Походка тоже. Как ты ходишь? Ну как ты ходишь?» Трюмо в прихожей являло худосочную девицу с тонкими ногами. Еще и плоскостопие. «Мам, – не выдержала я, – ну почему ты в детстве не купила мне стельки от плоскостопия? На кого я похожа с такими ногами?» Вынырнувшая мама совсем не чувствовала себя виноватой. «Знаешь, – сказала она, – главное не то, какие у тебя ноги, а то, с каким видом ты их переставляешь». И царственно удалилась на кухню.

Как бы там ни было, мне казалось, я лечу на свое главное, последнее интервью. День выдался прекрасный. Теплое солнце ранней осени отражалось в зеркальных окнах небоскребов. Мидтаун выглядел не таким парадно застывшим, как Уолл-стрит. Из распахнутых дверей Пенн-стейшн вытекла река деловых людей и понесла меня к переходу на Восьмой авеню. «Если светофор будет зеленым – повезет. Красным – нет», – загадала я. Полицейский на перекрестке остановил движение машин взмахом полосатой палочки. Все. Везение гарантировано.

На интервью со мной переговорили, вернее, весело проболтали, пять человек. Сначала поодиночке, потом все вместе. Никаких пиджаков и накладных ресниц. Джинсы и футболки. Один вообще запоздал и вкатился в шортах. По-моему, так для голых коленок было уже холодновато, но, видимо, парень попался закаленный. Как я поняла, все они были менеджерами, подбирающими людей в свои команды. Последней со мной беседовала будущая начальница с длинным, растрепанным по плечам конским хвостом. Оказалось, она тоже работала в свое время в Ситибанке

и тоже оттуда сбежала. Мое резюме трепыхнулось жалобным листочком в ее руках. Почему-то мне не стало страшно.

– Так, ты у нас знаешь C++. Отлично. То что надо. – Вроде без иронии. – Слушай, а как ты будешь тестировать программу, если к ней нет никакой документации с пояснениями, что и как должно работать? Вообще ничего нет.

– Ну-у-у, поиграю с этой программой, пока она не завалится, – радостно сообщила я.

Как выяснилось позже, это был единственно верный вариант действий в подобной ситуации, а именно в такой ситуации оказались люди, которых пачками нанимала на работу компания со смешным названием «ДаблКлик»[8].

Через пару дней я сидела в просторном зале среди сотни таких же счастливчиков. Предстояла неделя обучения. Постепенно картина прояснилась: «ДаблКлик» занимался рекламой в интернете. Тут мне понадобится маленькое отступление. Назову его «комментарий на полях».

Допустим: вы включаете телевизор. Пусть там показывают детектив, футбол, спектакль, последние известия или вечернее шоу. Без разницы. В любом случае через десять минут вам предложат новые марки автомобилей, средства для похудения, лекарство от поноса, женские прокладки и массу других совершенно ненужных вам вещей. Или вы включаете радио. Просто так. Вам нравится голос диктора, рассказывающего о благоустройстве вашего района. И что? Правильно. Через те же десять минут вас начнут зазывать в итальянский ресторан на другом конце города или посоветуют обратиться к врачу, лечащему импотенцию. Или вы отвечаете на телефонный звонок с неизвестного номера. Задушевный голос в трубке тут же зажурчит о дешевом сервисе похоронного дома в другом штате. Вы еще рассчитываете немного пожить, но это никого не интересует. Молодые девушки и юноши с безупречными улыбками стараются привлечь ваше внимание на улице, в хайвее, в автобусе, метро, поезде и самолете. Они приветствуют вас из вашего почтового ящика или с обертки рулона туалетной бумаги. Поначалу это раздражает, вызывает негодование и прочие неприятные эмоции, но в конце концов вы привыкаете к рекламе настолько, что перестаете ее замечать. И тут происходит неожиданный феномен: оказывается, она на вас воздействует! Вы никогда не купите первый попавшийся под руку тюбик зубной пасты, будете выбирать стиральную машину из десятка других и долго присматривать мебель для кухни. И если когда-нибудь вам придет в голову задуматься над тем, что же легло в основу вашего выбора, то где-нибудь обязательно отыщется след этой самой ненавистной и всем надоевшей рекламы. Двигатель прогресса? Ну да. На этом комментарий на полях можно было бы закончить, но придется кое-что добавить, потому что, когда и моя жизнь стала потихоньку перемещаться в интернет, я заметила там присутствие каких-то мигающих прямоугольничков и квадратиков. По привычке игнорировать все, что сверкало и зазывало, я их просто не замечала, не подозревая о том, как надолго свяжет нас судьба, – а если снизить пафос и сказать проще, то мне пришлось работать именно над тем, чтобы эти прямоугольнички и квадратики, а вернее баннеры, сверкали и зазывали не просто так, а в нужном месте и в нужное время на браузере ничего не подозревающего пользователя. У этой работы было свое название – таргетинг[9].

«ДаблКлик» занял десятый этаж здания на 33-й стрит. Когда-то здесь был каток с искусственным льдом, на котором тусовался весь Манхэттен. Потом мода на коньки прошла, и каток закрылся. Лед растопили, пол покрыли красным паласом от стены до стены, а под полом протянули разноцветные провода, соединившие сотни три рабочих мест. Закутков здесь не было, одно огромное пространство, и мое место – как раз посередине. Под высоченным потолком висела металлическая труба диаметром не меньше метра. Время от времени где-то что-то с лязгом включалось и из трубы начинало задувать. Приходилось надевать худи и теплые носочки. Вообще-то мне все здесь ужасно нравилось: новенький персональный компьютер, уютный кубикл, приглушенный гул человеческих голосов, приветливые лица, причем все очень молодые. Соседом слева

[8] От англ. double click — двойной щелчок мышки.

[9] Рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно ей.

был пакистанец Раза, справа – Хассим откуда-то из Африки, даже знающий несколько русских слов в дань любви к моей распавшейся родине, напротив сидела китаянка Венди, рядом с ней – пуэрториканка Мирна, русская девушка, вернее, рано вышедшая замуж и обремененная тремя детьми, Саша, сидела в следующем ряду. Изредка мимо пробегала похожая на лошадку, вечно озабоченная начальница Филис. Да, еще был менеджер, тот самый парень с голыми коленками и в футболке, который опоздал на мое интервью. Фрэн. Он-то и взял меня в свою команду тестировать программу со смешным названием «Пушер», он же показал, как подключаться к этому самому «Пушеру» и пожелал удачи на тяжком пути познаний. Подключившись, я не увидела ничего, кроме серого экрана, по которому шла непрерывная строка. Судя по всему, «Пушер» был трудягой, выбирающим информацию из базы данных и посылающим ее рекламным серверам. После недели обучения интернет представлялся мне средой обитания особи, получившей имя «Пользователь», но я, конечно же, еще не знала всего размаха развязанной на нее охоты. Хищники делились на два лагеря: веб-издатели и рекламщики. Зачарованная красотой сайтов, особь гуляла по виртуальным просторам, попадаясь в ловушки, расставленные рекламщиками. С появлением «ДаблКлика» эти беспорядочные прогулки стали отслеживаться и систематизироваться. Теперь в гудящих на нашем этаже серверах хранилась информация на всех, кто когда-либо кликнул мышкой на баннеры, точнее, на баннеры рекламщиков, заключивших с нами договор. А дальше все шло по обычной схеме: баннер вел на рекламируемый сайт, где совершались покупки. Компания-продавец платила издателю и рекламщику, а те платили «ДаблКлику». Да, деньги они платили не только за клики, но и просто за показ рекламы. Вообще-то выставить рекламу там, где она лучше всего работает, дело совсем не простое. Интернет – это ведь не рекламный щит, посылающий благую весть всему миру. За таргетингом стоит сложнейший расчет, который начинается с невинного слова «куки». Это крошечный файл, сидящий в вашем компьютере, визитная карточка, по которой вас можно отследить: откуда, когда и куда вы ходили, что искали, что купили. И так далее. Вот эту самую информацию и выбирал «Пушер» из базы данных и посылал ее в виде файлов рекламным серверам, а уже те, следуя сложнейшей логике таргетинга, отправляли баннер пользователю. Так что, кликнув всего один раз на картинку бутылочки «Кока-колы», не удивляйтесь преследующей вас повсюду рекламе этой фирмы.

Если бы еще знать, как этот «Пушер» тестировать. «Играть, пока не завалится», – со злостью вспоминала я свой самонадеянный ответ на интервью. Оставалось только, прилипнув к монитору, не сводить глаз с бегущей строки. В капюшоне и теплых носочках... изредка подскакивая за стаканчиком кофе из автомата в кафетерии, согревая замерзшие руки о его бумажные бока... Представляю, как я смотрелась. Поначалу Мирна заглядывала ко мне, чтобы просто поболтать и отдохнуть от надоевшей работы, но я с таким отчаянием в глазах отрывалась от экрана, что ей становилось неловко за назойливость. Вообще-то, присмотревшись повнимательней, я заметила, что далеко не все так уж увлечены процессом тестирования. Саша большую часть дня воспитывала свою троицу по телефону. Ей просто было некогда сосредоточиться на чем-нибудь еще. Сосед слева часами играл в пинг-понг в комнате отдыха. Венди безостановочно долбила по клавиатуре в чате с подружками. И только я одна, в приступе какого-то неуправляемого страха, выглядывала поверх стенки своего кубикла и посматривала в сторону богов: маленького лысенького Винса Ли, написавшего код всех рекламных серверов «ДаблКлика», и длинного высокомерного Феликса Ло, программиста, с которым я должна была работать над «Пушером». Феликс меня игнорировал, никакой помощи от него ожидать не приходилось. Дело дошло до того, что однажды ночью я себе приснилась в виде базы данных, по которой неумолимо двигался «Пушер», запрашивая информацию таргетинга. Других признаков сумасшествия вроде бы не наблюдалось. Мама сказала, что все обойдется.

И все обошлось. Где-то через месяц я нашла первый баг[10] в коде программы и послала Фрэну месседж с описанием проблемы. Вообще-то он нравился мне все больше и больше. С ним было легко, никакого давления и командного тона. Братишка, но братишка умный и прекрасно раз-

[10] Жаргонное название ошибки в программировании.

бирающийся в своем деле. Он тут же подошел, подбрасывая на ходу желтый теннисный мячик. Какое же это было счастье – услышать от него «Good job!». Выглянув из кубикла, я видела, как Фрэн, шлепая мячик об пол и ловя его на ходу, направляется в сторону богов. О чем они говорили, было не слышно. Немного позже прилетел месседж от Феликса с благодарностью и новым кодом. Это надо ж, снизошел. Так начались мои настоящие будни. В результате мы прекрасно сработались в паре. Высокомерие Феликса сдувалось, как только я находила ошибку в его коде, а такое случалось довольно часто. Теперь можно было немного расслабиться и даже поиграть в пинг-понг с Разой. Разгромив меня пару раз, он проникся ко мне каким-то доверием и поведал свою грустную историю: родители в Пакистане нашли ему невесту, он летит знакомиться и жениться, но в Квинсе у него любимая подруга. Американка. У меня лицо вытянулось от сочувствия.

– Может, это... объяснить родителям...

– Да какой там, – с обреченностью махнул рукой Раза.

Он исчез месяца на два.

Сейчас мне кажется, что работа в «ДаблКлике» была лучшим временем моей жизни. Мне нравилось ездить туда в переполненном поезде метро, вливаться в бесконечный людской поток на Пенн-стейшн, впитывать энергию манхэттенского утра, радостно улыбаться швейцарам у подъездов небоскребов в ответ на «Good morning, miss». Мне даже нравилась бесплатная пицца, за которой мы выстраивались по вторникам в длинную очередь, хотя раньше я ее терпеть не могла. «ДаблКлик» тоже переживал свои лучшие времена. Реклама в интернете приносила отличные доходы. На десятом этаже всем уже не хватало места. Пришлось переехать на шестнадцатый, с окнами на Башни-близнецы и статую Свободы. Довольно скоро я научилась заполнять паузу в летящем наверх скоростном лифте, жалуясь кому-нибудь на предстоящий дождь или прошедшие снегопады. Зато долетев до шестнадцатого, тут же забывала про все погодные неурядицы и торопливо семенила к небольшой кухоньке с новенькой никелированной кофеваркой, где всегда крутился наш главный системный администратор Крис Честертон. Несмотря на легкий жирок (результат любви к пиву и жареным куриным крылышкам), его лицо еще сохраняло аристократические черты, доставшиеся в наследство от англосаксонских предков. Мне все чаще приходилось иметь с ним дело: компания спешно закупала новые майкрософтовские сервера, и я устанавливала на них нужное программное обеспечение. Немного поболтав ни о чем (особый вид общения офисных работников), мы спешили на утреннюю оперативку. Вообще-то там собирались менеджеры, а не тестеры вроде меня, но никто никогда никого не выгонял, и встрянуть тоже можно было, но только по делу. Интересное это было сборище. Места всем не хватало, стул уступали только всегда опаздывающей Филис, остальные, сложив ноги крестиком, пристраивались на полу, и сидели так далеко не рядовые сотрудники. Как-то я представила начальство Ситибанка, присевшее на пол. Юбки в обтяжку, галстуки и костюмы-тройки. Смешно. Как же я там проработала два года? Удивительно. Ну да ладно. Короче, за ночь что-нибудь нет-нет да и случалось, но узнавала я об этом наутро, втиснувшись в оперативную комнату. Помню, новая версия «Пушера» завалилась два раза подряд на японской рекламе. Дело неприятное, для тестирования не хватало трафика. Код с багом пошел в продакшн[11]. Японцы теряли деньги, «ДаблКлик» терял деньги и репутацию. Конкуренты обступали. Я сидела как в воду опущенная, Фрэн оправдывался как мог. В воздухе повисло тягучее напряжение. И тут подал голос милый Крис Честертон. А не надо, говорит, выпуск в продакшн начинать с Японии. Все головы повернулись в мою сторону. А с кого же начинать, спрашиваю. У них там всего два десятка рекламных серверов. Убытки минимальные. А вы начинайте с Франции, говорит, они и так нас ненавидят. Шутка, конечно, удачная. Я с облегчением хохотнула. Обстановка разрядилась. С тех пор выпускать новый код в продакшн всегда начинали с Франции.

По шестнадцатому этажу стали ходить слухи о том, что «ДаблКлик» ищет партнера за границей. Кое-кто заволновался. Саша ни с того ни с сего пошла со мной на ланч. Что ты думаешь, спрашивает. Ничего не думаю, примус починяю, говорю. Про примус она не очень поняла, но

[11] Запуск в производство.

такое отношение к угрозе потери рабочего места, по-моему, ей не понравилось. Тем не менее она же мне рассказала про переговоры с российской компанией из Москвы. Менеджерам ребята приглянулись, проекты их смотрелись прилично, вроде там уже что-то начали совместно обсуждать, только вдруг их руководитель и говорит: «Наше условие – самостоятельное принятие решений».

– Представляешь? – фыркнула Саша. – Это ж тот самый случай, когда самостоятельность противопоказана.

Конечно, ни о каком контракте не могло быть и речи.

Через несколько лет «ДаблКлику» снова не удалось поработать с русскими. Мне-то как раз очень нравилась команда из Питера, но что-то снова не заладилось, и ребята исчезли с радара. Зато моим соседом вместо Разы стал индус Сунил. Но сначала про Разу. Он таки вернулся из Пакистана с юной женой. Ее тонкое лицо в обрамлении каких-то невероятных золотых украшений смотрело с фотографии, выставленной Разой напоказ. Родители постарались и нашли ему красавицу.

– Может, все и обойдется, – обнадежила меня мама. Она была в курсе некоторых историй шестнадцатого этажа.

Мы снова стали играть в пинг-понг и время от времени вместе ходили на ланч. И вдруг он пропал. Нет и нет. Где-то в середине недели ко мне прибегает растрепанная Филис:

– Ты случайно не знаешь, где Раза?

– Понятия не имею.

– Мне его жена звонила. Возмущалась тем, что я его отправила в длительную командировку. А я, вот тебе крест, никуда его не отправляла. Так ей и сказала. Теперь не знаю, что делать, вдруг с ним что-то случилось?

И дальше побежала. С Разой, однако, ничего не случилось. Он тихо появился и вскоре так же тихо исчез, только уже навсегда. Иногда я смотрела на Филис, на ее растрепанный конский хвост, ножки, обутые в вечные кроссовки, и думала: способна она уволить за супружескую неверность или это только Разе не повезло?

С Фрэном тоже была история. У меня произошла страшная неприятность: ни с того ни с сего грохнулся рабочий компьютер. Что-то быстренько промелькнуло – и все. Смерть. Синий экран. Потеря всего, что уже накопилось на диске, а там немало. Что делать? Первый рывок – к менеджеру. Вижу, он как-то странно сидит в проходе на столе в позе йога. И запах знакомый чувствуется уже издалека. Парень-то свой. Ирландец. Но я расстроена настолько, что значения не придаю и делюсь печальной новостью. Счас, говорит, поможем. И чуть не падает со стола. Делать нечего. Иду к себе. Жду. Прибегает с отверткой и начинает шуровать. Под столом что-то откручивает, и работа у него, судя по всему, весело идет. Напевает. Пел-пел и вдруг затих. Я ему: Фрэн, ты там чего? Молчит. Заглядываю: боже. Он там прикорнул. Будить не стала, ушла домой. На следующее утро как ни в чем не бывало говорит: извини, починить не получилось – и глаза в сторону. Еще бы у него получилось. Крис мне в тот же день заменил диск и установил новую версию «Майкрософта», а уж все остальное я сама потихоньку добивала, но за Фрэна тревожно как-то стало. И тут Филис его буквально спасла. Не знаю, о чем они каждый день говорили, но в позе йога на столе он мне больше не попадался. Да, совсем забыла про Сунила. «ДаблКлик» нашел-таки подрядчика в Индии. Компания называлась «Сайбейдж» и готова была выполнять любые заказы без малейшего поползновения на принятие самостоятельных решений. Мне кажется, у них даже девиз был такой: «Сделаем все что хотите, только платите». Платили им, кстати, мало, но зато мы получили Сунила Патака на тестирование рекламного сервера. Скоро выяснилось, что он получше некоторых наших программистов. Работать с ним было одно удовольствие. К тому же он оказался милым и скромным парнем. Мы подружились, и я узнала еще одну печальную историю. Жениться на любимой девушке он не мог, ее родители были категорически против. Какие-то там кастовые различия. Бог их знает. Сунил был родом из глухой деревни. «Ты когда-нибудь видел слонов?» – просто в шутку спросила я. «Сколько угодно». – «Ну а тигров?» – «И тигров тоже видел». Тут я прибалдела: «А где ты видел тигров? Они же страшные». Сунил как-то мягко улыбнулся: «Они

заходили иногда к нам на задний двор. Не могу сказать, что они такие уж страшные». Вот так. Потом он станет успешным программистом, будет работать в одной из лучших компаний мира, а приехав домой в отпуск, увидит, если повезет, тигра на заднем дворе.

Оказывается, взрослые обожают Хэллоуин не меньше детей. В тот день сотрудникам «ДаблКлика» было велено принарядиться во что-нибудь «ужасненькое». Все постарались как могли. Ассортимент начинался с кокетливых кошачьих ушек и кончался картонными гробами, прикованными цепями к монстрам непонятного происхождения. Уже на лестнице меня встретил зеленый динозавр с незакрывающейся пастью, из которой виднелось потное лицо Криса Честертона, за ним следовали полчища скелетов, колдуньи в широкополых шляпах с накладными горбатыми носами, Гарри Поттеры, всевозможные зомби и супермены. На мне было (идея, не одобренная мамой) подвенечное платье, заляпанное красной краской. Мамина тайная мечта о том, что я встречу «достойного» молодого человека на рабочем месте, не осуществлялась. Надежды на Рики Чина, программиста, с которым я ходила один раз в кино на «Властелина колец» и проиграла весь вечер в компьютерную игру у него дома, не оправдались. Рики закончил Колумбийский университет, там же получил ученую степень, кодировал как бог и походил на ослика Иа из знаменитой сказки. Во всем, что не касалось программирования, он был уныл и скучен. Впрочем, мне ужасно нравился его легкий сарказм, и мы оставались приятелями. Влюбиться в этого лысеющего ослика в больших очках, даже ради спокойствия мамы, я не могла.

Вообще-то про любовь все непонятно. Или, наоборот, все понятно. Ну хорошо. Понятно, но не все. Тогда почему же я все сразу поняла в тот Хэллоуин? Но если по порядку, то: где-то ближе к ланчу нам пришло приглашение спуститься на десятый этаж, куда мы и повалили шумной разноцветной толпой. Там веселая толкучка распалась на две длинные очереди за праздничным угощением. Не помню, что слегка дымилось в моей пластмассовой тарелочке, когда все расступились и раздались голоса «Кевин... Это же Кевин... Кевин... Тихо». И Кевин О'Коннор собственной персоной предстал в коротком бархатном плаще и высоких сапогах в двух шагах от меня. На боку у него висело какое-то подобие шпаги, на длинных, почти до плеч русых волосах сбился на ухо бархатный берет. Кто-то посчитал его Котом в сапогах, но где же в таком случае был хвост? А усы? Нет-нет. Он был хрупким принцем с прекрасными чертами, создателем и владельцем «ДаблКлика», еще одним гением с окраин. От непонятно откуда взявшегося волнения я плохо запомнила, что он говорил. Кажется, что-то про наши то ли шесть миллионов, то ли шесть миллиардов кликов в день, не иначе как мировой рекорд в интернетовской рекламе, и все благодаря нам, молодым и талантливым людям, работать с которыми одно непрестанное счастье. Он скользнул глазами раза два по моему лицу, не заметив, как оно дрогнуло. Почему-то стало грустно. Где-то в стороне, стоя с тарелочкой в руках и прислушиваясь к оживленному шуму, я наблюдала за передвижением бархатного берета в толпе, но интерес к происходящему пропал. Пришлось сбежать, вяло помахав рукой Рики.

Дома, смыв тушь с ресниц и надев халат, я показала маме найденное в интернете интервью с Кевином О'Коннором.

– Ма-а-а-ам, он полгода просидел запершись в подвале и пытался придумать, как сделать деньги на рекламе в интернете. И ведь придумал! Ну разве не гений?

Услышав незнакомые нотки в моем голосе, мама задержала взгляд на фотографии Кевина.

– Знаешь, моя дорогая, в твоем возрасте я влюбилась в артиста Жана Маре. Что уже само по себе было безнадежно, к тому же выяснилось, что он еще и гей.

– Ну при чем тут Жан Маре? – рассердилась я. – У Кевина жена и дети.

Я и без нее знала, что все это безнадежно. Абсолютно безнадежно. И что же теперь делать?

– Как что? Страдать! – констатировала Кейла.

Я слышала, как ее малыш зашелся в требовательном плаче.

– Еще спортзал, тренажеры каждый день... ну-у-у... через день. Все. Лапа, позвони потом.

Кейла отключилась, а я продолжала держать мобильник в руке. Какая же она мудрая женщина, в смысле всегда знает, что мне делать.

В будни работы навалилось так много, что было не до тренажеров. Во всем мире беспрестанно кликали на баннеры, база данных росла как сумасшедшая. «ДаблКлик» то и дело открывал новые центры с рекламными серверами. Мы то и дело получали новый код от Винса Ли и Феликса Ло. Тестировали с лету и мгновенно выпускали в продакшн. «Пушер» с серверами то и дело заваливался. Тогда снова – код с исправлениями, тестирование наспех и выпуск. Получив наконец лэптоп, я теперь еще работала и по выходным из дома. Так прошло, кажется, года два, и называлось это work yourself to death[12]. Но самое странное, мне это нравилось. Ни одной посторонней мысли в голове, просто усталость. И все же в какую-то субботу я надумала выбраться в спортивный зал у нас в Бронксе. Вид полуобнаженных красавиц в раздевалке слегка озадачил. Это что же – всё страдалицы вроде меня? Что-то непохоже. Подозрение вскоре подтвердилось. Мускулистые юноши, поигрывая бицепсами, поджидали своих подруг у тренажеров. Их поочередные подходы к станкам по наращиванию мышц, интимные улыбки и откровенное восхищение друг другом были наполнены каким-то недоступным мне эротизмом. Неприкаянно послонявшись по залу, я увидела одиноко разминавшуюся хрупкую девушку. Стоя перед зеркалом, она с независимым видом проделывала довольно простые упражнения. Я уже было пристроилась поблизости с намерением немного поболтать, как тут девушка, слегка поднатужившись, вскинула на плечи небольшую, но внушительную штангу и начала приседания. На ее лице проступил сосредоточенный покой. Какие уж тут разговоры. Пришлось отступить к велотренажерам и с чувством обреченности налечь на педали. «Может, записаться в танцевальный кружок, там хоть подберут партнера», – крутанулось в голове. Впрочем, скоро всем стало не до танцев.

В то осеннее солнечное утро в Бронксе были какие-то выборы в местную администрацию. По пути к станции метро пришлось забежать в школу, где голосовали. Потом еще и поезд задержался. Словом, я опаздывала, чего страшно не люблю. Бегу и про себя сочиняю что-нибудь извинительное. Взлетаю на шестнадцатый этаж, в дверях натыкаюсь на Фрэна и начинаю виновато оправдываться, а он даже внимания не обращает и вообще куда-то мимо идет. Как странно. Ладно. Бегу к своему месту и вижу: у окна столпились люди. Господи! Шлейф дыма тянется от одной из Башен-близнецов. «Это что? – кричу, – что там случилось?» Самолет врезался. «Как врезался? Как такое может быть?» И пока мы стоим у окна, нас там много собралось, и ничего не понимаем, и пялимся на этот зловещий черный дым, серебряный самолетик, крестик на голубом небе, все ближе и ближе подлетает ко второй башне. «Не-е-т!» – успевает выдохнуть кто-то. Дальше вспышка. И я отхожу от окна. Что я помню еще? Остановку времени. У кого-то нашлось радио. Угнанные самолеты. Растерянность. Кажется, только один человек знал, что делать. Маленький Винс Ли сидел за компьютером, пока кто-то плакал, кто-то истерично пытался дозвониться до родных, кто-то был не в силах оторваться от окна. Его крошечные ручки деловито сновали по клавиатуре. Винс Ли удалял рекламу угнанных самолетов из нашей системы. «Не мешай, ладно? Интернет и так не тянет», – громко сказал он кому-то. Хотела бы я знать, догадался он сам или выполнял чье-то распоряжение. «Что же ты молчишь? Напиши хоть что-нибудь, хоть словечко», – мысленно прошу Кевина. Но Кевин молчит. Фрэн и Филис исчезли. На 33-й улице пусто, на Восьмой авеню малолюдно. Можно ли подходить к Пенн-стейшн? Может, туда вот-вот врежется следующий самолет? Рядом ни одного полицейского. Беспомощно побродив вокруг, выхожу на Девятую авеню и уже там вижу поток людей, идущих из даунтауна. Оттуда. Страшная молчаливая толпа. На многих почему-то нет обуви. Снова поднимаюсь наверх. Из окна вижу, как падают башни. Сначала одна, через какое-то время другая. Слышу, как кто-то плачет. Потом обрываются интернет и мобильная связь. На шестнадцатом этаже больше делать нечего. Метро работает. В вагоне тихо. Вдруг входит какой-то мужик с банкой собирать деньги для бездомных. Кто-то не выдерживает: «Пожалуйста, только не сегодня!» В ответ взметается тетка напротив: «Нет, сегодня! Именно сегодня!» Мужик насобирал свои доллары и дальше пошел, а в вагоне вспыхнула короткая перепалка. Никогда такого не было. Нервы у всех на пределе. Вечером с мамой у телевизора, от которого не отходим круглые сутки. Ночью приходит-таки имейл от Кевина. Никто из

[12] Уморить себя до смерти работой (англ.).

сотрудников «ДаблКлика» не пострадал. В офис не приходить до конца недели. Для желающих открыта психологическая помощь.

Странное дело, я не помню ни одного разговора на работе о том, что случилось. Все молчали. Никаких обсуждений, даже реплик. Просто какой-то заговор молчания. Теперь с моего места виднелась только одиноко торчащая статуя Свободы. Иногда я туда поглядывала, но все больше сидела, уткнувшись в компьютер, и как-то не сразу заметила, что делать-то особенно нечего. Еще в августе была спешка и гонка, а уже в октябре стало нечего тестировать. Пошла к Феликсу. Где работа, говорю. Он только плечами пожимает. Всезнающая Саша прояснила ситуацию: программирование ушло в Индию, туда же ушло и тестирование, а куда мы пойдем, сама догадайся. Вокруг и правда одни пустые места. Люди начали тихо и незаметно исчезать. Филис на работу стала приходить к обеду с какими-то сумками и пакетами. Пошепчется с Фрэном и опять убежит. А в один из понедельников со мной в лифте ни с того ни с сего расшаркивается незнакомый мужчина и спрашивает про мои дела. Хорошо, говорю, просто прекрасно, а сама пытаюсь его имя на бейджике прочитать, потому что просто так чужими делами в лифте не интересуются. И точно! Он оказался нашим новым директором вместо Филис. Всех с шестнадцатого этажа собрал, какие-то ободряющие слова сказал, и никто ему, конечно, не поверил. К ноябрю совсем глухо стало. Нас обратно на десятый перевели, чтобы оставшихся работников держать в одной куче, а потом и новый директор исчез, его имя тут же забыли. Тогда-то Фрэн и стал начальником. Что, кстати, было совсем неплохо, но я на всякий случай кое-какие книжки по программированию перетащила домой. И вот где-то перед Днем благодарения к нам приехал сам Кевин О'Коннор. Почему-то он не собрал нас всех сразу, а потратил целый день на встречу с группами в десять-пятнадцать человек. До сих пор не знаю, зачем ему это понадобилось. Оставшихся тестеров он усадил в оперативной комнате, а сам подсел настолько близко, что я смогла разглядеть все маленькие пуговички на его рубашке. Как настроение, спрашивает, про планы «ДаблКлика» рассказывает. Делится с нами своим оптимизмом. Звучит хорошо, бодро, но всем грустно. Никто не верит ни одному его слову. А я вот думаю: скажи он тогда что-то типа того, что, мол, ребята, кризис у нас сейчас, ситуация говняная, придется вас уволить, то я бы его даже зауважала за искренность. Но ничего такого он не сказал. Видимо, во время кризисов сотрудников огорчать не полагается. Мало ли что могут натворить отчаявшиеся люди. Вежливо выслушав его лажу, мы потянулись к выходу. С ободряющей улыбкой Кевин прощался с каждым за руку. И тут я заметила, что совершенно равнодушно подала ему свою, даже не подала, а как-то подбросила без малейшего трепета от прикосновения к любимому человеку. Как же так, раньше трепет был, а теперь пропал? Пришла на свое место, взглянула по привычке в темнеющее окно с единственной мыслью: «До праздника вышвырнут или после?» Вышвырнули как раз перед Днем благодарения, но с отличным выходным пособием. Ну что ж. Спасибо и на этом, Кевин!

Мама держалась прекрасно. На кухне она произнесла проникновенную речь о том, что потеря работы в моем возрасте открывает путь к новым неограниченным возможностям совершенствования личности. Или что-то типа того. Мне даже стало интересно, откуда она набралась такой оптимистичной чуши, зная по-английски только слово «гарбидж». Видимо, это витало в воздухе Бронкса. Правда, был еще телевизор, но особого жизнелюбия в российских программах как-то не замечалось. В любом случае рынок рабочей силы оставлял желать лучшего. Интернетовские компании перестали нанимать. «Так и будет до весны, – спрогнозировала всезнающая Кейла, – деньги-то у них есть, но они не спешат вкладываться». Оставалось только ждать.

Между тем надвигался праздник, который мы никогда не отмечали, не понимая, почему из весьма отдаленной сопричастности к первым американским поселенцам должны в этот день поедать несчастных индюшек. На этот раз мама удивила: в супермаркете она купила увесистого индюка, каких-то подливок и сладкой картошки. Ну и кто это все будет есть, говорю, а она мне как ни в чем не бывало: «Завтра к нам придет гость. Молодой человек. Помнишь Капу из Квинса? Это ее племянник». Господи, какая Капа из Квинса и причем тут ее племянник? И тут до меня дошло, что мама подыскала мне кавалера. Не очень-то она рассчитывала на открывшиеся передо мной неограниченные возможности. Можно было, конечно, взбунтоваться, но с другой стороны

– наплевать. Племянник Капы так племянник Капы. Не обижать же маму. Индюк отправился в духовку, когда я еще спала. Потом мама ринулась в парикмахерскую и без очереди прорвалась на укладку. Когда, позевывая и шаркая тапочками, я появилась на кухне, она уже вовсю хлопотала, подвязав сеточкой залитые лаком волосы. Все это выглядело так, как будто молодой человек собирался познакомиться не со мной, а с ней. К тому же она надумала печь какие-то пироги.

– Не какие-то, а с клюквой, твои любимые. Но это уже после индюка. Представляешь, ему предстоит там сидеть пять часов, – мама пальцем, испачканным в муке, ткнула в сторону духовки.

– И что мы будем делать с таким количеством еды? – искренне удивилась я. – Тут же хватит на взвод солдат.

Так всегда говорил папа, ужасаясь размаху маминого кулинарного творчества. Нечаянно оброненная фраза вызвала воспоминания и у нее. Мне было видно, как она перевела дух, чтобы сдержать слезы, и с удвоенной энергией навалилась на тесто, расплющенное на дощечке.

– Ну-у-у, придется раздать бедным людям, не умирать же тебе от обжорства.

Бедных людей в Бронксе хватало. Так что идея, в конце концов, была неплохая. Правда, мы еще не знали способностей племянника Капы.

Вопреки моим ожиданиям, он оказался совсем не безнадежным. В дверях стоял невысокий человек с довольно приятным лицом и протягивал мне три желтых хризантемы в целлофановой упаковке. Борис. Очень приятно. На вид лет тридцать пять. Уже слегка лысеющий и какой-то весь узкий. В костюме и галстуке. Пришел в гости, как на интервью. «Отцвели уж давно...» – не удержалась мама, но быстро осеклась и перешла на легкий щебет. Борис снял плащ и с готовностью просунул ноги в оставшиеся от папы тапочки. Разговаривая с мамой, он изредка оценивающе поглядывал на меня. Я молчала. Мама бросала умоляющие взгляды, означающие призыв к соучастию. Надо было подключаться. И я что-то спросила. Кажется, как он добрался до Бронкса. Борис обстоятельно, слегка растягивая слова, начал рассказ о плохой работе нью-йоркского метро и отмененных поездах. Странное дело, чем подробнее он излагал, тем явственнее я слышала шум дождя за окном, шаги соседей сверху, хлопанье дверей на лестничной площадке и осторожное звяканье посуды на кухне. Это мама прислушивалась к его монотонному голосу и не понимала, почему молчу я. Она надеялась на оживленный диалог, который все никак не завязывался. Когда тема метро исчерпала себя, Борис спросил, чем я занимаюсь «по жизни». Так и сказал. Пришлось рассказать, но кратенько и без подробностей. Справившись с ответом, я снова замолчала. Деликатному терпению мамы на кухне пришел конец, и она начала торжественный вынос блюд. Появление индейки, покрытой коричневой прожаренной корочкой, изменило настроение в гостиной. Я с готовностью захлопала в ладоши, Борис как-то встряхнулся. На столе появились закуски с салатами, селедочка в луковых колечках и бутылка шампанского, о которой я и не знала. Пробка с легким дымком хлопнула в довольно умелых руках гостя. Свой первый бокал я выпила с нескрываемым удовольствием. Сразу полегчало, напряжение от неестественности ситуации быстро испарялось. Добавив еще и рюмочку «сухонького», я уже вполне дружелюбно наблюдала за тем, как мама отпиливала ногу индейки для Бореньки, и в ужасе отказалась от второй, нависшей над моей тарелкой. Кажется, что-то все-таки пришлось съесть. Говорили о погоде, кризисе доткомов и включили телевизор с музыкальной передачей, а перед десертом мама запела «Я ехала домой» и «Не уезжай, ты мой голубчик». Тут я почему-то расплакалась. Борис сочувственно сжал мой локоть. Пришлось высморкаться в бумажную салфетку и навалиться на большой кусок пирога с клюквой. Все-таки мама оставалась единственно близким мне человеком. И зачем нам этот Борис? Сбоку мне было видно, как двигается его ухо, когда он жует. Небольшая рука, выставившаяся из поношенного рукава пиджака, слегка подрагивала. Невысокий мужчина с маленькими руками. Интересно, какие у него ноги. Скатерть мешала заглянуть под стол.

– Боренька, ей больше не наливать, – испугалась мама.

– Да ладно, – огрызнулась я. – В Квинс ехать далеко и долго, а метро у нас сами знаете как работает.

– Ну, Боренька может заночевать у нас...

Тут уж испугался Борис. Он засуетился и залепетал про то, как ему было ужасно приятно с нами познакомиться.

– Ага! – закричала я, разглядев, что ему великоваты папины тапочки, но мама сверкнула глазами и вовремя вытеснила меня из коридора. А что было потом, не помню или не хочу вспоминать.

На следующий день я отнесла тушу холодной индейки, завернутую в фольгу, своей подружке, той самой, у которой был ребенок от неизвестного отца.

– Нет, так нельзя сидеть целый день. У тебя будет искривление позвоночника.

Про позвоночник я слышу с первого класса.

– Ну что можно делать за компьютером, не вставая по несколько часов?

В какой-то степени мама права. Делать мне за компьютером нечего. Рассылка резюме занимает от силы два часа. Остальное время уходит на какое-то бесцельное шатание по интернету. Но зачем-то мне это надо. Наверное, успокаивает.

– И освещение у тебя неправильное. Так же можно испортить глаза.

Интересно, что она имеет в виду? То, что дневной свет падает на компьютер слева, а настольная лампа стоит справа? Но я с детства люблю смотреть в окно. Вот и сейчас, сидя за письменным столом, я вижу наш квадратный двор с деревом посередине. Его голые ветки дотягиваются до четвертого этажа, а ствол уже обмотан гирляндой маленьких лампочек, загорающихся в темноте. Красиво. В Бронксе пооткрывались елочные базары и сразу же началась предновогодняя суетолока. А от агентов за целый месяц ни одного звонка. Скорее всего, Кейла была права. Я, кстати, выбралась в какие-то выходные посмотреть на ее дом в Апстэйте, который они с мужем купили в кредит на тридцать лет. Большой и холодный. Похож на приземистый скворечник, сколоченный из серых досок. Кейла встретила меня в толстом свитере, дети – в соплях. Отопление дорогое, налоги высокие, экономия на всем. Все понятно, жить мне в Бронксе до конца своих дней. Но когда детишек накормили и уложили спать, посидеть у камина было очень даже душевно. Муж Кейлы подбросил туда побольше поленьев, чмокнул ее в щеку и ушел наверх, а мы болтали до полуночи: вспоминали Ситибанк, несчастного Стаса и Джун, которая выбилась в большие менеджеры и ужасно зазналась. Потом я рассказала про то, как бесславно закончилась моя дурацкая влюбленность в Кевина О'Коннора и про званного на дом кавалера Бореньку. «Слушай, – оживилась Кейла, – а что ты, собственно говоря, разбрасываешься кавалерами? Чем он тебе плох?» Что ответить на этот вопрос? Ничего не сказала рыбка, только хвостиком махнула и пошла спать. Спать на новом месте всегда неуютно, да еще в одежде, пытаясь согреться под тонким одеялом. И пока рыбка крутилась без сна, ей в голову стучала одна мысль: тебе, рыбонька, уже двадцать пять лет, и нету у тебя ни дома, ни мужа, ни детей, даже работы нет, и кавалера нет тоже. Надо с этим что-то делать. Знать бы что.

Вернувшись от Кейлы, я завела с мамой осторожный разговор о нашем госте. Оказывается, Борис оставил ей номер телефона и она с ним время от времени перезванивалась. Сюрпрайз, сюрпрайз! Не дожидаясь вопросов, мама поделилась добытой информацией: работает на государственной службе, что-то типа нашей санэпидемстанции, деньги небольшие, но отличные бенефиты, расстался с некой Мариной полгода, а может, год назад. Что-то там еще, не помню. Какая мне разница? Никакой. И я купила два билета на бродвейское шоу. Борис страшно удивился моему звонку и, кажется, обрадовался. Мы встретились как старые знакомые у входа в театр. Под гвалт семейства молочника Тевье я думала... Нет, я ничего не думала, я то и дело прислушивалась к своему соседу, искоса поглядывая на его профиль, освещенный светом рампы. Мюзикл ему нравился. После первого действия он долго хлопал маленькими руками и в антракте угостил меня стаканом апельсинового сока. Вот тут я подумала: билеты стоили четыреста долларов... И мне стало за себя неловко. Ведь я сделала человеку приятное, разве не это главное? А потом произошло совершенно непонятное, то, чему я и сейчас не могу найти объяснения. Я поехала к Боре в Квинс. В метро мы почти не разговаривали, он слегка поддерживал меня за локоть. У меня не было ни одной мысли в голове, только ощущение, что мне это зачем-то надо. Никакого желания, никакой любви, но надо – и все. Вопреки ожиданиям, квартирка одинокого мужчины оказалась чистенькой и уютной. Мы по очереди приняли душ до и после. Боренька сменил простыню с кровавыми потеками, и, пока снова мылся, я лежала и думала: зачем же мне это было нужно? Первый

мужчина. Могло быть хуже. Потом он рассказывал о Марине и о разрыве с ней, а мне было все равно, и я уснула. Конечно, мама все знала, да я и не скрывала от нее, куда мы отправились после мюзикла. В конце концов, разве не этого она хотела? Где-то раз в неделю мы ходили с Борей в кино, бывали в недорогих ресторанах, но всякий раз, когда он сжимал мне локоть и предлагал «зайти к нему», я отказывалась по разным причинам. Месяца через три, уже весной, он позвонил и сказал, что в ближайшее время будет очень занят и, вполне возможно, переведется в новый офис на Лонг-Айленде. «Как жалко», – притворно расстроилась я. Звонок был сделан с телефона Марины Гарбер. Интересно, он что же, не подумал о том, что у нашего телефона в Бронксе есть определитель номера, или ему было наплевать? А может, это было скрытое послание? Не знаю. Больно? Нет, скорее противно. Так закончилась история с Боренькой. «Больше никогда-никогда ни с кем меня не знакомь», – сказала я маме. В сущности, она была ни в чем не виновата, тем более что Капа представляла своего племянника исключительно порядочным человеком, а это больше всего ценила в людях моя мама.

Наверное, я бы встретила переход от зимы к весне тяжелой депрессией, если бы не имэйл Фрэна с неожиданной новостью: «ДаблКлик» снова набирает людей на работу. Согласна ли я вернуться к тестированию «Пушера»? Я ответила коротко: да! Мое возвращение было встречено сдержанно. Никто особенно не обрадовался. Из стареньких остались только Саша и Сунил да милый Крис Честертон. К «Пушеру» приставили еще больше облысевшего Рики Чина, по которому я даже скучала. Надменного Феликса Ло унесло потоком сокращений. Сотрудники «ДаблКлика» ютились сиротливыми кучками на громадном пространстве десятого этажа, некогда забитого до отказа. Шестнадцатый так и пустовал. Главным сюрпризом оказался Фрэн, превратившийся за каких-то полгода из братишки в важного начальника. Он раздался в толщину и остепенился. Мне было жалко, что я больше не вижу в его руках теннисного мячика или отвертки. И все же я была ему благодарна хотя бы за то, что он меня вспомнил и взял обратно на работу. Была и приятная неожиданность – появление нового финансового директора, оказавшегося поэтом. Серьезно. Это как-то не вязалось с его внешностью. Здоровенный мужик, как говорится, косая сажень в плечах с накачанной мускулатурой. Уже одно это не вмещалось в мои представления о финансистах, хотя кто их знает, но отчеты в стихах! Его зарифмованные выступления на собраниях вызывали бурный восторг. Их суть сводилась к тому, что для выживания «ДаблКлику» нужно во что бы то ни стало избавиться от бывшего катка, аренда которого съедала все доходы. К концу лета какой-то банк польстился на наши хоромы, и мы переехали в даунтаун, в дом номер 111 по Восьмой авеню, не поверите, снова на десятый этаж. Этот дом показался мне необычным даже для Манхэттена. Строили его в тридцатые годы, когда архитектура была охвачена очередным приступом гигантомании. Где-то я прочитала, что он не уступал Эмпайр-стейт-билдинг. Размеры и вправду впечатляли: прямоугольник, вытянувшийся с Восьмой по Девятую авеню и с 15-й по 16-ю стрит. Кажется, архитектор готовился возвести невероятную махину и в высоту, но что-то оборвало его творческий полет на шестнадцатом этаже. Скорее всего, просто не хватило денег. Вывеска Port Authority на фасаде наводила на мысль о принадлежности здания к нью-йоркскому порту. Мне сразу же понравились закрывающиеся с лязгом старые грузовые лифты, куда можно было загнать пару автомобилей в придачу ко всем тестерам «ДаблКлика». В остальном же все выглядело так, как и положено выглядеть офисам во всем мире: кубиклы, километры разноцветных проводов, спрятанных под полом, неоткрывающиеся окна во всю стену, искусственная вентиляция – с той лишь разницей, что на этот раз задувало не из трубы под потолком, а несло снизу из квадратных решеток в полу, которые мы тут же стали заваливать чем попало.

Бутерброд, купленный на ланч в небольшом магазинчике на углу Восьмой авеню и 14-й стрит, я съедала в садике с фонтанчиком, расположенном между небоскребом с дорогущими квартирами и многоэтажкой для бедных. В теплую погоду сюда стекались бездомные со всего района. Их подкармливали так же, как и слетающихся для легкой поживы голубей, кидали монетки в стаканчики, выставленные для подаяний. Однажды, опустив доллар в пустой бумажный стаканчик спящего на скамейке человека, я наблюдала за неожиданно разыгравшейся сценкой: к спящему не спеша подкатил другой бездомный и заглянул в его стаканчик. «Ну все, – подумала я, – про-

спал ты свой доллар, дружок». Оказалось, ничего подобного. Подкативший порылся в лохмотьях, вытащил откуда-то доллар и кряхтя опустил его в тот же стаканчик. Может, они были членами одного братства? Жизнь этих людей была совершенно мне не известна. Я всегда видела их спящими в метро или на скамейках, повсюду, где было тепло или прохладно в зависимости от времени года. А что они делали в короткие моменты бодрствования? Летом, в садике с фонтанчиком, я несколько раз видела бездомных, играющих в шахматы. Тоже зрелище. Но никто, кроме меня, не удивлялся виду странных шахматистов. С одинаковым равнодушием здесь принимали всех. Сюда добирались люди из близлежащей Гринвич-Виллидж. Эти выглядели совсем по-другому. Ни молодые ни старые, ни мужчины ни женщины. Дрэг-квин. Их иногда гоняла полиция. Скорее всего, за наркотики. А вообще районч ик живописный. Челси. Смешаны все и всё. Типичный Нью-Йорк. Отсюда мне было трудно возвращаться в убогий Бронкс, за который упорно держалась мама.

Что там было дальше? Много работы прежде всего. Я уже спокойно тестировала любую программу, связанную с таргетингом. Похоже, компания справлялась с кризисом, стали появляться новые проекты. Рики Чин, унылый Иа и первоклассный программист, довел наш старый «Пушер» до стабильного состояния, но мы все равно довольно часто продолжали работать и ночами, и по выходным. Сейчас воспоминания о тех шести годах сбились в какое-то серое стадо, как слоны, идущие на водопой в любимой маминой телепередаче. Помню, я подолгу не могла уснуть после работы, продолжая вращать в голове обрывки дневных дел, или наоборот, засыпала от усталости чуть ли не с котлетой во рту на нашей кухне, но тогда просыпалась часа в три ночи от давящего до слез чувства одиночества. После семи утра с этим чувством было легче справляться, и я мчалась со всех ног обратно на работу. Были и праздники с выходными, недельные отпуска с мамой на Карибах.

– Ну как можно отдохнуть за неделю? Организм не успевает восстановиться даже за месяц! – сетовала она.

Странное дело, мне вполне хватало недели, я даже начинала томиться, если приходилось затягивать отпуск чуть дольше. Словом, к тридцати годам я превратилась в отчаянного и безнадежного трудоголика, огрызающегося на вопросы, когда ты уже выйдешь замуж, да где же твой молодой человек, да как это нет? И тут совершенно неожиданно я получила поддержку от Кейлы. Правда, сначала выяснилось, что ее муж (кто бы мог такое подумать) завел роман на стороне, к тому же еще и с последствиями, в смысле его пассия была беременна и собиралась рожать. Пока у родителей шли разборки в доме, похожем на приплюснутый скворечник, двое детишек жили у нас в Бронксе под опекой моей мамы. Кейла подала на развод, дом выставили на продажу, и все было бы ничего, но как раз в это время разразился кризис. Цена на дом упала настолько, что продавать его не имело никакого смысла, а платить кредит неверный муж больше не мог, он потерял работу в банке. С большим трудом дом сдали какому-то врачу-косметологу. Кейла забрала детей и укатила на родину в Пуэрто-Рико, высказав перед этим моей маме все, что она думает о мужчинах. С ее слов выходило, что из всех ее знакомых я самая умная молодая деловая женщина, вовремя понявшая, что в жизни можно полагаться только на себя, а не на мерзавцев противоположного пола. Мне показалось, что эта прочувствованная речь (в моем переводе) наполнила маму чем-то вроде гордости, хотя ей и ужасно нравилось возиться с малышами моей подруги.

Вообще 2008 год был судьбоносным, ненавижу это слово, не только для Кейлы. Сама удивляюсь, как мне хватило ума не связаться с ипотекой, когда все вокруг накупили домов в кредит. Ни с того ни с сего объявилась потерявшая работу Джун. Ее страховая компания была на грани разорения. А ведь именно Джун советовала мне вложиться в пару домиков и обеспечить маме спокойную старость. Сейчас она расточала комплименты моей осторожности. На самом деле все было просто: потеряв работу один раз, я уже никогда не забывала, что это может произойти в любое время. И что делать тогда? Как выплачивать кредит? И кто польстится на мои домики, если в одночасье все сразу станут продавать такие же? Нет уж. Thank you very much. А где-то за год до кризиса я заметила какую-то подозрительную суету на нашем этаже. Не то чтобы дела у «Дабл-Клика» шли плохо, скорее наоборот, но к нам зачем-то зачастило большое начальство, начались какие-то секретные совещания. Что-то мне это напомнило, и я стала прислушиваться к сплетням.

Лучше всего в их потоках разбиралась Саша. Она-то мне и поведала, что нас задумали продать.

– А кому? – испугалась я, испытав ужас героев «Хижины дяди Тома».

– Вариантов всего два: «Гугл» или «Майкрософт».

И откуда она все всегда знала? Удивляюсь. Видимо, мое лицо выдавало чувства, которые Саша истолковала немного по-своему.

– Ну чему ты удивляешься, технология-то нами уже наработана, к тому же есть своя сеть клиентов, причем самая большая в этом бизнесе. Так что прямой резон нас прикупить.

– Что же будет с нами?

Этого не знала даже Саша.

Если подумать, то «Гугл» был нам ближе, чем «Майкрософт», причем даже территориально. Его офис располагался под нами на четвертом этаже. Туда потихоньку бегали на интервью наши программисты, но повезло только одному, тут же свалившему в Калифорнию. Попасть в «Гугл» со стороны было делом нелегким. Мне стало тревожно.

– Ну что ты так разволновалась?

Оказалось, что Рики давно уже все проанализировал.

– Вот смотри, – знакомым жестом он поправил очки, сползшие на нос, – ясное дело, нашим отцам-основателям, – Рики показал кавычки пальцами в воздухе, – надоело возиться с рекламой в интернете. Кевин – человек творческий, у него уже появилась какая-то новая идея, и ему нужны деньги для стартапа. Понимаешь?

Я кивнула. Чего тут не понять?

– Естественно, «ДаблКлик» будет продан. Теперь смотри: «Гугл». У него мощная поисковая система, скорее всего, лучшая из того, что мы сейчас имеем. Но на этом деньги не сделаешь. Правда, у него тоже есть своя технология по размещению рекламы в интернете, но она не рассчитана на крупного клиента. Все крупные рекламные агенты и веб-издатели работают с нами, им нравится наша технология. Они, в конце концов, к нам привыкли за десять лет, они нас любят, и именно они делают большие деньги на нашем таргетинге. Вполне естественно, что «Гугл» нас хочет. YouTube они прикупили тоже неспроста. Представляешь видеорекламу? Это тебе не баннеры, это класс. Можно озолотиться уже только на этом. Так что ждем новостей.

Долго их ждать не пришлось. Новости посыпались, как бигуди по утрам с головы моей мамы. Через несколько дней нам объявили о намерении «Гугла» приобрести «ДаблКлик». Пока сделка ждала утверждения в неизвестных мне инстанциях, «Гугл» открыл для нас свое кафе на восьмом этаже, вид которого потряс даже последних скептиков. Во-первых, это было бесплатно, а во-вторых, чего там только не было. Хочешь мясо – пожалуйста, выбирай из трех сортов, любишь рыбу – бери вкусненькую, разложенную узорчиком по тарелочке. Вегетарианец? Вот тебе два бара стоят, сам себе накладывай в тарелку овощи, поливай подливкой на свой вкус. Все органическое, без вредных добавок. Ну и супчики там разные да десерты. Хочешь – кофе, хочешь – чай, хочешь – соки. Пожалуйста. Словом, выбирай, наливай, накладывай, ешь. Be happy. Как зачарованная, ходила я по кафе с подносиком в руках, наталкиваясь на обалдевших коллег. Многие потом унесли еду в коробочках про запас. На случай, если халяву закроют. Но ее не закрыли. «Гугл» начал прикармливать нас еще до того, как мы официально стали его частью. Это произошло в марте 2008 года. Счастливы были далеко не все. Целые отделы, не вписавшиеся в гугловскую административную систему, были разогнаны. Мало этого, растерзали даже те команды, которые переходили в «Гугл». Изгнание было драматичным. Мы прощались со слезами на глазах. Ушел незаменимый когда-то Крис Честертон.

– Откармливали на заклание, – мрачно пошутил он напоследок.

Ушла Саша, проработавшая в «ДаблКлике» больше десяти лет, да что там Саша, Винс Ли, человек, написавший код всех наших рекламных серверов, отказался работать с «Гуглом». У входа в кафетерий на восьмом этаже стоял громадный медведь (бог его знает из чего сделанный) с победно возведенными вверх передними лапами. Кажется, медведь был чемпионом. На бляхе ремня, опоясывающего его живот, было написано: «Don't be evil». Не будь злым. Девиз компании, в которой мне предстояло работать. Что тут сказать? В общем, бизнес – это вам не семья. Санти-

менты тут не работают. В подтверждении этой простой мысли каждый из оставшихся счастливцев должен был подписать письмо с обязательством о неразглашении коммерческой тайны. Мы вступали в мир острой корпоративной конкурентной борьбы. Вынос любой информации за пределы компании грозил немедленным увольнением. Врагом номер один оказался «Майкрософт». Это было даже забавно. «ДаблКлик» и все его клиенты работали на Windows. Я с любопытством ждала развития событий.

Первым делом нас перевезли на четвертый этаж. Кубиклов в «Гугле» не признавали. Здесь работали за близко расставленными, хорошо хоть не в одну линейку, локоть к локтю, столами. Все двери были стеклянными, как бы кричащими: «Смотрите, у нас нет от вас секретов». Харассмент изгонялся на корню. Кодекс поведения обновлялся в памяти всех сотрудников каждый год. Мою команду, вернее то, что от нее осталось, втиснули за низенькие перегородки в каком-то закутке. Невольно вспомнился Ситибанк. Между двумя закутками протянулись почти десять лет. Мы еще не успели распаковаться и подключиться, как нас позвали получать лэптопы Apple. Роскошь, конечно. В смысле праздника, который теперь всегда с тобой. Злая шутка о том, что гуглер кодирует даже сидя на унитазе, имела некоторое основание. Позднее, когда мы получили еще и мобильные телефоны системы Android, в жизни уже ничего не осталось, кроме этого праздника. Надеюсь, вы поняли мою иронию. Ну, а потом процесс, как говорится, пошел. И назывался он «интегрирование “ДаблКлика” в “Гугл”», другими словами, на первых порах надо было как-то совместить «наше» и «их», чтобы потом от «нашего» ничего не осталось, а все стало «их». Примерно так я объяснила маме, чем нам предстояло заниматься. Сразу же выяснилось, что код Винса Ли не соответствует гугловским стандартам. Не поэтому ли он так спокойно расстался со своим детищем? Про «Пушер» я вообще молчу. «Гугл» не использовал чужую технологию, он создавал свою. Здесь была своя мощнейшая база данных. Oracle[13], на котором работал «ДаблКлик», вызывал уже знакомую мне снисходительную усмешку. Наши сервера на Windows откровенно презирались. Такое же чувство вызывала наша Firewall, да и весь мониторинг. Все надо было переделывать и поднимать на новый уровень. Высокомерные мальчики, прикрепленные к моей группе от «Гугла», взялись переписать код наших ключевых программ за два года. И тут заметно преобразился Рики Чин. Он даже похорошел. Близорукие глаза под линзами больших очков засияли вдохновенным светом. «У-у-у! И ты, Брут! Просто мартовские иды какие-то», – думала я, вслушиваясь в его оживленные реплики на собраниях. Мои подозрения скоро подтвердились. Рики был одним из первых программистов, переметнувшихся на сторону «Гугла». За ним ушли еще несколько человек. Оставшихся, включая меня, посадили поддерживать нашу безнадежно устаревшую (по мнению высокомерных мальчиков) систему рекламного сервиса. Практически это означало прекращение тестирования, потому что никто уже не работал над чем-то новым. Словом, пошла тягучая тоска, с которой надо было как-то справляться. Вот я и стала учить Python[14], на котором писались все скрипты в «Гугле». Шум вокруг был просто ужасный. В нескольких шагах от нашего загончика проходила тропа, по которой сновали толпы экскурсантов в сопровождении гуглеров, бойко и с гордостью тарахтящих о своей необыкновенной компании. Пришлось обзавестись наушниками, тут же, кстати, предоставленными «Гуглом». С Бобом Диланом, журчащим в ушах, я время от времени посматривала на проходящих посетителей. Восхищение прочитывалось на лицах всех возрастов. Первым делом их поражало обилие бесплатной еды: всевозможные напитки за стеклянными дверями больших холодильников, кофеварки, вернее, целые агрегаты, с шипением выплескивающие кофе в белые керамические чашечки, наваленные горы фруктов, печенья и шоколада, орехи трех сортов в стеклянных сосудах под металлическими крышками, еще что-то в пакетиках, не дающее испытать чувство голода всем приобщенным к празднику изобилия. А чего стоила игровая комната с тренажерами и столами для настольного тенниса, бильярдом, электрическими креслами-массажерами, дисплеями компьютерных игр? Детей ждали завалы «Лего» и огромные мячи всех цветов. Но это был 2008 год, кризисные страхи просочились даже сквозь стены, разрисованные

[13] Система управления базой данных.

[14] Язык программирования.

по последней дизайнерской моде. Несколько сотен человек праздника лишили, элементарно уволив. В основном это были бесправные консультанты, с которыми никто никогда не церемонился. И снова я подумала о том, что «Гугл» – все та же корпорация, причем быстро разрастающаяся, а в такой корпорации мне уже приходилось когда-то работать. Что это значило? Да то, что я не имела ни малейшего представления о том, над чем работал человек, сидящий в соседнем загончике, буквально в двух метрах от меня. И мне не было никакого дела до того, чем он занимался, как и ему не было дела до того, чем занималась я. Общаемость повышалась по четвергам после пяти вечера в нашем кафетерии, где выставлялись бочки с пивом и легкой закусью. Но и тут особого единства не возникало, тусовались по кучкам. Однажды, стоя в толкучке с «Будвайзером» в пластмассовом стаканчике, я обратила внимание на то, что люди вокруг меня совсем молодые, просто какие-то пацаны, которым только-только разрешили употребление алкоголя в общественных местах. Сначала удивилась, а потом подумала – все правильно. «Гугл» ставит именно на таких: молодых и помешанных, рожденных в айтишной рубашке, для которых кодирование не просто средство заработать на жизнь, а страсть. Между прочим, выбор был огромным даже из таких, но сюда набирали лучших из лучших, окончивших самые престижные колледжи мира. Конечно, мы для этого молодняка были отсталыми виндофилами. Про свой муниципальный колледж боюсь даже вспоминать. Глядя на них, мне расхотелось сидеть с «Пушером» в закутке. По старой привычке я поймала в коридоре Фрэна, который достиг невероятных высот в служебной карьере, став нашим вице-президентом. Так и так, говорю. А он мне: Python знаешь? Учу. А Java[15]? Еще нет. Вот видишь, говорит, у тебя уровень недостаточный для перехода в другую группу. Учи, а потом посмотрим. Учить язык Java можно было прямо в «Гугле», но не таким, как я. Уровня не то что недостаточного, никакого не было. Пришлось снова записаться на дистанционное обучение. Сначала помогал Сунил, тот самый, у которого на родине тигры разгуливали под окнами, но и он вскоре сбежал в гугловскую команду. Пришлось самой писать код, делать домашние задания, сдавать тесты. Усталость помогала справляться с разочарованием, потому что я снова почувствовала себя маленьким семечком, упорно не прорастающим в корпоративное тело. Мимо меня, потряхивая гривами, уверенно топали на высоких каблуках энергичные девушки. Забежав в туалет, они шумно и бесцеремонно мочились, чистили зубы, прихорашивались перед зеркалом и спешили дальше по каким-то своим невероятно важным делам, гордо неся в руках легкие лэптопы. Особенно мне нравилось смотреть, как они носились по длинным коридорам на самокатах. Детский сад, да и только, впрочем, не так-то уж это легко – разогнаться на самокате в туфлях на шпильке. От «эскадрона гусар летучих» испуганно шарахались скромные индуски, облюбовавшие кресла в коридоре или столики возле кофеварок. Иногда к ним подсаживалась и я. Мы перекидывались приветливыми словами, но дружба не завязывалась. Все были заняты своими делами. Очень заняты. Пытаясь приобщиться к «Гуглу», я выпросила Linux, хотя продолжала работать на Windows. И все-таки приобщение продвигалось вперед. Многое восхищало. Внутри «Гугла» был еще один «Гугл» – совершенно потрясающая справочная система программиста, который здесь назывался старым знакомым словом «инженер». Не помню случая, чтобы я не нашла онлайн-ответа на свои вопросы, да еще со ссылками на источники. Все обслуживание было дистанционным. Гуглеры к этому привыкли, а я с грустью вспоминала времена, когда можно было запросто подскочить к любимому админу и быстро решить проблему. «ДаблКлик» в моих воспоминаниях оставался родной семьей. Корпорации так не работали. Что еще? С карьерами тоже все было не так-то просто. Здесь были детально разработаны критерии продвижения по служебной лестнице. Я не подходила ни под один. Все, что делал тестер в «ДаблКлике», не соответствовало требованиям «Гугла». Зато необычно быстро пошла в гору Апарна, молодая, ничем не приметная раньше программистка. Что мы думали, глядя на нее, торопливо семенящую по коридору вслед за Фрэном? Вот что значит коммуникейшн скиллс, дамы и господа!

Через год нас снова рассадили на десятом этаже, но уже отремонтированном в соответствии с гугловским стилем: никаких перегородок между рабочими столами, никаких отдельных кабине-

[15] То же.

тов для начальства, стеклянные стены и двери, завалы бесплатной жратвы. Сюда не приходили толпы экскурсантов. Было тихо. Мне досталось место под деревом в кадке с вершиной, упирающейся в потолок. Раз в неделю его поливала из лейки деловая девушка в передничке. А два раза в неделю приходил слепой массажист с чудным бежевым лабрадором, который разгуливал по всему этажу, пока его хозяин разминал спины гуглерам в комнатке напротив моего дерева в кадке. В определенные дни можно было приводить животных всех видов, если никто ничего не имел против. В основном это были собаки всех размеров и пород, но однажды мне довелось увидеть зеленых головастиков в банке. Раз в год «Гугл» оглашался воплями детей сотрудников. Их приносили в сумках-кенгуру, привозили в колясках, приводили за руку. Испуганно прижимаясь к родителям поначалу, они быстро осваивались и с топотом носились по этажам. Время от времени новости потрясали наши загруженные головы. Так мы узнали, что «Гугл» купил все здание номер 111 по Восьмой авеню за два миллиарда долларов. Судя по всему, дела шли отлично, корпорация росла. К нам даже приезжал благодарный сенатор Шумер. «Гугл» помог снизить процент безработных айтишников в Нью-Йорке. Как-то сам собой появился бесплатный почтамт, на каждом углу выросли шкафчики-аптечки и стенды с канцелярскими товарами. Надобность выходить на улицу отпала сама собой, даже в метро можно было попасть, не выходя из здания. Моя жизнь пролегала между Бронксом и домом 111 на Восьмой авеню без просвета между ними. Говорили, что в Калифорнии, где «Гугл» выстроил целый городок, еще круче. Там на работу возили бесплатные автобусы и грязное белье стирали прямо на кампусе. Тоже бесплатно. Этой гигантской махиной, ворочающей сотнями миллионов долларов, заправляли два пацана. К нам они приезжали редко, все собрания обычно передавались вживую по интернету. В один из четвергов я увидела Брина в кафетерии на восьмом этаже. Мне он показался обыкновенным. В шортах и сникерсах. В стремных очках. Таких я раньше не видела: «Гугл-гласс» с экранчиком, подвешенным на дужке перед правым глазом. Ничего заносчивого и высокомерного. Невысокий, но отлично накачанный паренек со знакомым русским акцентом. Впрочем, говорил он свободно, много шутил. Слушатели охотно откликались на эти шутки. Вот прикупили домик в Манхэттене за два миллиарда, и вполне возможно, «Гугл» займет там все этажи. Со временем. Вот и соседний домик «Челси-маркет» на Девятой авеню уже весь принадлежит «Гуглу». Вот у него встреча с редакцией «Нью-Йорк Таймс». Надо решать, как их спасать. Газета на грани разорения. И так далее. На вопросы отвечал подробно и терпеливо. Кажется, много говорил о новой игрушке «Гугл-гласс». Если честно, я так и не поняла, кому нужны эти очки со встроенным компьютером. Глядя на Брина, я пыталась понять, что было общего у этих ребят: Ларри, Сергея, Кевина. Может, обаяние? Они словно говорили: смотрите, я такой же, как вы, только с миллионами в банке. Про миллионы все и так знали, в «Гугле» работали умные люди, но не всем приходили в голову гениальные идеи.

Неожиданно для меня мама невзлюбила Брина. Сначала я думала, что это из-за страха рецидива моей влюбленности в очередного гения, но причина оказалась другой. Капа из Квинса сообщила ей о неблаговидном поступке молодого миллионера: он отказался пожертвовать деньги на поддержку Сахаровского центра в Москве. Не очень поверив Капе, я полезла в интернет. Действительно, Елена Боннэр опубликовала горькое письмо с жалобой на бывшего соотечественника. Правозащитное движение в России никак его не волновало. Так и ответил: «Мне это не интересно», – писала Боннэр. На кухне мама разразилась грозной филиппикой. Досталось и Бринам-старшим.

– Вот-вот, – гремела она крышкой сковородки с моим ужином, – как тратить деньги на дорогие игрушки, так миллионов не жалко, а как поддержать святое дело в России, их родине, между прочим, так им наплевать. Жадность это и равнодушие.

Не думаю, чтобы это была жадность. «Гугл» тратил миллионы на благотворительность. Но то, что Брин отказал человеку, просящему денег, причем не для себя, меня задело. С другой стороны, деньги-то его, ему лучше знать, как их тратить. С этого времени мама стала критичной ко всему, что касалось «Гугла». Особенно доставалось Апарне, которую она прозвала карьеристкой, отказываясь понимать важность продвижения женщин по службе и их борьбу за равноправие в оплате с мужчинами, о чем так много говорила Хиллари Клинтон. Ее мама тоже не любила. Зато

зачастившую ко мне на работу Джун в «Гугле» восхищало все. По-моему, она даже немного завидовала, и я с облегчением вздохнула, узнав, что ее снова взяли в Ситибанк. А мне удалось-таки оторваться от «Пушера» и перейти в группу к Юльке, правда, тоже даблкликовскую, но работающую над переходным проектом. Не зря я учила яву, пригодилось и знание нашей старой базы данных. Вообще-то русских в «Гугле» много, но это в основном ребята, получившие образование в Америке, второе поколение эмиграции, как и сам Брин. Юлька тоже была из таких. Она закончила Колумбию, была умницей, к тому же еще и красавицей. Я ею восхищалась. Для тех, кто не знает, скажу: это большое счастье – работать с умным менеджером. После Фрэна мне не особенно везло, но с Юлькой я сработалась прекрасно. Остальными коллегами были индусы-консультанты из все той же «Сайбейдж». «Гугл» решил коней на переправе не менять, да и школа программирования в Индии сложилась довольно сильная, так что кодировали они неплохо. Вообще индусов в «Гугле» было настолько много, что в кафетериях, а их уже наоткрывалось несколько штук, процветала восточная кухня, где готовили обученные кулинарным тонкостям индийских приправ повара. Мало этого, раз в полгода Юлька водила нас в индийский ресторан, за счет «Гугла», конечно. Для меня же их еда была сущим наказанием. Приходилось вежливо улыбаться и выбирать из меню что-нибудь «не очень острое». Помню, однажды нашелся только салат из зеленого горошка. Сразу скажу, миф о какой-то древней восточной духовности у меня рассеялся довольно быстро. Кажется, мама и то знала больше про Джидду Кришнамурти и Ошо. Читали мои коллеги исключительно профессиональную литературу, если читали вообще, дальше Эмпайр-стэйтбилдинг и Статуи Свободы их интересы не распространялись. Они покорно, без всякого желания, повиновались героическим усилиям Юльки приобщить их к плодам западной культуры. От посещения музеев отлынивали, экскурсии по городу игнорировали. Зато были дружны и как-то посемейному спаяны между собой. Про индийские семьи я уже была немного наслышана раньше. Там у них по сей день невест и женихов выбирают родители. Удивительно, но я ничего не знаю про разводы, кажется, их не бывает. Все четыре индуса из моей команды привезли жен с детьми и сняли квартиры в одном доме. Ни одна жена не изъявляла желания работать, хотя все были с высшим образованием. Мужчина, по их представлениям, должен добывать пропитание, а женщина – хранить домашний очаг. Мне это казалось диким. Юлька с тремя детьми и мужем, которым она крутила как хотела, была гораздо ближе. Когда она все успевала, не понимаю.

Иногда рабочая рутина прерывалась чрезвычайными происшествиями. Кто-то хакнул наши сервера, пытаясь через них пробраться в базу данных. Аврал длился пару недель. Пока где-то выясняли, как произошел прорыв, мы заменили все тридцать продакшн-серверов. Вспомнились былые дни в «ДаблКлике», когда приходилось работать ночами. Вообще охота на «Гугл» велась постоянно. В Китае местные умельцы взломали гугловскую почту, проникнув в почтовый ящик какого-то знаменитого диссидента. Брин и Пэйдж пригрозили уйти из Китая в случае продолжения атак на демократию. Я гордо поведала маме о принципиальности нашего бывшего соотечественника. А где-то вскоре после этого пришла еще одна новость: наш проект, вернее, его вторая часть, на которую мы все рассчитывали, получил... Китай. Вот тебе и на! Выходит, демократия отдыхает, когда речь идет о деньгах. Перспектива перехода всей нашей группы в «Гугл» накрылась, как сказала Юлька, медным тазом. Она еще немного повозилась с нами, а потом бросила, перейдя на новый проект, не имеющий ничего общего с тем, что делала раньше. Потом ушел Фрэн. Зато осталась Апарна, ставшая большой гугловской шишкой. Это означало только одно: наши дни сочтены, ей всегда было наплевать на людей. Новая труба звала ее на необъятные рекламные просторы, теперь уже на смартфонах. Такой технологии у «ДаблКлика» не было. Не то чтобы я сидела в своем углу под деревом, не пытаясь прорваться в другой проект. Можно было вполне вписаться в две гугловские группы, менеджеры которых обращались к Апарне за разрешением на мой перевод и получили от нее отказ. Если честно, я была шокирована, узнав причину. С моим переводом отдел, который возглавляла Апарна, терял рабочее место, а с моим увольнением это место сохранялось. Так что там у медведя на бляхе написано-то было? «Не будь злым»? И к чему такие заявления, когда из «Гугла» вышвыривают точно так же, как из любой другой корпорации, но горькую пилюлю подслащивают конфеткой, давая дополнительные два месяца на поиски по-

зиции внутри компании. Мама советовала жаловаться на Апарну, а я решила тихо приготовиться к увольнению, заранее зная, что перевода не получу в любом случае. «Это несправедливо», – сочувственно шептали индусы, которым до меня не было ни малейшего дела, как и моему менеджеру. Они уже получили назначения в другие компании и, разыскивая что-то на картах «Гугла», ворковали на своем языке. Почему-то утешало то, что надменные гугловские мальчики планировали перемолоть нашу технологию за два года, а дело растянулось на восемь лет. Видать, не все было у нас просто. Пришлось им повозиться.

Ну что ж, пора остановить playback. Тогда снова первое сентября, идет дождь, на который я смотрю с доставшегося напоследок места у окна. Утешительный приз: всегда завораживающий вид на Манхэттен. Делать нечего, работа закончена. Апарна старается быстро исчезнуть, завидев меня в коридоре. Зря. Я совершенно ничего не собираюсь выяснять в оставшиеся две недели. Индусы что-то спрашивают про штат Аризона. Это неизвестная мне Америка, но я говорю какие-то ничего не значащие слова. И тут звонит Джун: «Полетели на Арубу». Почему бы и нет? Четыре дня в раю.

Аруба, точечка на карте, обдала влажным жарким ветром сразу при выходе из самолета. Четыре часа перелета, и больше нет ни Манхэттена, ни Бронкса. Пока летели, я все пыталась потихоньку выведать у Джун, с чего это она сорвалась отдыхать в такое неподходящее время. Ее скуластое лицо оставалось непроницаемым. Устала, говорит. Пошли все... Не зря я ее русскому языку учила.

– Пусть будет только океан и пляж с белым песочком.

Я не против, к тому же в пятизвездочном отеле на берегу. Утром вода бирюзовая и теплая. Заняли топчанчики. Чтобы не обгореть, санскринами намазались. Лежим. Девушки в фартучках коктейли разносят, рядом молодые люди перекидывают мяч через сетку. Все какие-то низкорослые и упитанные. Джун, говорю, тебе хоть один юноша приглянулся? Джун очки черные на макушку сдвинула и ротик презрительно сжала. Нет. Поплавали. Вода волшебная. Прошли по берегу. Насобирали оценивающие мужские взгляды и женские, полные затаенной злобы. Опять полежали. Поплавали. Джун налегла на коктейли. А давай, как будто мы с тобой две лесбиянки на Арубе, а? Давай, говорю, а что делать надо? А за руку будем по берегу ходить. Походили. С женщинами проще стало. Наверное, у них желание нас утопить ослабело. Про мужчин – не знаю. Пошли в номер. Пока Джун переодевалась, я звонила маме. Мне здесь хорошо, говорю. Отдыхаю. Потом пошли в ресторан. Прямо на берегу океана. Чудесно так и все вкусно. Вино прекрасное. Музыка играет. Хорошая. Танцевать хочется. Никто не приглашает, все парами сидят. Джун, говорю, а с чего это ты выдернула меня на Арубу?

– Так это меня Кейла надоумила, она нам, кстати, отель оплатила.

И тут я вижу улыбку на ее всегда непроницаемом лице, кажется, первый раз лет за десять, а может, пятнадцать. Не вспомнить. Пойдем, говорю, потанцуем? Что-то медленное потанцевали. По-моему, у нас здорово получилось, как у настоящих лесбиянок. Джун еще выпить захотела, пошла за столик, а мне танцевать хочется, не могу остановиться. Танцую – и все. Сама по себе.

– Ну и когда ты остановишься? – она мне кричит.

– Только когда остановится музыка, – кричу я.

И кружусь потихоньку, раскинув руки. А музыка все играет и играет.

Сергей ШУБА

ПОЕЗДКА

Рассказ

Ольга подняла трубку и некоторое время слушала.

– Хотят встретиться по поводу дома, – шепнула она мужу, смотревшему на неё.

– Сегодня, что ли? – спросил Михаил, который как раз заглянул к ним на чашку чая и удобно развалился на низкой кушетке. Вопрос подразумевал некое раздражение Михаила по поводу звонка. Вот, мол, не виделись сколько лет, я аж из самой Москвы к вам ехал-ехал, а тут и посидеть не дают.

– Они говорят, им удобно в четыре часа, – сказала Ольга, не обращая никакого внимания на Михаила. – Костя?

Муж вздохнул.

– Скажи им, что мы приедем.

– Это несерьезно, – пробурчал Михаил со своего места. – Вы хотя бы узнайте, кто они такие, зачем им дом, поконкретней быть надо. А то, может, и ехать никуда не придётся – сами через пять минут передумают.

– Да они давно звонят, решились наконец-то, – зачем-то соврал Константин.

Ольга, дурачась, изобразила нос Буратино, но ничего не сказала.

– Да ну, решились, – сказал Михаил. – Задаток, что ли, дают? Договор заключают, с юристом приедут? Вы ж не спросили ничего, сразу – раз, и ехать, как пионеры.

– Что? – повернулась к нему Ольга. – Ты прямо как «масквич», в самом деле. Поехали с нами, раз такой умный, думаю, мы долго там не пробудем.

Михаил некоторое время размышлял, поглядывая то на Константина, то в окно. Чтобы смотреть на Ольгу, ему нужно было повернуться.

– Ладно.

Ольга за его спиной быстро скорчила недовольную гримасу Константину. Тот нахмурился, но махнул рукой.

– Тогда чего – допиваем чай и в машину. Нам ехать полтора часа как минимум.

Несмотря на позднюю осень, погода была нормальная. Хмурое с утра небо разъяснилось, ярко светило солнце, и ехать было вполне себе комфортно – в будний день как раз после обеда дорога не была перегружена транспортом.

Ольга специально села рядом с мужем, Михаилу пришлось сидеть одному сзади. Он, посвистывая, смотрел в окно, мимо проносились облетевшие тополя, медленно появлялись под разными углами лесополосы на холмах. Поля были давно убраны, кое-где на меже виднелись пепелища от сгоревшей травы. Разговор не клеился. Костя включил радио.

Ольга, поправляя свои мелированные волосы, думала о том, что когда-то Михаил казался ей привлекательным молодым человеком. Но Костя был напористей и целеустремлённей. И теперь едет продавать дом в деревне, который достался ему от матери и в котором все они в детстве своём неоднократно бывали.

Сергей Шуба родился в 1983 году в городе Курган-Тюбе (Таджикистан). В 2005 году окончил Ростовский государственный строительный университет. С 2007 живёт в Новосибирске. Работал дорожным рабочим, начальником ПТО, дворником, кровельщиком, пекарем. Рассказы и стихи печатались в литературном альманахе «Ликбез», журналах «Волга», «Урал», «Homo Legens», «Топос», «Плавучий мост», «Южная звезда», «Подъём», «Новая реальность», «Северо-Муйские огни», «Лиффт», «ЛД Авангард», «Textonly», сообществе «Полутона».

Через час машина свернула на грунтовку и запылила по обочине, чтобы не лезть в колеи, оставленные за время дождей грузовиками.

Деревня располагалась в большой ложбине. Дома, крытые старым шифером, с высоты холма казались вросшими в землю. В некоторых дворах видны были желтые копны сена, в некоторых – потемневшие от времени сажки. По проулкам и перекопанным уже огородам как всегда гуляли серые и белые гуси.

Форд проехал окраиной и остановился у деревянного покосившегося забора. За забором вдоль дорожки стояли маленькие вишни и две старые яблони у самого дома.

– Надо же, – хмыкнул Михаил. – А абрикос на заднем дворе остался?

– Вымерз, – сказал Константин, не убирая рук с руля. – Позапрошлой зимой. Я соседям разрешил – они и срубили.

– Бабе Мане, что ли?

– Баба Маня умерла, – тихо сказала Ольга.

Помолчали.

– Пойдёмте в дом, что ли? – полез из машины Константин. – Посмотрим, как там и что.

Несмотря на солнце, на улице было прохладно. Они прошли по дорожке, оглядывая заросший теперь уже засохшим бурьяном двор, и открыли скрипнувшую дверь. В доме было полутемно и тихо. На окнах висели старые тюлевые занавески, пыль лежала на крашеном подоконнике, стол покосился и скрипнул, когда на него оперся Михаил.

– Слушай, а как вас не вынесли ещё? Даже окна целые.

– Ну, я пускал тут молодых, на время. Когда решил продавать, попросил.

– Да ты рантье прямо, как развернулся... – сказал Михаил.

– Миша! – Ольга строго посмотрела на него.

– А что я такого сказал? – он отмахнулся от нее и обратился к Косте. – Если не секрет, за сколько продаешь?

– Триста хочу взять, – нехотя сказал Константин.

Ольга прошла в соседнюю комнату и посмотрела на голые стены.

Да, а ведь пятнадцать лет назад они втроем сидели в зале и смотрели по видику «Терминатор-2» или «Клеопатру», а потом мама Костика кормила их окрошкой в летней кухне.

– А ты откуда взялась? – услышала она голос Михаила. – Костя, твоя, что ли?

– Да откуда моя, я не был здесь с... с конца сентября, – раздраженно отозвался муж.

Ольга вышла к ним и увидела небольшую кошку черепахового окраса, уже мурлыкающую под пальцами Михаила.

– Какая красивая... что ты, кошка?

Животное подошло к ней, покачивая хвостом, и стало тереться о ноги.

– Она, наверное, есть хочет.

– Пусть мышкует, – буркнул Константин и посмотрел на часы. – Так, где же они есть? – мы же опоздали минут на пять.

– Ну, позвони им, – сказал Михаил и забарабанил пальцами по столу. – Они же ваши старые знакомцы.

– Тут сети нет, чтобы набрать, надо выше по холму подняться. Ладно. Подождем пятнадцать минут.

– Тогда я покурю.

Они вновь разбрелись по комнатам. О чем думал муж, смотря в мутные стекла, Ольга не знала, но не хотела ему мешать. Михаил, судя по скрипнувшей деревянной калитке, вообще ушел на задний двор. Она почувствовала одиночество и вышла на крыльцо, чтобы не стоять среди этих затхлых стен.

Михаил стоял к ней спиной у развалившихся кроличьих клеток и смотрел на огород. За огородом тянулась пустошь с редким кустарником, а за ней уже начинался подъем на холм.

– Помнишь, мы бегали на ту сторону на пруд, а потом прятались в кустах, когда нас искали? – громко спросил Михаил, повернувшись к Ольге вполоборота.

Она кивнула.

– Твои-то как? – спросил Михаил, имея в виду родителей Ольги.

– Нормально, им нравится в Морозовске, там же дядя ещё.

– А, родственники...

Михаил затоптал бычок и прошелся по двору.

– А я вот мать в Брюховецкую отправил. Скажешь – глупо? А я думаю – в самый раз. Пусть живет там, где школу заканчивала. А то все эти перераспределения советские, новая жизнь... видели. Опять же – тепло.

Ольга спустилась с крыльца и подошла к калитке. Положила руки поверх серых потрескавшихся досок.

– Миш, ты почему такой злой?

– Да нипочему. С чего ты решила?

– Я же вижу. Что у тебя с Анькой?

– А ничего у меня с Анькой. Анька в Канаду улетает послезавтра вечером.

Где-то вдалеке гоготали гуси. Стремительно набегающие облака закрыли солнце, и стало ощутимо холоднее. Из дома вышел Константин и проговорил, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Пойдемте в машину, что ли, чего на ветру стоять.

Все вернулись в не новый уже форд-фокус, и Константин включил обогрев. Ольга смотрела в боковое окно. Она увидела, как в дом через дорогу неторопливо прошла старушка в холщовом синем пальто и галошах, и ей навстречу, гремя цепью, побежала собака. Ольга не узнала ни старушку, ни выглянувшую ей навстречу немолодую уже женщину.

– Ну и что, мы так и будем сидеть, а они так и будут на нас пялиться? – проворчал Михаил, тоже заметивший соседей. – Костя, ты их знаешь?

– Откуда? Я здесь не живу. Васильевы ещё раньше нас в Волгодонск уехали. Я схожу, позвоню. Сколько можно ждать?

Он вылез из машины, мягко закрыл дверцу и направился в сторону холма.

Михаил приспустил стекло и достал сигарету. «Сейчас спросит про детей», – подумала Ольга.

– Не возражаешь?

– Включи музыку, – попросила Ольга. – И не кури в машине, пожалуйста.

Михаил ткнул пальцем в проигрыватель, и в салоне заиграла Bebe – «siempre me quedará». Он вышел и хлопнул дверью гораздо громче Константина. Ольга закрыла глаза, чтобы не видеть окружающее. Ей почему-то стало грустно, как будто вся жизнь канула где-то здесь, среди этих поблёкших полей и невысоких холмов с колючей травой.

Она очнулась от громкого стука. Похоже было, что в доме захлопнули дверь. Немного приподнялась с заднего сиденья и, повернув голову, увидела мужа. Он уже подходил к калитке, губы его были плотно сжаты. Михаил побарабанил пальцами по крыше.

– Что случилось? – спросила Ольга, когда Константин открыл калитку.

– Они сами мне позвонили и сказали, что не смогут подъехать сегодня. Сильно извинялись. Ты долго там ещё? – почти крикнул он Михаилу.

– Да сажусь-сажусь, не кипятись.

– Б..., сколько времени потеряли.

Ольга обернулась назад, когда они отъезжали, и увидела кошку, сидящую на подоконнике.

– Костя! Ты дверь закрыл?

– Конечно, когда возвращался.

– Там осталась кошка.

– Что?

Ольга обернулась ещё раз, но, конечно, ничего уже не увидела. Дом стоял торцом.

– Костя, там осталась кошка!

– Тебе показалось.

– Я видела, она сидела на подоконнике в зале!

– Да останови ты, я схожу, – сказал Михаил.

Константин только сильнее вдавил в пол педаль газа.

– Ну давай вернемся, ну что ты? – у Ольги задрожали губы.

– Слышь, Костя, в самом деле...

– А ты не лезь.

– Да останови ты! Она же сдохнет там, кто её достанет!

– Не трогай руль!

Константин, не глядя, ударил Михаила кулаком.

– Ты охренел?!

– Костя, прекрати!

– Кто ты такой?!

Машина, посунувшись носом, встала.

– Выйдем, выйдем, давай...

– Костя, не смей!

– Ну а ты что, думаешь, не выйду?

Хлопнули дверцы. Ольга укусила себя за руку и смотрела, как мужчина, с которым она прожила восемь лет, с перекошенным от ненависти лицом размахивает руками и топчется у капота рядом с другим мужчиной. Это было нелепо и оттого страшно. Она выскочила из машины, остро ощущая свою беспомощность, сдавленно крикнула. В этот момент Михаил удачно попал Константину по голове. Константин упал на траву. Резко развернувшись, ничего не говоря, Михаил пошел по направлению к дому.

Костя медленно сел, согнув правую ногу в колене.

Ольга молча смотрела на него. Через некоторое время её муж встал, оперся рукой на закрытую со своей стороны дверь форда и машинально стал отряхивать себе штаны левой рукой.

– Что смотришь?

Ольга вернулась в машину. Она многое хотела сказать, но слова не шли из-за острой боли в сердце.

Через несколько минут издалека послышался звук разбитого стекла, залаяла собака, другие подхватили, потом всё стихло.

– Стекло разбил... вот сука...

Показался Михаил. Он широко шагал, осматривался по сторонам.

– Ты ж мне окно разбил! – заорал на него Константин, едва тот подошел. – Ты ж, сука, мне окно разбил, как вор... влез!

– А ты что – дал бы мне ключи? – неприятно усмехаясь, парировал Михаил.

– Да пошел ты! Урод! Вали в свою «Маскву» теперь, продаван! Хер я тебя отсюда повезу!

– Не повезешь, значит? – прищурился Михаил и потер переносицу оцарапанной рукой. – Ну, спасибо.

– Да на тебя в суд подать мало! Портить чужое имущество, знаешь!

Константин шумно выдохнул, рванул дверь и плюхнулся на сиденье. Мотор взревел.

Михаил постоял, посмотрел, но видно было, что он не станет подходить и пытаться помириться, тем более – просить. Да и смотрел он скорее на Ольгу, чем на её мужа. Потом повернулся к ним спиной и стал уходить, забирая в сторону, чтобы выйти к проулку, ведущему к центральной улице. Вместе с ним уходила и весёлая детская троица, и юношеская компания, где долговязый, сутулившийся Мишка всё пытался приобнять хрупкую Ольку за плечи, а коренастый Костик по-хозяйски держал её за талию.

Муж тронул машину.

– Какой же ты гад, – еле слышно сказала Ольга ему в спину.

Константин сделал вид, что ничего не услышал. А может и вправду – не услышал? Всю дорогу они молчали.

2013–2016 гг., Новосибирск

София АМИРОВА

***

Не обижай меня, за мной
Терракотовая армия стоит стеной.
Сзади Москва, впереди Ханой.
Я сделала обнаженное селфи на фоне семиметровой головы Ленина и прислала тебе.

Не обижай меня, моя мама –
Учительница русского языка из Вьетнама.
Не обижай меня, мой отец –
Скульптор из Тегерана, который пишет диссертацию по мавзолею императора
Цинь Шихуанди в Сиане.

Ты спросил, сколько слез я пролила, когда ждала тебя на площади трех вокзалов и пила холодный растворимый кофе, купленный на последние деньги, чтобы согреться?

«На сегодняшний день из склепа извлечено более 500 терракотовых статуй воинов,
100 фигур коней и 18 колесниц».

«На сегодняшний день объем мирового рынка образования составляет $4,5–5,0 трлн».

На сегодняшний день я не стерла ни одной слезы со своей щеки ни мягким платком,
ни холодной рукой, ни отцовским шарфом.

Не обижай меня, я и сама
Могу лишить тебя и рассудка, и сна.
У меня большое сердце, но нет ума.

Я для тебя папина дочка, стеклянная розочка, отравленное яблоко, стальная игла.

***

Мы очень долго ехали,
Так долго, что я успела написать тебе несколько сообщений.
Первое: мне не больно.
Второе: смерти нет.
Третье: Артём, у тебя есть голос?
Четвертое: мне завтра ко второй, а тебе?
Пятое: если бы мы могли ворваться и сами себя остановить.
Шестое: я тебя обманула.
Седьмое: хочешь, чтобы серьезно?

София Амирова родилась в 1993 году в Пензе. Работает менеджером культурных проектов Zimin Foundation. Публиковалась в журнале «Волга» (2015, № 9-10).

Какая темнота в метро.
Какая тишина.
Ложимся спать на лавках,
Едем по кольцу,
Закручивая волосы на пальцы,

и нет конца.

Давай, как будто бы у нас нет дома,
Станем бродягами, останемся здесь навсегда.
Добрые люди станут приносить нам животных.
Ты будешь гладить котиков, я – тебя.

Такая темнота уютная, что в ней не страшно.

***

В августе лето задыхается.
Хочется твоей холодной кожи чистой до скрипа.
Чтобы не проваливаться в липкость метро,
не выходить даже за молоком и медом.

Надо накручивать волосы на длинные тонкие пальцы.
Считать до трех витков, на четвертом можно закрыть глаза, во сне обжигать белых кроликов и водомерок.

Я видела это в окно, как стоящая духота
Закрывает лицо руками и давит город к земле, тяжелому камню.
Чтобы не умереть, облизывая бетон.
Чтобы не поднимался, прикалывая иголкой.

***

Очень люблю это стихотворение.
Каждое слово в нем говорит тебе о моей боли, о моей ране.
О моей ране и о моих увечьях, а о чем еще ты хочешь?
Тебя же вечно тошнит от моей грациозности.

Ночь подступила к горлу – эксперимент с механической асфиксией.
Я долго не могла прокашляться и восстановить дыхание.
А потом до утра слышала запах твоего мыла, твоих волос.

Мне так страшно, что твоя власть во мне уже децентрализована.
Вот она в моей руке, которая гладит тебя по шее,
Вот она на станции Китай-город и на некоторых других тоже,
Вот она настигает меня, когда я засыпаю по дороге домой,
Поэтому освобождение кажется невозможным.

Назови мне критерии истинного знания, мне страшно.
Вот я даю тебе эту практику чувственности, свое познание
И смотрю на твою ладонь, смотрю на твои глаза –
и они закрыты.

Посмотри же, это моя новая родинка на левой руке – о тебе.
Вот мой синяк на внутренней стороне бедра – о тебе.
Я создала документ с дешифрацией моих травм и отправила тебе.
На Стене Плача я сделала граффити, прилетай делать селфи.

***

Не плачь не плачь
Не танцуй не танцуй,
Если есть такая возможность.

Если очень хочется, то тоже ничего.
Это по крайней мере красиво
Даже когда тушь течет –
Черный и золотой
Черный и золотой
Черный и золотой

В моем теле вы не найдете ни одного мускула,
способного сопротивляться такой красоте
В нем только иголочки сахарной ваты,
Искрящейся и не тающей.

Что равноценно стону –
Только стон.
Что равноценно молчанию –
Только правильные слова,
Написанные обязательно от руки на мокрой бумаге.

Это все твои огонечки, ты – праздничный город.
По которому, если идти, то обязательно сквозь толпу
Сквозь всеобъемлющее ликование,
Оставляя сначала розовый свет, после только
Черный и золотой
Черный и золотой.

Сергей КУЛАКОВ

ЛАВКА НЕНУЖНОСТЕЙ

Рассказ

Осень едва наступила, и медь не покрыла ещё пыльные листья деревьев. Стояла непривычная для этого времени года жара. Солнечная сторона улиц была пустынна, и немногие пешеходы вяло ступали по теневой стороне. Чтобы попасть в отделение банка, потребовалось свернуть в боковую улочку; переступив четкую черту тени, я вышел под солнце. На этой тихой улице не было ни теневой стороны, ни прохожих. Ступая залитый светом, подобно флорентийцу в областях рая (вот только припекало почти как в аду), я заметил на противоположной стороне вывеску. Она заинтересовала меня. Перед входом в подвальное помещение висела не без изящества выполненная в старом стиле надпись: *ЛАВКА НЕНУЖНОСТЕЙ*. Внутреннему зрению представилась антикварная лавка, но отчего тогда *НЕНУЖНОСТЕЙ*? Любопытство взяло верх. С изворотливым лукавством отвечая на вопросы разума, который пытается уберечь нас от разного рода авантюр, я спустился вниз, отворил глухую деревянную дверь, и под звон колокольчика ступил в загадочную лавку каких-то манящих ненужностей.

Ничего таинственного, загадочного там не оказалось. На вид – обычный *second hand;* только вместо одежды – множество разной подержанной дребедени: вещей, вещиц, вещичек, действительно ненужных теперь никому. Впрочем, одинокий посетитель внимательно осматривал этот хлам в отдаленном краю лавки. Почти у самых входных дверей стояла старинная конторка темного дерева на массивных ножках. За конторкой сидел старик. Мне была видна только его голова с залысиной, уходящей к затылку, плечи в шерстяном свитере с отложным воротом... Старик спустил очки со лба на нос, откинул голову назад и внимательно осмотрел меня. Седые бакенбарды, гладкая залысина, стальные круглые очки придавали ему вид чиновника из старого романа. Я кивнул в знак приветствия. Быть может, это выглядело немного фамильярно; он вернул очки на прежнее место и вновь принялся за свою работу. Старики часто забывают о приличиях.

Не отыскав ничего любопытного (сплошь – дребедень и хлам, будто все собрано с помоек, только очищено, отмыто), я собирался отправиться прочь, но стал невольным свидетелем разговора между стариком и посетителем, который увлеченно рылся в старых вещах. Вероятно, он отыскал какую-то безделушку и решил узнать стоимость:

– Сколько стоит эта штука? – спросил он

Старик ответил, не отрывая взгляда от работы:

– Нисколько.

Однако посетитель был настойчив:

– Я хочу купить эту вещицу, сколько я должен вам?

Старик приподнял голову, опустив очки на кончик мясистого носа.

– Послушайте-ка, что я скажу, чтобы впредь не лезли с подобными пустыми вопросами.

Сергей Кулаков родился в 1964 г. в Архангельске. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал Поэтов», «Слово» (Нью-Йорк), «Дон». Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Преображения» (2017, № 1).

Вещица, которой вы с завидным упрямством отвлекаете меня, нисколько не стоит. Она не продается. Теперь, надеюсь, понятно?

– Как же так?

– Именно, именно так.

– Но она мне нужна... эта вещица. Она мне нужна.

Мне показалось, будто в лавке взблеснуло все, что могло блестеть: глаза старика, его очки, лысина, лампочки, освещавшие лавку, всякие стекольца... Посетитель, которому никак не удавалась покупка, тоже заметил удивительный эффект и в недоумении оглянулся. Только старик был невозмутим.

– Вот и хорошо... – голос его стал мягче, намного мягче. – Тогда забирайте её.

– Но цена... Сколько она стоит?

– Ни-сколь-ко. Забирайте, забирайте, если она нужна вам. Позволю напомнить: вы в лавке ненужностей, и если что-то вдруг стало нужным, значит, оно перестало быть ненужностью – ему здесь не место. Понимаете?

Кажется, старик совсем запутал его – человек никак не мог взять в толк: вещицу отдают просто так, даром.

– Нет, не совсем. Я ведь должен заплатить...

Голос старика налился металлом:

– Забирайте, забирайте её, и прекратите свои глупости. Вы отвлекаете, вы, наконец, мешаете мне.

Он швырнул ручку, и та, отскочив от конторки, покатилась по полу, а старик сквозь зубы выдавил:

– Забирайте и ступайте прочь.

Совсем смешавшись, посетитель поспешил к двери.

Мне тоже пора было идти, но старик мог истолковать это как бегство. Будто бы я испугался. Вот ещё... Я остался в лавке на некоторое время, фальшиво увлекшись какой-то вещицей. Старик вытащил из ящичка конторки ещё одну ручку (похожую на ту, которую зашвырнул на пол), переместил очки с носа на лоб, и принялся за работу. Меня он не желал замечать. Повертев безделушку в руках, я положил её на место и направился к входной двери. Прежде, чем отворить её, сказал старику: «До свидания». Он махнул в мою сторону рукой, точно говорил: «Да ступай же, ступай...»

На улице, освещенной солнцем, взглянул ещё раз на вывеску странной лавки и подумал: мало ли чудаков бывает на свете...

Завершив свои дела в банке, я возвращался прежней дорогой. На месте вывески над лавкой, где странный старик раздавал ненужные вещицы, я увидал совершенно заурядную надпись: *КОРМ ДЛЯ ВСЯКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ*. Поначалу, признаться, не поверил глазам. Подумал даже: может, ошибся местом? Но нет, место – то самое. Я спустился, чтобы вновь удовлетворить любопытство.

Удивительно: помещение (даже входная дверь с колокольчиком) было прежнее, но никаких ненужностей, и старика с его конторкой не было. На полках рядами стояли бумажные мешки, пакеты, пластиковые и стеклянные емкости с кормом для живности. У кассового аппарата откровенно скучала продавщица.

– А куда девалась лавка? Тут была лавка со всяким хламом.

Женщина, не взглянув в мою сторону, задумчиво молвила:

– Откуда мне знать? Лавка... разве упомнишь, что тут было год назад.

– Как год? Не может быть!

– Если вам заняться нечем, не отвлекайте других от работы.

Какой работы? Если старик из лавки над чем-то усердно трудился и мог потребовать не отвлекать его, то чем, интересно, занята она? Может, глубокомысленным созерцанием перехода верхней части стены в потолок?

Обрушивая на продавщицу мысленные потоки возмущения, я вышел прочь из обильного царства кормов. Теперь не только странная лавка, не менее странный старик, но – ещё более – их таинственное и загадочное исчезновение завладели моими мыслями. Время от времени одергивая себя, я неуверенно предполагал: «Возможно, напутал, ошибся... или – попросту – лавка ненужностей почудилась мне? Ведь не совсем же выжил из ума, – отвечал я сомнительным этим мыслям, – и, пока, могу отличить иллюзию от реальности: я помню об этой лавке, о чудаковатом старике столько подробностей, столько мелких деталей, а их воображение не может выдумать сразу...»

Прошло несколько месяцев. Почти позабыл я о старике и лавке, но тихим снежным днем вновь набрел на неё. Место было иное, не то, где впервые разглядел я необычную вывеску, которая привлекла моё внимание. В пелене медленно летящих, крупных хлопьев снега различил знакомую надпись над входом в подвальное помещение. Точно невидимый поводырь провел меня к этому месту, через мутно-белый от падающего снега воздух. Провел и оставил... Я спустился, потянул дверь из толстого железа с накрепко приваренной ручкой. «Дзинь-дзинь», – зазвенел колокольчик.

Ничто в лавке не изменилось: так же полно всякого хлама, так же некий человек рылся в нем, так же сидел старик за своей конторкой, приподняв очки на лоб, и что-то усердно писал. Только в этот раз он не прервал своей работы, чтобы взглянуть на меня. «Пора всё разузнать», – подумал я и подошел к конторке. Старик продолжал писать, изредка переменяя наклон головы с одной стороны на другую.

– Не помните меня.

Старик опустил очки на нос, откинул голову, чтобы получше рассмотреть. Впрочем, узнал почти сразу:

– А-а-а... Давненько не виделись. Что не заходите?

Признаться, я был немного удивлен этим дружелюбием.

– Да ведь вы исчезли, как влажное пятно в жаркую погоду.

Старик захихикал и, теребя указательным пальцем кончик носа, сказал:

– Так эта лавка работает... Ничего не могу поделать – я всего лишь наблюдаю, да ещё веду записи.

Было видно – старик лукавил.

– Позвольте узнать, что вы пишете?

– Вам вряд ли будет интересно, – отвечал он, переводя разговор в иное русло.

– Тогда скажите, отчего ваша лавка вдруг исчезает. Прямо посреди белого дня?

– Во-первых, она не моя. Я только наблюдаю...

– За чем?

– К делу это не имеет отношения, но если вы будете менее нетерпеливы, мы гораздо быстрее доберемся до ответа на вопрос, который интересует вас.

У него хорошо получалось отчитывать оппонентов.

– Могу продолжать?

Я молча кивнул.

– Во-вторых, как вы успели заметить, лавка эта далеко не простая. Деньги здесь ни к чему. Важно, чтобы вещица, которая приглянулась, действительно была необходима. Тогда все получается... Так работают чудеса.

– О каких чудесах вы говорите? И что должно получиться?

– Говорите тише, наш разговор не предназначен для посторонних ушей, – старик взглянул в сторону посетителя. – Подойдите.

Я подошел ближе.

– Что должно получиться? Да откуда мне знать. Говорю вам, я – наблюдатель. Вероятно, тот, кто уходит отсюда с выбранной вещицей, знает об этом лучше. Не хотите попробовать?

– Нет.

– Конечно, нет.

– Откуда вам знать?

– Быть может, еще не настало время?

– Откуда вам знать?

– Да я и не знаю, у вас на лбу написано. Ещё когда в первый раз пришли сюда...

Я машинально провел рукой по лбу. Старик заулыбался:

– Не так явно.

– Вы можете определить: отыщет ли человек у вас что-то нужное?

– Разумеется.

– Не понимаю.

– Нет-нет, разум не поможет. Вы должны чувствовать...

– Что чувствовать?

– Ну, например, нужна вам вещица или нет. Уж поверьте, здесь выбирают именно то, что нужно. Почему? Не знаю. Как это работает? Не знаю. Становится человек счастливее? Не знаю. Может, нет. Ведь нужно ещё разобраться: для чего ему эта вещица... Далеко не каждому под силу.

– Одни вопросы, и ни одного внятного ответа.

– Я всего лишь наблюдаю...

– Для чего?

– Составляю отчет.

– Для кого?

– Не знаю, я его никогда не видел.

– Как вы передаете отчет?

– Через посланника.

– Какого ещё посланника?

– Приходит посланник – я отдаю отчет.

– Когда он приходит?

– Когда необходимо. Иногда часто, иногда долго не приходит...

– А если отчет ещё не готов? – я огляделся, пытаясь угадать, где мог посланник ожидать, пока старик закончит свой отчет.

– Берет что есть – ему некогда.

– Почему?

– Не знаю, он сам говорит об этом. Я прошу подождать, хотя бы минуту, но он забирает то, что готово, и не медля уходит.

– Вопросы, одни вопросы... Ответы рождают новые вопросы, похоже, им нет числа.

– Я говорил – разум не поможет.

– Ладно. Хорошо, почему лавка исчезает?

– Я это называю переездом.

– Забавно.

– Все дело в жадности.

– В жадности?

– Именно! Выбрав нужную вещицу, человек через некоторое время понимает: можно даром набрать много. Пусть не совсем нужно, или вовсе ненужно; главное – даром. Поэтому лавка переезжает. Выбрать можно только один раз.

– Разумно. А вы говорите: разумом не понять...

– Я говорил не об этом.

Тут позади кто-то прокашлялся. Видимо посетитель давал знак, чтобы ему уступили место у конторки. Я отошел.

– Сколько стоит эта штука?

– Нисколько, – мрачно ответил старик.

Желания наблюдать знакомое представление не было. Я вышел из лавки.

Снег прекратился. Я стал поодаль, посматривая на вывеску – хотелось своими глазами увидеть «переезд». Внезапно все вокруг, что могло блестеть и сверкать – сверкнуло. Жаль, никто не видел. Стало быть, человек в лавке произнес то, что выбранная вещица нужна ему... Точно завороженный, я смотрел на вывеску. «Ну же, ну же...» – мысленно подгонял ход событий. Не часто ведь становишься свидетелем настоящего чуда. Я был увлечен, не сразу заметил, как из лавки вышел посетитель, подошел ко мне, и недоуменно произнес:

– Он не взял денег.

– Что, простите? – я старался смотреть на вывеску, но затруднительно разговаривать, глядя поверх собеседника.

– Старик в лавке, с которым вы говорили, не стал брать денег.

– А-а, понятно.

– Он сказал...

– Я знаю, что он сказал.

– Но ведь так кто-нибудь его обманет.

– Не так просто его обмануть.

Незнакомец всего на несколько мгновений отвлек меня. На месте прежней вывески я увидел: *РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК, КОШЕЛЬКОВ И ПР. МЕЛОЧЕЙ.*

Он говорил, но я не слушал. Пусть думает, что я невежа. Пусть думает, что хочет. Я думал о чудесах... Потом сказал: «Мне пора». Через несколько шагов оглянулся: он шел своей дорогой. Он ничего не заметил и не знал: лавка для него пропала навсегда. А для меня? Может, ещё увижу старика? Ведь он сказал: пока не настало время, чтобы я отыскал в лавке нужную вещицу. Значит – должно наступить? Не знаю.

Ирина КОТОВА

БЕЛЫЙ САМОКАТ БОЛИ

***

отец
видел ее последний раз
двухлетней
в день пятнадцатилетия написал:
молчу от обиды
дочь долго плакала
впервые накрашенные ресницы
стекали неровными дорожками
по щекам
не могла понять
как взрослый
может обидеться на двухлетнюю

рыдая призналась –
каждый год
в день рождения
прислушивалась
к дверному звонку
ждала –
раскроется дверь
войдёт он:
в руках –
белый самокат

в тот день я поехала
в магазин
купила белый самокат
с большими колёсами
на нем можно
обогнать боль

теперь самокат
запылившийся
стоит в прихожей
для косточек его крыльев
не хватило кальция

Ирина Котова родилась в Воронеже. Закончила Воронежский государственный медицинский институт и Литинститут им. А.М. Горького. Доктор медицинских наук. Стихи публиковались в журналах «Вестник Европы», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новый мир», «Новая Юность», «Новый берег», «Подъем», TextOnly. Автор трех сборников стихотворений. Лауреат премии журнала «Подъем» (2003), лауреат литературного конкурса им. Булгакова (2009). Живет в Москве.

Хирургические ножницы бумажных самолетиков

война –
это когда
хирурги
затягиваются бычками на зажимах
их мытые руки
пахнут резиной
на каталках –
окровавленными простынями
закрыты лица
торчат холодные пальцы ног
некоторые – со свежим педикюром
на бирках – номера

у бумажных самолётиков
хирургическими ножницами войны
обрезаны крылья
вырезаны пилоты

Химия электродов чувств

у лягушки отрезают лапку
подключают электроды
раздражают то кислотой то электричеством
рефлексы лапки
рисуют на мониторе пики и падения
смертельные
шедевры выставки
актуального искусства

так химия электродов чувства
рисует
лягушачьей кожей женщины
называется –
любовью

Реаниматолог наоборот

священник – бывший реаниматолог
оказывает первую помощь прихожанину в храме –
дыхание рот в рот
непрямой массаж сердца

когда-то среди битых резаных рваных
желчи слюны соплей крови
блевотины гноя кала
он нашёл бога

теперь не хватает длины его рук
вкуса его языка
конечности его мысли
на спасение
теперь под ним – камень

он не может остановиться
не может молиться –
у него ничего не получается

смерть застегивает пальто на другую сторону –
слева направо

Прибавочная стоимость

сегодня первый человек полетел в космос
через проходную ликеро-водочного завода
выходят полные женщины
перекатываются на боках грудях ягодицах
холодцом резиновых перчаток со спиртом
перекатываются своей прибавочной стоимостью
портреты некоторых – на доске почета у проходной
охранник проверяет пустые сумочки
говорит –
сегодня первый человек полетел в космос
каждая героиня соцтруда улыбается улыбкой гагарина

безымянный ефрейтор
не вышел лицом статью улыбкой голосом
его не любят женщины
он летит в стратосферу
он летит – чтобы следующий
с красивой улыбкой
вернулся наверняка
нельзя – чтобы не вернулся
становится прибавочной стоимостью первого

кит – потомок парнокопытных
но удобнее видеть в нем –
левиафана

Гонконг

самое странное в этом городе – дыры в небоскребах
по феншуй – дракон слетает с гор
и пролетает сквозь дом на воду

иногда время превращается
в салат из мелко нарезанного лука

глаза дракона слезятся
он ошибается –
пролетает сквозь тебя

его стюардессы
в бело-красных нарядах китайских невест
полощут горло твоим голосом

называют тебя –
океаном

Сбитые колени детства

встреча с одноклассниками –
скольжение теней
по темному подземному переходу
бессмысленное торможение
линий жизни
на полном ходу
попытка
заняться любовью
на сбитых коленях
из детства

если вовремя стать не узнанной
в переходе зажгутся лампочки
их не сможет разбить
прошлое
игрушечных автоматов

Новорожденные червячки преисподней
Или попытка сближения
Или наши дети едят нас

фотографии
прабабушек и прадедушек
нужны для того
чтобы аисты
несущие
новорожденных червячков
в авоськах
нашли
нужную лестницу
в преисподнюю

в преисподней
живое
полным ртом

ест мертвое
перетирает
в труху
столы и стулья
прошлого

произносит
первое слово
в будущем времени
наоборот

Джорджио Моранди видит ушами слышит глазами

половина человеческой головы
не существующим ухом
прислушивается к тому
что за стеной
ухо отбрасывает тень
потому что
его не существует

глаз слышит как
за стеной
разговаривают
кувшины вазы бутылки
ухо видит
главное – не цвет кувшина
а пыль на нем
главное – не сам предмет
а его говорящая подробностями тень
при отсутствии теней
сам предмет – его тень

это доказательство того
что в материи нет смысла
который ей приписывают

а дорога должна быть белой
чтобы попытаться
найти себя на ней
даже днем

Крошка на столе

голубь в здании аэропорта
повторяет движения самолётов
ещё чуть-чуть
и он станет самым быстрым

самым большим
из них

но потом
вдруг
замечает крошку
на столе кафе
отключает турбины
забывает про небо
гадит на головы улетающих пассажиров

так бог становится крошкой на столе
бельмом окна пилота

Дед Мороз

Даше Алексеенко

два года назад
дед мороз оставил
отпечаток копыта
своего оленя
на подоконнике спальни
в прошлом году –
он промелькнул
тенью
возле мусорки
это может заметить каждый
если смотреть боковым зрением
в давние времена
он залез на крышу –
стал флюгером
раскачивающим мешком
чужих желаний
на ветру

одна девочка
не любила музыку
в этот новый год
она случайно съела
чужое желание
из того мешка
утром
у неё отросли
длинные нервные пальцы –
порвали
единственные кожаные перчатки
взяли скрипку

Марина КРАПИВИНА

РАССКАЗЫ

День рожденья

У тети Нади сегодня день рожденья. МЧС опять предупредило о феноменальных заморозках. Мы встретились с сестрой у метро, сели в автобус. По дороге сестра инструктирует:

– Выйдем на остановку раньше, у ДК, зайдем в «Пятерочку», купим водки, мама вино не может.

– А закуска у вас есть? – спрашиваю я.

– У нас все постное, мы постимся, – мрачно сообщает сестра.

Выходим из автобуса у ДК.

– О, смотри, у вас тут палатка с цветами сохранилась и овощная каким-то чудом! – я уже давно не видела ларьков.

– Тогда ты купишь цветы, – ответила сестра, закуривая на ходу.

– А подарок какой?

– Ночнушку купила, продукты и водку пополам, и ты цветы, окей?

Входим в «Пятерочку». В любое время дня и вечера здесь одинаково многолюдно. На весь микрорайон с кирпичными пятиэтажками это единственный доступный супермаркет. Небольшие продовольственные магазинчики, которые раньше были на каждом шагу, с некоторых пор ползуче заменили отделения коммерческих банков, мебельные и спортивные магазины, стоматологические клиники и салоны красоты. Основной контингент микрорайона пенсионеры, которые не являются клиентами Райффайзенбанка, или Альфа-банка, или Ситибанка, они никогда не заглядывают в магазин немецких кухонь (даже просто посмотреть), никогда не купят коньки или горные лыжи, и не будут заменять вставные отечественные челюсти на импортные импланты.

Застраивался район в 50-е годы как рабочий поселок при заводе, по сути, это был моногород, как и большинство первых советских спальных районов с хрущевками. Когда-то здесь было все свое: свой ДК, свои школы, детские сады, свои фабрики-кухни, стадион, своя музыкальная и художественная школы. В художку мы еще с сестрой ходили, потом все закрылось. Сейчас из всего изобилия остался только ДК. Теперь ДК в основном заточен на детские студии и кружки: по хореографии, по музыке, изостудия. Для взрослых недавно открыли сетевой эконом-класса фитнес-клуб, куда ходят в основном женщины, даже не в основном, а только женщины двух категорий: пенсионного возраста или очень полные домохозяйки, чтобы сбросить вес. Но диета и физкультура их быстро вводит в депрессивное состояние, хватает их недели на три, и похудеть они не успевают. Пенсионного возраста продолжают ходить, как ни странно.

Как и в любом ДК, здесь сохранилась сцена, и она не простаивает: яркие ужасного дизайна афиши, похожие на школьную стенгазету, регулярно сменяют друг друга: сейчас на жителей микрорайона, улыбаясь, взирает какой-то бесцветный парень с гитарой – Владимир Вибер, неде-

---

Марина Крапивина родилась в Москве в 1971 году. Окончила Московский государственный университет печати. Автор пьес и сценариев, финалист драматургических конкурсов и театральных фестивалей: «Любимовка» (Москва), «Евразия» (Екатеринбург), «Текстура» (Пермь), «Золотая маска» (Москва), «Свободный театр» (Минск) и др. Пьеса «Ставангер» опубликована в журнале «Современная драматургия» и поставлена в Таллине (реж. Ю. Муравицкий), в Лиепае (реж. К. Богомолов), в Уфе (реж. Александр Серов). По сценарию Марины Крапивиной снят документальный фильм «Слово на ладони», 2015 (реж. Юрий Малюгин) и др. Как автор рассказов публикуется впервые.

лю назад фасад ДК украшала огромная афиша с группой «Песняры», а до этого были фотографии юмористов Винокура и Петросяна.

Мы все еще в «Пятерочке». Сестра движется по знакомой траектории, я за ней: алкоголь, селедка, консервы, овощи. Взяли «Путинку» – по акции, ватные помидоры – по акции, рыбные котлеты – по акции, пельмени «Медвежье ушко» – по акции, а к чаю – и так дешевые без всяких акций конфеты «Коровка». Двигаемся к кассе, где меньше всего народу, с указателем «Не больше пяти покупок». У нас хоть и побольше, но мы все равно пристраиваемся. На кассе непривычно интеллигентный кассир – в очках с каким-то профессорским налетом. Когда сестра говорит: две пачки серого «Ротманса», к нему подходит сильно накрашенная продавщица с пятитысячной купюрой. Она явно заигрывает с «профессором»:

– Поменяй пять тыщ на четыре.

Он так же игриво посматривает на нее поверх очков, что-то отвечает про наличность и трудности со сдачей и начинает пробивать синий «Ротманс» вместо серого.

– Не синий, а серый, – раздражается сестра.

– А, серый. У нас есть серый? – спрашивает кассир загримированную под Клеопатру продавщицу.

Видя, что он уже пробил синий, а перебивать придется долго, я встреваю:

– Синий мне отдайте, мне все равно.

Кассир по инерции еще продолжает искать серый, на столе у кассы все еще лежит красная пятитысячная купюра. «Клеопатра» ждет, когда мы, наконец, отвалим. Я получаю синий «Ротманс», сестра серый, мы засовываем продукты в пакеты, уходим.

Идем мимо серых пятиэтажных домов, которые почти все будут снесены как хрущевки, согласно планам реновации, жители этих домов повторят судьбы когда-то живших на этом месте крестьян, которых в 50–60-х вот так, быть может, из одной деревни в двадцать дворов заселили сразу в один-два пятиэтажных дома. Тогда это было экономично. Одна деревня – один подъезд, три деревни – один дом. А теперь эти пятиэтажки нерентабельны, слишком много занимают места, слишком мало в них живет по теперешним стандартам людей. Весь микрорайон можно компактно заселить вообще в один высокий дом, а освободившуюся площадь застроят еще десятком небоскребов и торговыми центрами. Красота!

Мы подходим к нашему двору, плотно заставленному машинами. Двор этот существует с 56-го года, весной здесь пахнет сиренью, летом здесь прохладно и зелено от высоких тополей, зимой как-то уютно ходить по узкой дорожке среди огромных сугробов. Я всегда замечаю, что здесь тихо, потому что давно ничего не строится. Двор образуют, собственно, три дома, которые единственные из всего микрорайона, оказывается, реновации не подлежат, потому что они хоть и пятиэтажные, но хрущевками их не признали, это такой сталинско-хрущевский гибрид: на фасаде из серого кирпича уже успели убрать архитектурные излишества – лепнину, а вот потолки в квартирах оставили трехметровые; как и в хрущевках, нет лифта и мусоропровода, но в квартирах большие просторные комнаты и места общего пользования – туалет и ванная. Одним словом, долго думали и не включили только эти три дома в список сносимых. Сестра говорит, уж лучше бы и нас снесли, а то будем тут стоять, как три тополя на Плющихе, среди бульдозеров и стройплощадок, а потом запертые внутри небоскребов, как-то жутковато.

Мы с трудом (потому что с сумками) поднимаемся на четвертый этаж, открываем дверь. Тетя Надя лежит в своей комнате перед телевизором, я захожу, поздравляю ее с днем рождения, который уже давно не праздник даже для меня, а уж тем более для нее, 73-летней. Она равнодушно кивает, не отрываясь от телевизора, там идет очередной сериал про хороших сотрудников СМЕРШа и плохих шпионов или про бандитов. Где будем отмечать: у вас или на кухне? – Давайте на кухне, у меня диван сломался, теперь не задвигается.

На кухне сестра вынимает из холодильника остатки квашеной капусты, рыбные консервы, банку с кабачковой икрой, какие-то свекольные котлеты, все постное. Из пакетов извлекаем примерно такие же продукты, чистим картошку, ставим на огонь кастрюлю с водой, открываем консервы, разливаем водку. Тетя Надя, тяжело переваливаясь (у нее артрит), идет на кухню, тяжело садится. Чокаемся, поздравляем с днем рожденья, пьем, закусываем, вдруг где-то начинают сверлить.

– Это сосед опять, он уже три года делает ремонт, – говорит сестра, налегая на шпроты и кабачковую икру.

– Это который гантели на пол бросает?

– Нет, гантели Марк качок бросает, а это Борисенко сверлит, он недавно переехал.

– Это не Борисенко, – говорит тетя Надя, подцепляя вилкой селедку с кольцом лука, – это Пуляевы сбоку, они полки вешают.

– Да какие Пуляевы, не слышишь, что ли? – кричит сквозь дрель сестра, – у него перфоратор бошевский! – у нее есть способность отличать на слух бошевские дрели от наших.

Какое-то время мы сидим молча под звуки перфоратора. Это длится минут двадцать, водка доходит до половины. Тетя Надя хочет пойти к себе в комнату, чтобы начать смотреть «Поле чудес», она смотрит только из-за Якубовича (он ей нравится как мужчина) и из-за того, что она отгадывает все вопросы. А мы забираем водку и идем в комнату сестры, чтобы посмотреть какой-нибудь скачанный фильм. На этот раз мы смотрим «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и уже постаревшим Хариссоном Фордом. Мне нравится Форд, сестре нравится Гослинг. Какое-то время мы спорим, голубой Гослинг или не голубой.

За окном давно стемнело, в свете фонаря видны крупные снежинки, фонарь мигает, это действует на нервы. Сестра ставит на паузу фильм, и мы выходим на балкон покурить. Во дворе с разных углов появляются три бабки в окружении пяти-семи кошек. С балкона их лиц не видно, но слышно, как ласково они воркуют с животными. Они достают какие-то кулечки, пакетики с объедками, выкладывают все это в старые пластиковые контейнеры, кошки трутся об их ноги. Видно, что это дело всей жизни бабок, кормление кошек гораздо важнее, чем общение с детьми, внуками и соседями. Выкурив по сигарете, мы уходим с балкона, снимаем куртки, возобновляем просмотр фильма. Выпиваем еще по рюмке, закусывая капустой или селедкой. Так проходит вечер, наступает ночь, спать совсем не хочется, потому что фонарь мигает, часы тикают, хочется пить после селедки и всей этой ужасной постной еды, в голове стучит, на сердце тяжело. Хочется уехать домой, но ужасно не хочется одеваться, выходить на мороз, идти десять минут к остановке, ждать минут пятнадцать автобуса, ехать десять минут до метро, бегом, чтобы успеть до часу, сделать пересадку на метро, чтобы добраться до своего микрорайона на другом конце города, потом там ждать ночной автобус, опять ехать, идти по морозу, заходить в круглосуточный магазин, потому что у кошки кончилась еда, входить в подъезд, подниматься по лестнице на второй этаж, искать ключ, снимать пальто, разуваться, кормить кошку, ставить чайник, жадно пить после селедки сладкий чай, разбирать диван в крошечной комнате, пить мелаксен или донормил, включать ноутбук, искать сериал, засыпать под сериал, потом просыпаться под рекламу «азино три топора сруби бабла», думать о плохом, стараться не думать о плохом, стараться совсем не думать, встать, покормить кошку, выпить валосердин капель сорок, лечь, слушать свое сердце, выключить свет, закрыть глаза, потом открыть глаза, вставить наушники в уши, включить релаксирующую музыку, заснуть.

Урок труда

Не знаю, как сейчас, а в те времена, еще до перестройки и гласности, в общеобразовательных школах были уроки труда. И это были единственные уроки с раздельным обучением девочек и мальчиков. Девочек на этих уроках учили домоводству, в которое входило приготовление пищи и

пошив одежды. А мальчики должны были освоить столярное дело – допустим, научиться делать табуретки. Я не сидела на тех табуретках и не видела их, но отчетливо помню трудовика. Он всегда ходил в ярко-синем тренировочном костюме и почему-то в спортивной шапочке для лыжников, но это был не петушок, а такая, с помпончиком и ромбовидным орнаментом по нижнему краю.

Из-под шапочки у него росли кустистые брови, а голос был неприятно высокий. Еще на плечах у трудовика всегда болтался синий рабочий халат, слегка облепленный стружкой, а из карманов вечно торчали какие-то инструменты: лобзик, молоток, отвертка.

А вот учительницу по труду почему-то звали не трудовичкой по аналогии с трудовиком, а просто – Любовь Ивановна. Помню я ее смутно. И вообще не уверена, что именно ее звали Любовь Ивановна, может, она была Людмила Ивановна, а может, Светлана Николаевна, это непринципиально.

Учила она нас, как я уже сказала, двум вещам – шитью и кулинарному делу. Про шитье сейчас я рассказывать не буду, это отдельная и большая тема, да и про готовку особо рассказывать нечего. Кулинарные уроки были довольно приятные: приготовили первое или второе, или третье, и сразу съели, вот и весь урок. Из всех блюд я запомнила вегетарианские щи и салат «Весенний» (видимо, из оставшейся после щей капусты). А все остальные блюда – и пирожное картошка, и рыбные котлеты, и свекольные котлеты, и блинчики, и прочее и прочее – все это затмили бутерброды с селедкой.

Со щами в общем более или менее понятно. На урок девочки принесли овощи: Байкова – капусту (полкочана), Логинова – морковку, Малышева и Свирина – картошку, Самогаева и Сапцова – помидоры, Цибизова – лук и зелень, Балашова – перловую крупу, Петрова – соль и перец. А кто-то ничего не принес. В этот раз, но эти кто-то обязательно принесут продукты для приготовления второго блюда на следующий урок. А из оставшейся капусты (ее всегда больше, чем нужно) порубили салат «Весенний». В общем, щи сварили и съели. И рассказывать нечего.

А вот с селедкой была целая история. Этот урок труда совпал с кануном какого-то праздника: 7 ноября, 8 марта или 1 мая, только не Нового года. И почему-то Любовь Ивановна в тот день решила научить нас разделывать селедку и правильно нарезать хлеб, чтобы сделать правильные бутерброды. День наверняка был укороченный, а урок труда был последним уроком.

На первых партах на листах школьного ватмана навалено несколько буханок хлеба, разложены ножи, а в целлофановых пакетах лежит бочковая селедка, хорошая, надо сказать, селедка, жирная, в меру соленая, душистая, пряная. Мне такая теперь редко попадается.

И вот Любовь Ивановна сначала рассказывает, как в промышленных масштабах нарезать буханки мягкого черного (Дарницкий) хлеба: поставить буханку на попа, на малую грань (боковую) и острым ножом разрезать сначала ее вдоль на две половинки, а затем сложить эти половинки и быстро нарезать поперек – так получается сразу по два куска хлеба.

А теперь, девочки, научимся разделывать селедку. В жизни это пригодится. Сначала селедку надо выпотрошить. Для этого острым ножом поддеваете дырку на животе у рыбы (наверное, это анальное отверстие), и вот поддеваете там и дальше разрезаете брюхо к голове, а не наоборот, режете тоже вдоль, как буханку. Освобождаете тушку от внутренностей: кишки, пузырь, печень, молока и икра. Затем надо отрезать голову и срезать ножницами плавники, потом ножом проводим вдоль по хребту (надрезается шкурка), затем легко (как чулок) шкурка снимается, а затем селедку надо очистить от костей. Как это сделать? Очень просто! Вы берете тушку и разрываете ее опять же вдоль по надрезу на две половинки: в одной половинке останется весь хребет с ребрами, и он теперь легко отделяется от мяса, а вторая половинка уже без костей. Теперь осталось только нарезать готовые кусочки, чтобы положить их на хлеб.

Под присмотром Любови Ивановны девочки порезали только первую буханку и первую селедку. Похвалив всех за работу, Любовь Ивановна унесла первую тарелку с бутербродами в учительскую. И перед уходом напомнила, что есть бутерброды строго-настрого запрещается.

Остальные буханки и селедки девочки нарезали и разделывали самостоятельно.

Вскоре многие из учащихся стали слышать урчание в животах, это заработал условный рефлекс, который они проходили на уроках зоологии. Не то чтобы они были голодны, как те собаки на картинках с трубками в пищеводе, нет, они все пообедали в школьной столовой, но уже прошло часа два с тех пор, а селедка и свежий черный хлеб ударяли в голову.

И вот хлеб стал резаться неровно, то и дело на доске оставались какие-то обрезки, корки, одним словом, брак, который немедленно съедался. И от селедки оставалось все больше обрезков. Во-первых, мясо не всегда идеально отходило от хребта и костей, а во-вторых, Галя Тюрина объявила, что молока и икра съедобны! Бабаева и Романова стали спорить, утверждая, что только икра съедобна, а молока это вообще рыбья молофья! Это слово было довольно расхожим в 80-е, сейчас его и не слышно совсем. Менее осведомленные девочки, которые уже успели засунуть в рот молоку, стали плеваться. Но среди остатков были, конечно, не только эти рыбьи субпродукты, после нарезки тушки всегда оставались какие-то нестандартные куски, которые можно было положить на нестандартные корки хлеба и получались нормальные нестандартные бутерброды. А кто-то, конечно, не удержался и разок попробовал самые жирные и полноценные куски селедки, подумаешь – один кусочек!

Одним словом, когда раскрасневшаяся Любовь Ивановна очередной раз зашла за тарелками, она заметила, что количество хлеба и кусочков сельди не сходится. Наверное, слишком толсто режут. Она велела резать потоньше.

В следующий раз вроде все сошлось, но на тарелке лежали очень хилые бутерброды и в гораздо меньшем количестве. Каждый раз она пересчитывала бутерброды, недовольно хмурила выщипанные брови. А потом она заметила, как девочки жуют. Началось выяснение, почему они едят: ведь я же запретила. Девочки оправдывались, что они съели только корки и только икру (про молоку уже никто не сознавался), но Любовь Ивановна стала рассматривать селедку, и там тоже обнаружила недостачу.

Нет, это, помните, вы нам рассказывали про утряску, усушку, естественную убыль, бой! Это бой, Любовь Ивановна! – Нет, Байкова, бой это с яйцами! А с селедкой это называется недостача!

Но всему приходит конец на этом свете. Прозвенел звонок, и урок труда закончился. Девочки, насквозь пропахшие селедкой, с плохо отмытыми руками, надевают пальто в раздевалке, застегивают молнии на сапогах, нахлобучивают шапки на не очень хорошо промытые головы, берут портфели, мешки со сменной обувью и расходятся по домам, где давно уже стоят накрытые столы с такой же селедкой, разделанной без их участия, а еще там стоят открытые шпроты в масле, печень трески и порезанная колбаса сервелат из праздничных наборов.

С того дня я могу с закрытыми глазами разделать селедку, могу отделить мясо от костей, могу снять кожу, я все это умею, но никогда, никогда я не покупаю неразделанную, бочковую, хоть и вкусную и душистую от пряного рассола селедку, как и не люблю ходить на равнинных лыжах по равнинам (это сложилось после уроков физкультуры). Селедку я, конечно, ем, иногда, но беру ее редко, и только уже порезанную, и никогда не ем ее с черным хлебом, а только с белым или с вареной картошкой, а еще лучше с репчатым луком. И только под водку, конечно.

Полоса отчуждения

Что-то есть и жуткое, и притягательное в зонах отчуждения при железных дорогах в пригородах. С одной стороны, эти «места отвода» вдоль полосы – всегда промышленная зона с какими-то одиночными постройками, пристанционными комплексами, какими-то ангарами, гаражами, трубопроводом, бетонными заборами с неизменным граффити, запасными путями, унылым и каким-то мертвым пейзажем, с дикой растительностью, сильно пересеченной местностью, оврагами, болотцами. И вся эта среда вроде бы враждебна человеку. В то же время там всегда встречаются люди. Что они там делают? Ведь эти места совсем не предназначены для

прогулок. Сама я никогда не ходила по таким местам, пошла бы только со сталкером, для таких мест определенно нужен сталкер. Я же всегда смотрела на полосу отчуждения из окна электрички или поезда. И мне всегда казалось, что придорожные овраги и лесополосы просто созданы для совершения тяжелых преступлений, каких-то темных дел, бандитских стрелок. Жилищем такие места выбирают для себя маргиналы, а еще одичавшие умные собаки.

Вот внезапно выходят из перелеска двое молодых мужчин восточной наружности. Они в джинсах, хороших рубашках, но как будто из 70-х эти рубашки, в руках у них по полторашке пива, почему они решили именно в таком месте отдохнуть, устроить пикничок? А может, там, откуда они вышли, валяется только что растерзанное женское тело или мужское с ножом в печени? Мужчин уже не видно, а на пригорке из перелеска показалась пожилая дама с короткой стрижкой и двумя породистыми собаками: далматинцем и вроде бы кремовым ретривером. Почему она приходит выгуливать собак именно сюда – на полосу отчуждения? Наверное, она любит сюда приходить. С этим связано какое-то воспоминание, а может, просто живет в ближайшем доме. Поезд идет дальше, и женщина с собаками исчезает, кадры сменяют друг друга. И вот на пригорке появилось два безжизненных мужских тела в черных толстовках и черных джинсах, они спят, переплетясь ногами, похоже, это наркоманы, и приняли они какие-то тяжелые вещества, отчего отправились в другое измерение или в несколько сразу. А вот мальчик лет десяти-двенадцати перетаскивает свой велосипед через рельсы, а там этих рельсов целая туча. Видно, что в стороне, куда направляется мальчик, за деревьями мелькают жилые панельные дома, значит, он там живет, а этот путь короткий; заметно, как он торопится и как боится запутаться в этой рельсовой паутине, но преодолевает страх.

Все они – обитатели, постоянные и временные «резиденты» этой полосы отчуждения – они не видят нас, наблюдателей из змеистых, смертоносных, быстро проносящихся поездов, они ходят гулять, пить, курить, нюхать, убивать, играть, колоться, совокупляться, договариваться, решать вопросы, спать, собирать грибы, рукоблудить, рисовать на бетонных заборах, драться – к железной дороге как к месту, где их никто не увидит, но в том-то и дело, что их видят, фрагментарно, и никогда за этими занятиями, видят тысячи глаз и в то же время не видят. Они как будто специально, сделав в этих кустах и оврагах свои тайные дела, должны обязательно показаться нам, проезжающим, «поездным», как они нас, наверное, называют, эти жители мертвой зоны полосы отвода. Чтобы закрепить свое существование. И мгновенно скрыться за поворотом. И неважно, что я больше не увижу их никогда, они теперь существуют, потому что их увидели.

Наталья ПАНИШЕВА

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ БУМАГИ

***

Так и будет, моя хорошая, так и будет:
Солнца бубен,
Звенящий полдень, плывущий зной,
На скамейке оставленный – в синей обложке – Бунин.
Восемнадцатый. Двадцать первый. Тридцать седьмой.

Будет лето. Опасное лето. И канут в Лету
От квартиры пустой бессмысленные ключи.
Но давай мы с тобой не будем пока об этом,
Мы экзамен держать готовимся по билетам.
Ты пока перечитывай, запоминай, учись.

***

Письма в провинцию. Нож костяной.
Я первым долгом читаю постскриптум
И прислоняюсь к стене. За стеной –
Маленький мальчик, терзающий скрипку.

Вспомнишь, что каждый вот так начинал:
Помесь любви и рутинной работы.
Сколько их мается по вечерам,
Мальчиков, не попадающих в ноты.

Кажется, это уже седина,
Тронешь ладонью – всего лишь белила.
Настежь балкон, над балконом – луна.
Глубже вздохнуть и вцепиться в перила.

Наталья Панишева родилась в 1987 году в Кирове. Окончила филологический факультет Вятского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Публиковалась в журнале «Москва», интернет-журналах Textura, «Пролог». Автор трех поэтических сборников.

Тянутся между столбов провода,
Словно линейки из нотной тетради.
Жизнь не закончится. Нет. Никогда.
Мальчик, играй бога ради.

***

Покажи, хороший мой, где у тебя болит?
Где немецкий и польский? Где греческий и иврит?
Где молчание, или где шум и гомон?
Где цветёт ковыль, где качается сухостой,
Где играют дети в салки во ржи густой?
Там, где новостройки, или где старый город?

Двор полуденным солнцем до самых краёв залит,
Во дворе не осталось давным-давно никого своих,
Ветер треплет бельё на верёвках и жимолость молодую.
Прислонись спиной к расшатавшемуся крыльцу,
Одуванчика пух собери в кулак, поднеси к лицу,
Покажи мне и я подую.

***

На другой стороне бумаги – болота, леса, овраги
И от края отступ в четыре клетки – расчерченные поля.
На другой стороне деревья, деревня, стропила, лаги,
Золотые зёрна, саврасовские грачи, дымящаяся земля.

На другой стороне бежит тропинка от дома к дому,
Землю топчут гнедые кони, грызут железные удила,
Вьётся вышивка по подолу, всё ладно, всё складно, всё по-другому,
А на этой пусто. На этой белым-бело. На этой – зима.

***

Неподкованный конь выходил на просторы стола,
Журавли косяками летели по белым страницам,
А она и вино разлила и долги раздала,
Ей осталось исполнить одно обещание – сниться.

Мотылёк полетит на потушенный ею огонь,
Соловей захлебнётся руладой на пятом колене
И ударят часы. И пойдёт неподкованный конь
Вкруг да около кола на туго натянутой ленте.

Наши яблони держат сто тысяч грехов на весу.
Мотыльки вкруг потушенных ламп по привычке летают.
А она, собираясь к нему, заплетает косу.
Хоть косы уже нет много лет, всё равно заплетает.

На тяжёлые весла привычно ложится рука.
Тишина опускает еловые синие лапы.
Только падают яблоки. Только мерцает река.
Только бабочки бьются о купол потушенной лампы.

***

Расчерти на клеточки тротуар,
Гладкий камушек зажми в кулаке…
– Мне откуда знать зачем Грегуар
Пропадал вчера на реке.

Выпадает камень из детских рук
И кричит пищалка «уйди уйди»…
– Мне откуда знать, что за странный стук
Раздаётся в его груди.

Из открытых окон зовут домой,
Льётся музыка, женские голоса
И сосед твой, верный товарищ твой
Подзывает пса.

Он уйдёт, тебе не подав руки,
Он от глупых фантазий твоих сердит.
– Ты не веришь, но на берегу реки
На песке Грегуар сидит!

Он на поезд, дымящий вдали, глядит,
Он глядит на белые облака
И щегол поёт у него в груди,
И подруга спит на руках.

***

Наливается плод, вызревает в саду гроза.
Поглядишь, помолчишь. А попробуешь рассказать –
Убедишься сам, как легко потеряет нить
Говорящий, но не умеющий говорить.

Подожди. Если хочешь о чём-то спросить – спроси.
Почитай «Шахнаме»: говорящие на фарси
Отчего-то спокойнее дышат и нараспев
Умудряются жить, а ещё – усмиряют дев,
Приручают птиц, уговаривают богов...

Только если речи выходят из берегов,
А в дремучих лесах не найти одолень-травы.
Что осталось? Язык свой пробовать на излом.
Рукава наших рек за спиной затянуть узлом.
Птичье пение перенять. Научиться выть.

***

Свет в твоём окне как всегда допоздна горит,
У соседей за стенкой скандал и битьё посуды.
Ты наморщишь лоб, вычленяя искомый ритм
Из пульсации стрелок и стрёкота «Ундервуда».

В кухне тикают ходики, шелестит календарь,
С поднебесных высот возвращающий в мир тварный.
Ты стоишь и куришь, и вглядываешься вдаль,
Где по рельсам катится, вздрагивая, товарный.

Сергей БОРОВИКОВ

В РУССКОМ ЖАНРЕ – 55

***

Скольким людям девятнадцатого века довелось пожить в двадцатом веке и умереть своей смертью до 1917 года? Много безвестных граждан Российской империи, а ещё – Толстой, Менделеев, Чехов, Гарин-Михайловский, Мамин-Сибиряк, Суриков, Левитан, Мечников, Витте, Серов, Куинджи, Балакирев, Станюкович, Айвазовский, Вл.Соловьев, Врубель, Комиссаржевская, Анненский, Римский-Корсаков, Склифосовский.

Счастливцы!

***

В бухгалтерии почтенного московского учреждения в советские времена одна стена была сплошь заклеена пустыми сигаретными пачками. Посетители, особенно из провинции, дивились: сколько на свете курева! Им-то известны были «Казбек» с «Примой» и «Беломор» с «Памиром».

В одном-другом-третьем-десятом домах буфеты украшались рядами пустых кофейных банок. Их не выбрасывали, а еще выпрашивали у знакомых.

В другом-втором-пятом доме кухни украшались баночками из-под импортного пива. И казалось, что в банках этих содержалось не пиво даже, а некий экстракт свободы и райских наслаждений.

А в гостиной на журнальном столике расчетливо небрежно был положен крепко потертый номер позапрошлогоднего «Пари-матч» или «Шпигеля». А в укромном месте у хозяина – но это очень редко! – хранился и вовсе – тсс! – номер «Плейбоя» пятнадцатилетней давности, барышень из которого разглядывать было любимым угощеньем гостей, собравшихся на октябрьские, майские или день рождения.

Так было во второй половине прошлого века в великой стране под названием СССР.

Но, разумеется, в 40-е, да и в 50-е, особенно в провинции, ни о каких кэмэлах-нескафе-шпигелях, даже и в использованном облике, никто и не слыхивал. А кто слыхивал, тот на цэковской даче жил, где «кино с Целиковскою». Или же находился в местах отдаленных, что, впрочем, зачастую чередовалось. А знают ли современные дети, что означает слово «фантик»? А ведь тот, а скорее та, у кого было больше тщательно разглаженных на ссаженной коленке «Мишек на Севере», «Белочек» или «А ну-ка, отними» был королем, этаким дворовым олигархом.

Сейчас, как и все, давно уже не замечаю прыгающего в глаза обилия картинок, этикеток, оберток на всяких мыслимой и немыслимой формы и расцветок банках, бутылках, коробках. Как и все, ворчу на качество. Но иногда словно бы очнусь, вспомню витрину моего детства, на которой высились пирамиды банок с крабами. Витрину моей юности, на которой лежали разве что банки с тушенкой и плавленые сырки. Витрину моей молодости, когда постепенно на витрине уже ничего не лежало, а угрюмая очередь теребила в руках талончики на мыло, масло подсолнечное, сахар, колбасу «белковую» (изготовленную, как неприятно пошутил мой приятель, из ногтей)...

Вспоминаю и не хочу туда. Обратно в наш советский рай с фантиками.

***

Так часто повторяли, что безусловно и поверили в то, что за сколько-нибудь диссидентское поведение у писателей отнимали даже глоток свободы, не печатали, не пускали за границу. Вот отрывок из хронологии жизни и творчества Булата Окуджавы:

1966, весна – участие в съемках фильма «Женя, Женечка и „Катюша“» в Калининграде.

Март – подписание коллективного писательского письма в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля, осужденных за публикации их произведений на Западе.

Май – публикация пьесы «Глоток свободы» (ВУОАП, на правах рукописи).

Лето – работа над сценарием «Частная жизнь Александра Сергеича» (по заказу Одесской киностудии).

Июль – поездка в Швецию в составе писательской группы. Вечер советских поэтов в Стокгольме.

1967, январь – выступления в Казани и Ульяновске, вызвавшие донос в Москву первого секретаря Ульяновского обкома КПСС А. Скочилова.

11 марта – концерт в московском Доме кино (с Р. Казаковой). Первое исполнение «Молитвы».

Март – выход безгонорарного номера «Звезды Востока» в пользу жертв ташкентского землетрясения. Большая подборка Булата Окуджавы, включающая «Размышления у дома, где жил Тициан Табидзе».

Апрель – Окуджава дает пояснения по поводу письма А. Скочилова в отделе культуры ЦК КПСС.

Май – гастроли в Ленинграде.

Июнь – выход на экраны фильма «Женя, Женечка и „Катюша“».

Июль – поездка в Польшу. Встреча с польскими диссидентами и деятелями культуры.

21 августа – 12 сентября – поездка в Югославию на поэтический фестиваль «Стружские вечера».

Сентябрь – премьера «Глотка свободы» в постановке Зиновия Корогодского на сцене Ленинградского ТЮЗа.

Октябрь – недельная поездка в Венгрию.

Конец ноября – декабрь – поездка в Париж. Выступление в зале Мютюалите, запись 20 песен для фирмы Le Chant du Monde.

1968, январь – поездка в Мюнхен.

Февраль – март – поездка в Австралию и Индонезию.

Записи из дневника

***

19-21 мая 1984.

На теплоходе «Клара Цеткин» областной литературный праздник «Россия, Родина моя!»

О.Л. Ковнер – станция юных туристов, Л.Изр. – учительница, ещё насупленный начальник станции юных туристов, фамилию не расслышал. Выставки, очень трогательные, но огорчающие тем, кого ребята «изучают»: «К нам в посёлок приезжал Вас.Пав.Кондр.», «Мы встречались с сестрой композитора Е.Бикташева».

Люда Каримова, у неё под Сталинградом лежит убитый отец.

Ресторан. Официантки: черномазая, лёгкая, как змея, блядёшка и серьёзная казашка. Злые, потому что превратились в подавальщиц стандартных обедов, к тому же детям, которые шумят, не пьют, не дают на чай. Вечером, после закрытия, пил с ними коньяк и говорил за жизнь, казашка очень серьёзно спрашивала о литературе, другая выделывалась. Время от времени приходил кто-нибудь из команды и тайком в долг уносил бутылку портвейна.

Лучшее как всегда в послезакатные часы, ветер, гладкая вода, с берега – явственный запах сирени. Возникающие повороты обрывистого правого берега то и дело сулят: что-то откроется, но нет конца этим изгибам, этой грубым ножом с рассыпкой отрезанной ленте, поросшей по верху мелким леском, с редкими оврагами, немногими, но крупными селами.

Волгоград, неприглядный с Волги, своим сочетанием сталинского барокко и куда большей, чем в Саратове, запущенности, испорченной первозданности. У нас уж хоть – четкая искусственность всей бетонной набережной, здесь же – куски изуродованного песчаного берега сменяются кусками гранитной одежды, пыль тропинок и придорожных кустов скрывает величественную парадную лестницу, ведущую к Аллее Героев. Колоссальный речной вокзал, некрасивый...

***

Поездка с отцом на его родину *(18-23 августа 1984 г.)*

18-е. Пароход «Парижская коммуна» (постройки Коломенского з-да 1914 г. «Иоанн Грозный», затем «Петроград», с 1924 – П.К.). Один из девяти оставшихся старых пароходов на Волге. Каюта неимоверной, всегда удивляющей в них высоты. Ресторан в тесном помещении на корме, тогда как носовой огромный салон, бывший рестораном, с диванчиками и стеклянными наверху спинок перегородками между ними, превращен в неизвестно что с телевизором.

Чешское пиво в ресторане с нагрузкой – ирис Ейской фабрики, который скормили за Ульяновском чайкам, висящим за кормой. Толстые официантки. В каютах едят и пьют.

Вольск, застланный дымом, сквозь который прорывается бурый свет заката. Тетка с пристани осталась на пароходе и бегает по фальшборту, занося и отдергивая над ширящейся полосой воды толстую ногу. Спустя несколько километров ее забрал от нас встречный толкач.

19-е. День рождения отца. С утра – Сызрань, пустой берег. Дамба. Мужики, бегущие на пароход за пивом.

Берега и острова, еще не устоявшиеся после разлива Саратовского водохранилища, такие были у нас лет двадцать назад после пуска Сталинградской ГЭС, с полусгнившими деревьями и кустами.

В Куйбышеве лишь поднялись по Ленинградской позвонить в Саратов, да погуляли по обширной и пустынной набережной с пляжем внизу. В ресторане выпили коньяку, затем я один вина, так что к Тольятти, к шлюзам, пребывал уже в расплывчатом настроении, в котором, впрочем, лучше наблюдать. Черная, с мятущимися ртутными бликами фонарей, закипающая вода шлюзов. Когда опускаемся донизу, тягостное ощущение могилы. После выхода из шлюза тишина, беззвучность хода.

20-е. Ульяновск тихий и прохладный. В такси отец вспоминал годы военной службы в Ульяновске. Походили по улице Гончарова с непрестанным страхом отца опоздать на пароход.

Кухня на Паркоммуне отвратительная, порционное блюдо всего одно и то же говенное – эскалоп. Еще два года назад я жрал на пароходе «Мих. Калинин» белужину, благословляя патриархальность пароходной жизни.

За Ульяновском развеялся туманчик, широкий разлив осветило солнце, полетели чайки, рядом с нами прошел новый сверкающий четырехпалубный «Александр Пушкин», где золотая надпись почему-то напомнила мне поэта – она смотрела в воду, вероятно, от памятников на Тверском и в Питере, где Пушкин смотрит вниз.

Стали меняться берега. Пошли леса, сосны, глинистый обрыв. Первый штурман собрал в салоне пассажиров для беседы. Все время сбивался на то, что раньше на Волге было лучше, и тут же неуклюже выправлял вредную мысль, но ненадолго. Узнал от него, что несмотря ни на какие водохранилища и изменения русла, пароходы ходят тем же судовым ходом, что и десятки лет назад. А как же напротив Саратова, где в июльское мелководье большие суда шли у левого берега, даже не приставая в Саратове, а в Покровске?

Тетюши, увековеченные агапеновским деверем, где отец был уверен застать древнюю пристань, встретили нас строящейся причальной стенкой, стеклянным павильончиком забегаловки и толпой, жаждущей пароходного буфета. Впереди гордые татарские милиционеры. Толпа машин и мотоциклов (само село на горе). Едва причалили, уж стали прыгать с берега на борт и обратно с бутылками «бархатного», еще саратовского, (в Самаре получили свежее, его от не пассажиров спрятали), ситро и арбузами, купленными у палубников, везущих их куда-то выше. Тут же, на дебаркадере без надстроек, пьют пиво, разрезают арбузы. Восторженный татарин, угощающий всех.

К вечеру Куйбышевский Затон. Видимость спокойствия, деревянной тишины.

Наплывающая из тьмы Казань, не приближенная к пристани. Пустынный стеклянный вокзал. Пустая же короткая рядом набережная. Точки палубных огней парохода.

21-е. Рано утром, в сырой мгле стал проявляться левый берег. Йошкар-Ола находится далеко от Волги, но марийцы вынесли отдельную пристань с ее именем, хотя у них есть порты Волжск и Козьмодемьянск. Благоустроенный берег. Грибники ждут автобуса. Они отовсюду, с «метеоров». Роскошный туристский «Икарус» здесь ходит рейсовым. Прямая дорога, прорубленная в лесу.

Автостанция. Автобусы на Яранск все лето не ходят из-за плохой дороги. Берем до Санчурска (Кир. обл.). Лес дорогой уже не так тёмен, дали, холмы.

Везут все, вплоть до хлеба, в Санчурске хлеб по талонам: 1 кг в день на человека. Санчурск неслышный, деревянный, деревянные тротуары.

Дорога до Яранска колдобинная. Едут в основном по деревням: к Яранску автобус пустеет. Везут хлеб, тетради, растительное масло.

Села небольшие, почти везде уцелели храмы. Большие бревенчатые серые от старости избы, пустота и тишина.

Яранск на холме при реке Ярань. Встречает огромный храм, с которого сшибли купола. Чувствуется, что это город, а не деревня, хотя бедность жуткая.

Гостиница.

– Где у вас душ?

– Горячей воды в городе нигде нет, только баня.

23-е. Роща. Грибы. Старик-грибник на кривой ноге: был бондарем на маслозаводе. Березово-зелёный свет отовсюду.

Выступление ГФ в автоколонне.

Ресторан КООП, где официантки отказываются взять на чай даже несколько копеек.

Посещение бывшей учительницы Сретенской школы Надежды Ивановны 87-ми лет. Комната в бревенчатом доме. Выглянула чернявая маленькая старушка из двери и, глядя на ГФ, стала кричать: «Кто это? Зачем? Я глухая!»

В большой комнате, очень бедной и чистой, кровать с телогрейкой, шкафчик со стаканами и пачками «Беломора». Во время разговора (отец весьма туг на ухо, она – вовсе глуха) через окно во двор, завешенное рваной гардиной, вскочили две собаки – крупные болонки, распространяя резкий псиный запах. Следом в занавеске, не отодвигая ее, явился гигантский лоб и страдальческий мужской глаз.

***

Б.д.

Сегодня коротким маршрутом (дом – Полицейская – Московская – Приютская – Часовенная – Александровская и по проспекту через Липки и М. Сергиевскую) домой. Два холодных дня после дикой жары, поэтому приятно бродить. В Липках вдруг полная зелень, которой уж год постариковски тупо удивляюсь: «вдруг» весна, «вдруг» лето, «вдруг» зима. В Липках всё в сирени и её запахе.

Борис Петров, совсем старенький, на лавочке с авоськой, где два батона, жалуется всё на того же Е. Максимова.

На проспекте бесконечные лотки и на них бесконечные ананасы, бананы, апельсины, журналы с голыми девками. Импортные сигареты (долго искал, купил подешевле – 1,4 тыс. – «Петер и Джонсон», американские, оформленные под английский стиль, оказались чересчур слабые – дёшево зря не бывает), целые изогнутые витринные поля магнитофонных кассет разноцветных, и ни одного нашего, человеческого продукта: пирожков или кваса. Мороженое от 2 до 15 тысяч. Как бы поубавилось кучек бритоголовых.

Кафе «Распутин» на Верхнем базаре под администрацией – скажи 10 лет назад, что такое возможно! Но ведь возможно, и – не нужно, и не удивляет. Так, вялое недоумение.

***

20 авг. 97.

Опять потеплело, день палил почти по-летнему, но вечер по-осеннему облегчённый. В восьмом часу у ненавистного мне фонтана, заделанного на месте старинного дома с гастрономом и хорошо известным мне двором, напротив консерватории, жалко полощется красный транспарант: «Восстановим единую коммунистическую партию Ленина-Сталина!» Так пишут ангажированные СМИ, но и в самом деле десятка три-четыре пенсионеров. В мегафон орёт крепкий дядечка моего возраста, на толстом брюхе иностранная надпись на бежевой майке. Резолюция об антинародном режиме, призыв к стачке, походе на Москву. Чуть вдалеке автомент овка с несколькими ментами возле неё. И – никто из прохожих не останавливается, даже головы не поворачивает. Видел лишь двоих остановившихся. Первый – некрутой новый русский с четко стриженным каштановым затылком, в свекольных широких штанах, жёлтых туфлях и белом мятом пиджаке, почти окончательно пьяный, с только что купленным и поедаемым с чисто пьяной жадностью мороженым. Второй – известный саратовский юродивый, поэт-песенник, автор «Ксюши – юбочки из плюша», «Два кусочека колбаски», «Вишневой девятки», «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», Юра Дружков, жеманный, как всегда в пропотевшей распашонке, пропотевших до пяток сандалиях, и – этого я еще не видел у него, крашенными ярко-рыжими волосиками на лысинке.

Потом ко мне подошел тренер из бассейна «Саратов», забыл фамилию, разговор сначала о нашем общем знакомом, потом о недавней смерти В. Давыдова. Весь город бормочет, что тот был в гостях у директора Балашовского комбината плащевых тканей, и в один миг оба умерли – директор у себя дома, Давыдов в автомобиле по дороге в Саратов. Тренер рассказал, что Давыдов пил запоем, лёжа, в одиночку. Информация у него от приятеля, тренера директора турбазы предприятия Давыдова, где шеф лежал в своем домике и ему неделю возили водку, пока тот не отопьется.

***

Б.д.

Р. – музыкант, родственник покойного профессора консерватории Семёна Соломоновича Бендицкого. Он записал, притом ярко и складно, рассказы своего покойного тестя, и мы приняли их к печати.

Обладает способностью несколько раз в день встретиться на улице и спросить, скоро ли выйдет номер, и скоро ли гонорар, и сколько экземпляров он получит бесплатно. А сколько можно купить в редакции? Кроме того он всегда заходит в редакцию в неподходящие моменты – то погрузка-разгрузка книг, то пришедшая комиссия по условиям труда. Но, видя, что не вовремя, он не уходит, а лишь застенчиво улыбается и краснеет, весь подёрнутый красно-медной рыжиной.

– Простите, восьмой номер уже вышел? Нет? А когда выйдет? Но все-таки...

Не дай Бог сказать ему – в среду, он придёт утром в среду и будет удивляться, почему номер ещё не вышел, хотя тысячу раз слышал от нас про типографию, деньги и проч.

– Скажите, а седьмой номер я еще один могу приобрести? Нет? Но вдова Семёна Соломоновича просила... У Лены спросить? А где найти Лену?

После отказа у Лены он медленно боком уходит по нашему долгому коридору, оглядываясь и виновато улыбаясь, но всем видом показывая, что понимает, что мы его обманываем, и может быть все же снизойдем к просьбе вдовы Семёна Соломоновича. А вдова живет в соседнем с редакцией подъезде и при встречах ни о каких номерах не заикается.

Наутро звонок:

– Скажите, а восьмой номер вышел?

Я (не узнав его):

– Выйдет на днях.

– Скажите, а это точно?

– Почему это вас так интересует?

– Я автор.

– А кто именно?

– Р.

– Так я же вам вчера...

– Да, извините. А седьмой номер еще один нельзя приобрести? дело в том, что вдова Семена Соломоновича...

– Я же вас направлял к Лене!

– Она сказала, что уже нельзя, но я подумал, может быть...

Когда номер вышел, при встречах на улице Р. со мной не здоровается.

***

Б.д.

«НОВОСТИ САРАТОВА

Саратовец задержан за кражу ботинок в Москве

В Москве за грабеж задержан житель Саратовской области. Мужчина зашел в магазин, выбрал пару обуви, и, показав контролеру на выходе нож, скрылся, не заплатив. Работники торговой точки вызвали милицию. Грабитель был задержан через полчаса – он сидел на лавочке неподалеку от магазина и примерял ботинки. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщает Сити-FM».

А ведь аналогичными «преступлениями» до сих исчерпываются криминальные рубрики саратовских СМИ.

2018

Георгий КВАНТРИШВИЛИ

«НА ПИСАТЕЛЬСТВО У НАС СМОТРЯТ КОСО...»

Писатель Иван Борский (Иван Алексеевич Бухалов)

Начнём рассказ об одном писателе рассказом о другом. Инженер Николай Георгиевич Михайловский, удалясь от дел инженерных, решился на авантюру. Купил имение Гундоровка в Бугурусланском уезде родной губернии своей супруги, Самарской, повёл дело «по науке». Результат должен был осчастливить и самого Михайловского с семьей, и окрестных крестьян.

Потерпев сокрушительное фиаско, он приезжает в губернский центр.

Когда я проходил мимо группы молодых людей, сидевших за столиком и пивших пиво, меня окликнули по имени и отчеству.

– Не узнаете? – спросил окликнувший тихим сиплым голосом, ласково улыбаясь.

Я напряг свою память: где я видел эту застенчивую, сутуловатую фигурку, смотрел в эти черные глаза, слышал этот тихий сиплый голос?

– Вы статистик, Петр Николаевич? Извините, фамилию забыл.

– Антонов, он самый, присаживайтесь...

(«В сутолоке провинциальной жизни»)

Дальше выясняется, что «Антонов» – большинству персонажей писатель изменил имена, здесь не исключение – по делам службы заезжал к Михайловскому в имение, где прожил несколько дней.

Я очень обрадовался ему. Его товарищи скоро ушли, и я, так как деревня каким-то непереваренным колом постоянно торчала во мне, на вопрос, как идут мои дела в деревне, рассказал Антонову о всех своих злоключениях.

Антонов, согнувшись, внимательно слушал меня и, когда я закончил, задумчиво сказал:

– Какой богатый материал... Если бы вы могли написать так, как рассказали... Отчего бы, в самом деле, вам все это не описать?

– Для чего?

– Напечатать.

– Собственно, кому это интересно?

– Интересна здесь деревня, ваши отношения... Насколько я понял, вы ведь вперед, так сказать, предугадали реформу и были... добровольным и первым земским начальником... Нет, безусловно интересно и своевременно...

– Если печатать, то где же?

– В «Русской мысли», в «Вестнике Европы».

– Шутка сказать!

– Вы напишите и дайте мне.

– А вы какое отношение имеете к этому?

– Я тоже пишу.

– Что?

– Очерки, рассказы.

– Вы где пишете?
– Прежде писал в «Отечественных записках», теперь в «Русской мысли».
– Вы и тогда, когда у меня были, тоже писали?
– Да.
– Отчего же вы ничего не сказали тогда?
– Не пришлось как-то.

Спустя какое-то время инженер Михайловский дебютирует в качестве писателя под псевдонимом «Гарин». Дебют поздний, автору сорок лет. Те самые деревенские «злоключения», которыми Гарин-Михайловский делился с «Антоновым», озаглавлены «Несколько лет в деревне» и напечатаны в рекомендованной «Русской мысли».

Кому же сказать спасибо за появление далеко не последнего писателя в русской словесности? Кого благодарить за Тёму, уже второе столетие достающего Жучку из колодца? Кто же скрыт под именем Петра Николаевича Антонова?

Насколько мне известно, ответ на этот вопрос был дан 77 лет назад. И все эти 77 лет благодарность передавалась не по адресу. Неверно выявленный прототип – Н.П. Ашешов – закрепился и в краеведческой литературе, и в комментированных изданиях Гарина-Михайловского.

Начнём доказательство этой неверности от противного. Николай Петрович Ашешов появился в Самарской губернии в январе 1893 года. Писательский дебют «Н. Гарина» состоялся в предыдущем году. Тем более не может быть и речи о приезде в имение к Михайловскому за два года до описанной встречи. Жаль отбирать лавры вдохновителя у Николая Петровича. Забытый незаслуженно интереснейший персонаж, чьи очерки и критические статьи ожидают переиздания. Но наш нынешний герой находится в ещё более плачевном состоянии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Дотошный интерес к нему был проявлен чуть ли не впервые ровно спустя столетие после дебюта Гарина-Михайловского. Долгая безвестность сменилась статусом «заметного литератора» благодаря персоналии в первом томе биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917», 1992. Архивные данные ЦГАОР (ныне – ГАРФ) и ЦГИА вычерчивают контур биографии. Иван Алексеевич Бухалов родился предположительно в 1859 году, вероятно в городе Краснослободске нынешней Мордовии, тогда входившем в Пензенскую губернию.

Теперь совместим пунктир биографии Бухалова (Б.) с тем, что нам известно о «Петре Николаевиче Антонове» (А.).

А. – работает статистиком, за два года до встречи приезжает в имение Михайловского. Михайловский обитал в имении в 1883-86 годах. Встреча произошла, очевидно, не раньше 1886-го (последнего года в имении), но не позже 1892-го (писательский дебют).

Б. – где и кем он работает с 1884 по 1892 год – неизвестно.

Вполне мог именно в это время работать статистиком, подтверждений гипотезы нет. Но нет и противоречий ей.

А. – публикует очерки и рассказы прежде – в «Отечественных записках», теперь в «Русской мысли».

Б. – публикует очерки и рассказы в «Отечественных записках» в два последние года их существования: 1883 – апрель 1884, закрыты цензурой, Б. удаётся буквально заскочить в последний вагон. Последующие публикации, увы, не в «Русской мысли» (не выявлены? ошибка Гарина-Михайловского, писавшего воспоминания годы спустя?), а в «Вестнике Европы», «Наблюдателе» и «Эпохе».

Никаких сведений о других литераторах из Самары, публиковавшихся в это время в «Отечественных записках», нет. Но главный туз спрятан в рукаве. Именно для того, чтобы достать его в этот момент. Ранее выпущенная часть диалога:

– Вы что написали?

– «Максим-самоучка», «Дневник учителя», несколько рассказов. – Он назвал свой псевдоним. – Читали?

– Нет, – отвечал я смущенно, – не успел... Непременно прочту...

Самое известное произведение Б. – «Максим-самоучка», напечатано первоначально под заглавием «Дошёл до дела» в «Отечественных записках». Отдельной брошюрой издано в серии «Народная библиотека» в 1885-м. Выдержало несколько переизданий, известно, например, аж пятое издание в Одессе в 1897-м. «Дневника учителя» у Б. не обнаружено. Но добрая половина им написанного связана с темами из учительского и ученического быта. Ничего удивительного, до 1884-го года он работал именно учителем. Образование получил в Казанском учительском институте, в чём, правда, есть сомнения.

Совпадение персонажа с прототипом следует считать доказанным. Доскажем, какой псевдоним был назван Михайловскому. Ничего придумывать не надо, это же документальная проза. Иван Бухалов писал под псевдонимом «Иван Борский», иногда сокращая его до лаконичного «И. Б.».

Сохранились два письма Бухалова главному редактору «Отечественных записок» М.Е. Салтыкову-Щедрину. Извлечём из них лишь необходимую информацию (цитируются по тому 13-14 «Литературного наследства»).

Первое датировано 4-м января 1883 года и вслед за обращением начинается со слов «Посылаю другую статью – “Борьба”». Предыдущая «статья» (Б. избегает слов «очерк», «рассказ», или, того хлеще, «новелла») называется «Земец». Б. пока не уверен в своих силах: «не можете ли Вы взять на себя труд указать мне в нескольких строках слабые стороны моей статьи?» Но литератором готовится стать всерьез: «Ваш отзыв имел бы для меня громадное значение, потому что я серьезно думаю заняться литературой».

Постскриптум к письму замечателен настолько, что стоит привести его полностью. «Не пишите на конвертах “от редакции”. Хотя я и исповедую веру по формуле “наплевать! либерал так либерал!”, но все-таки хочу возможно дольше продержаться в учителях, а на писательство у нас смотрят косо».

Адрес: Самара. Учителю городского училища Ивану Алексеевичу Бухалову.

В «Списке чиновников и преподавателей Казанского учебного округа, расположенном по местам их служения... на 1882/3 учебный год» наш герой фигурирует. На работу он устроился 1 июля 1881 года, т.е. оказался в числе первых преподавателей открытого лишь в 1880-м году Самарского училища. К моменту переписки с Салтыковым-Щедриным в училище помимо него, если не считать священника, работает лишь два преподавателя.

Со следующим из сохранившихся писем (от 23 апреля того же года) Б. посылает Салтыкову-Щедрину «статью» «Из-за двенадцати с полтиной», упоминая события, легшие в её основу. Здесь же обсуждается отзыв Салтыкова-Щедрина на загадочный текст с заглавием «Направо и налево». В отличие от остальных упоминаемых Б. текстов, этот либо не опубликован, либо публикация пока не выявлена. «Борьба» появилась в апрельском номере «Отечественных записок», который, как выясняется, Б. уже получил.

Поскольку именно «Борьба» выбрана для знакомства с писателем в этом номере «Волги», следует суммировать то, что известно об этом рассказе.

Преподаватель Самарского училища Иван Алексеевич Бухалов выслал этот рассказ М.Е. Салтыкову-Щедрину 05.01.1883 года (разумеется, эта дата, как и предыдущие, дана по старому стилю). Рассказ был отредактирован лично Салтыковым-Щедриным, выпустившим из него несколько

мест, и опубликован в апрельском выпуске редактируемого им журнала ровно за год до цензурного запрета издания.

О главном герое «Борьбы». К началу описываемых событий он уже семь лет как работает учителем, с 13-ти лет, последние 5 лет из них – в селе «Болотном». В письмах к Салтыкову-Щедрину Б. пишет, что практически ничего не выдумывая, описывает реальные события. Это описание относится к другой «статье», но, судя по всему, степень вымысла в текстах Б. минимальна. Логично предположить, что главный герой «Борьбы» и есть сам Б. А «Болотное», в котором разворачивается действие рассказа – нынешний райцентр Борское, тогда волостной центр Бузулукского уезда. Автору довелось недавно побывать в этом селе, память о писателе, выбравшем себе псевдоним «И. Борский», увы, не сохранилась. Правда и то, что наша гипотеза требует документального подтверждения и пока что основана на допущениях.

Если не считать упомянутого «Максима-самоучку», попавшего в кассету переиздаваемых бестселлеров, остальные публикации Б. оканчиваются январским номером «Эпохи» за 1886-й год. Намерение «серьёзно заняться литературой» исполнено не было. Журнальные публикации, которых вполне набралось бы на том-другой, книжных изданий так и не увидели. Участие же в «сытинских» изданиях было простительно для Толстого, но самоубийственно для писателя меньшего калибра. Авторы книг такого рода чаще воспринимались не высокой литературой, но отраслью промышленности. Часть наследия, судя по уже упомянутому в письмах к Салтыкову-Щедрину «Направо и налево» или «Деду и племяннику», отложившемуся в фонде Венгерова, не опубликована по сию пору. Регион, в котором писателем прожито не менее полутора десятилетий, и послуживший источником вдохновения для большей части им написанного, пока не включил писателя в свой культурный пантеон.

В 1887 году Б. устраивается на службу в правление Самаро-Уфимской ж.д., и с этого времени карьера бывшего учителя связана с Министерством путей сообщения. Железнодорожная ветка протягивается от Самары до Уфы (1888), продлевается от Уфы до Златоуста (1890). Затем протягивается ветка Златоуст – Челябинск (1892). А уже в Челябинске начинается возведение головного участка Транссибирской магистрали, собственно и завершившей создание страны, части которой пронизаны железнодорожной линией, как куски мяса шампуром. Между 20 и 25 мая 1892 года Управление строительством Западно-Сибирской ж.д. переводится из Самары в Челябинск, и вместе с ним Самару покидает бывший учитель, теперь делоуправитель (в книге «Уральский рабочий союз или как писали историю в советское время»[1] его даже именуют правителем всей Западно-Сибирской железной дороги). Впрочем, педагогическое прошлое дает себя знать, в Челябинске Б. входит в члены Общества попечения о начальном образовании. Вероятно, здесь же он получает звание личного почетного гражданина, которое в дальнейшем будет предшествовать его имени на всех официальных документах. На этом этапе составители персоналии в биографическом словаре теряют нашего героя. Нам же удалось проследить его путь далее.

По окончании строительства Транссиба контора, в которой служит Б., переименовывается в Управление по сооружению железных дорог и переводится в Санкт-Петербург. Б. трудится делопроизводителем его Счётной части. Управление незыблемо находится по адресу Фонтанка, 117, сам же Б. время от времени меняет места жительства, каковые последовательно перечислим: Колпинская, 21, Б. Спасская, 115 (с 1904 г.), Широкая, 34 (с 1905 г.). В 1907-м году увольняется по болезни, а два года спустя умирает бессменный начальник Б. все эти годы, начиная с 1887-го, – Константин Яковлевич Михайловский (как и другой Михайловский, прославившийся под псевдонимом писателя Гарина, – тоже железнодорожный инженер, но прославившийся в качестве... железнодорожного инженера). Несомненно, болезнь и смерть человека, на протяжении двух десятков лет поддерживавшего труд нашего героя на новом для него поприще, стала серьезным уда-

[1] Суслов М. Г. Уральский рабочий союз или как писали историю в советское время. Пермь: Перм. гос. ун-т; Зап.-Урал. ин-т экономики и права, 2003.

ром. С этого же времени Иван Алексеевич Бухалов пропадает из числа сотрудников Управления и из Адресных книг. Имеет ли хранящееся в ЦГИА архивное дело, заведенное в том же 1908-м году на некоего Ивана Борского, какое-либо отношение к нашему герою, – предстоит выяснить. (Не надумал ли приближающийся к пятидесятилетию делопроизводитель вернуться в литературу?) Если всё же да, то мрак неизвестности рассеется до 1916-го года. Пока же...

Пока же приходит время вынуть из рукава последнего туза. В №4 от 1922 г. «Понизовья», одного из первых толстых журналов Самары, напечатана статья «Самарские писатели и революция». Автор, Евгений Петрович Лукашевич, чуть ли не первый историк краевой литературы с судьбой ещё более смутной, чем судьба нынешнего героя. В его обзоре краевой словесности появляется «вовсе нами несправедливо забытый; сотрудник Отечеств. Записок, Иван Борский в литературе, в жизни – Иван Алексеевич Бухалов (ум. около 1918 г.)». Поскольку точку ставить здесь рано, ограничимся многоточием...

Приложение

Борьба[2]

Тесним мы шведов рать за ратью...
Пушкин

I.

– Захарыч! позвоним, что ли?

Захарыч свесил с печи разутые ноги и взглянул на рублевые часишки, громко тикавшие среди невозмутимой тишины.

– Что же? Звони! чай, уж много время-то...

Порфирий стукнул в последний раз по готовому лаптю кочедыком, накинул на плечи полушубок и вышел из сторожки. «Раз! Два! Три! Десять», – считал он шепотом, дергая веревку, привязанную к «подзвонному» колоколу. Громкие удары далеко разносились по неподвижному морозному воздуху, будя галок и голубей на колокольне. «Одиннадцать!» – Порфирий привязал веревку к столбику ограды, прислушался к гуденью еще не успокоившегося колокола, взглянул на звездное синее небо, зевнул, перекрестился и побрел в сторожку, плотно закутавшись в полушубок. «А у учителя еще свет, – заметил он, укладываясь на лавки, – читает, сердешный! О-о-хо-хо! Царица небесная! кто к чему приставлен...»

Небольшой флигель, стоявший прямо против церкви, действительно, был слабо освещен. Сальная свечка, воткнутая в чугунный подсвечник, поминутно нагорала и оплывала, бросая на стены трепещущие тени. Тени эти то приближались к столику, придвинутому к окну, то удалялись в темный угол, к печке. По-видимому, эта борьба света с тьмою очень интересовала молодого, лет двадцати, человека, с широким смирным лицом и темными волнистыми волосами, сидевшего у столика; по крайней мере, он пристально глядел на стену прямо перед собою, забыв в руке перо, на котором уж успели высохнуть чернила. Но вглядевшись внимательнее, вы увидели бы, что его совсем не занимает ни нагоревшая светильня, ни оплывшая свечка, ни тени. Черные глаза глядели тоскливо, а губы складывались в скорбную улыбку; порой его как бы подергивало и он вслух шептал: «Господи, что за мерзость!»

В эту позднюю пору, когда в селе Болотном все почивали мирным сном, Николай Петрович Дубровин, местный учитель, под влиянием ничем не нарушаемой тишины сводил счеты с совестью, окидывал мысленным оком пройденный путь, силился приподнять завесу будущего. «Семь лет уж вот учительствую, с 13-ти лет тяну всю одну и ту же песню. Тринадцатилетний кандидат в учителя! Вспомнить без стыда не могу! Господи! как еще из меня кое-что вышло?» И перед его глазами вставал ряд картин, на губах появлялась знакомая уже нам улыбка.

[2] Опубликовано 135 лет назад, автору 23-24 года: Отечественные Записки, 1883, № 4, апрель, с. 397–420.

Земство решило открыть побольше училищ, набрать учителей «числом поболее, ценою подешевле», и смотритель уездного училища предложил кончившим курс поступать в «кандидаты». Целый год Дубровин и семеро других юнцов, из которых самому старшему было 16 лет, ходили в приходское училище «практиковаться». Заниматься приходилось час или два в день, но чего стоили эти уроки! Пятнадцати и шестнадцатилетние парни, сидевшие еще в среднем отделении, поднимали такой гвалт, так немилосердно третировали «кандидатов», что учитель бросал графин, выходил из своей комнаты и собственноручно водворял порядок. «Чего вы смотрите? дуйте их, мерзавцев!» – И кандидаты, действительно, начали дуть тех, кто был под силу. В поводах недостатка не было: как часто оскорблялось их мелкое самолюбьице! Им хотелось, чтобы их считали за больших; бывшие Петьки и Ваньки превратились в Петров Иванычей, Иванов Васильичей; вместо «ты» употреблялось «вы», брюки носились навыпуск, но все это мало поднимало их авторитет в среде учеников. Часто даже ученики самонадеянно вызывали кандидатов на бои, встретившись где-нибудь на улице. К счастью, Дубровин через несколько месяцев был прикомандирован к сельскому училищу, находившемуся в городе же. С деревенскими ребятами ладить было легче, и незачем стало прибегать к потасовкам. На следующий год все кандидаты поехали в избранный город на летние курсы.

Учителям земство, сверх жалованья, положило три рубля в неделю и прогонов на пару. Кандидатам дали прогонов на тройку, целых пятнадцать рублей, но больше ничего не дали. Кое-как дотащились они до губернского города, проехав 200 верст в четверо суток (ехали с легкими возами). Где-то в предместье разыскали они квартиру, по рублю с человека в месяц. Вместе с ними поселилось и несколько человек учителей, из семинаристов, убоявшихся бездны премудрости. Начались кутежи, ночные похождения, драки с обходами, картежная игра, битье стекол. Немногие не попали в этот круговорот. Николая Петровича Бог помиловал; он исполнял только мелкие поручения – бегал за водкой, закупал провизию, и вышел сравнительно чистым из омута бурсацкой разнузданной жизни. Вспомнит этот омут Николай Петрович и опять хватается за голову, опять шепчет: «Господи, что за мерзость!» К концу курсов он, однако, не выдержал и, под предлогом болезни, уехал с обозом земляков. В сентябрь его назначили помощником учителя с месячным окладом в 6 р. 25 к. На себя Николай Петрович тратил 3 рубля, а остальные деньги отсылал матери. Приходилось сильно экономить: за хлеба́ и квартиру он платил 2 р. 50 к. Добросердечные хозяева-крестьяне считали это довольно выгодной ценой и кормили Николая Петровича всем тем, что ели сами. Нельзя́ сказать, чтобы мясо часто являлось в их скромном menu; даже постное масло заменялось вчасту́ю конопляным соком, а иногда и его не было. На остальное Николай Петрович покупал осьмушку чаю и фунт сахару. В школе было около 80-ти человек. Учитель, добродушнейший и общительнейший человек, большую часть дня проводил в правлении, и все дело легло на плечи Николая Петровича. Что мог сделать он с такою массою? Все шло через пень да колоду. Зубами заскрипел Николай Петрович, вспомнив этот период своей жизни. Иногда он сам, увлекшись какой-нибудь книгой, предоставлял учеников на целые часы самим себе. Жилось ему сначала скучно. О сближении с местной интеллигенцией, т. е. попом, писарями и лавочником, нечего было и думать: ему ли, оборванному мальчику, лезть в хоромы с крашеным полом и венскими стульями! Народа он тоже дичился: как это он, *образованный*, станет возиться с сиволапым мужичьем?! Он столько слышал о грубости этого мужичья, что представлял его чуть не зверем, хотя отдельные личности из этого «народа» казались ему симпатичными. Мало-помалу он сблизился, однако, сначала со своими квартирными хозяевами, а потом почти со всем селом, исключая старшины, старосты и другого начальства, да и то потому, что они очень часто приставали к нему с просьбой «угостить», а угостить было нечем.

Время, проведенное в Сосновке, не пропало, значит, для него даром: он многому научился, много узнал такого, что не писано в учебниках, а написано неизгладимыми чертами на страницах самой жизни. Один факт особенно повлиял на восприимчивую душу Николая Петровича.

В селе как-то часто стали пропадать утки. Вина сваливалась на лисиц и хорьков, которых в той местности водилось довольно много. Но скоро загадка разъяснилась. «Что это из Софронова овина, почитай, каждый день дым идет», – недоумевали “во едину из суббот” крестьяне, возвращавшиеся с пахоты, – «молотить ему нечего... Не пожар ли? Идем взглянуть!» Спустились в овин и увидали

следующую картину: двое братьев-подпасков, сидя на корточках, палили неощипанных уток. «Что? аль ощипать поленились?» – посмеялся над ними Зубанков Никифор, у которого распропала половина уток, и схватил их за волосы.

За волосы же привел он воришек к старшине. Старшина младшего отпустил, оттаскав за волосы, а старшего велел засадить в холодную. На другой день, после обедни, у церкви собралась куча народу. Николай Петрович протеснился вперед и увидел подпаска со связанными назад руками; на шее у него висели три полуизжаренные утки. Отец стоял около него и *учил*, тыкая сыну в лицо утками. «Страмник ты, страмник! Эка, что вздумал! Людей ты не стыдишься! Ведь теперь на тебя пальцами все будут указывать! А мне-то, мне-то каково? Эх, ты... Что вздум-а-ал! Ах, ты! Ах, ты!» Старшина вцепился подпаску в волосы. Около стоявшие старики одобрительно покачивали головами. «Отец-мать не научили – добрые люди научат», – приговаривали они с мудрым видом. После старшины подошел староста, а затем подпаском овладели хозяева пропавших уток и с торжеством повели по селу.

Туча ребятишек, немилосердно галдя, вприпрыжку бежала впереди и сзади процессии. Торопливо поднимались окна; из всех домов выходили новые и новые любопытные. Распоясанные ребятишки выскакивали с огородов, бежали от реки и во все горло делились мыслями. «Ва-а-нька! Игнашку ведут! с утками!» – сообщал какой-нибудь пузатый беловолосый мальчишка соседу по огороду, встав на плетень. Даже от кабака отхлынул народ, так что целовальник сильно выругался и пожелал, чтобы Игнашка и с утками провалился сквозь землю.

Время от времени подходил отец и опять *учил*.

– Василий! ты-то что еще пристал? небось, и без тебя есть кому утками-то потыкать, – не вытерпел Николай Петрович.

– Нельзя, милый! ах, нельзя! ведь подумают, что и я с ним вместе, а я, вот Свят Бог, ни перышка не видал! и знать не знал таких делов! Ох, батюшки мои! – отвечал отец, задыхаясь от горя и усталости.

«Отчего с Игнашкой так жестоко расправлялись? – задал себе вопрос Николай Петрович. – От необразованности», – решил он, и устыдился самого себя. Что же все это время делал *он*, он, обязанный *просвещать* народ? *Что* он делал? Ничего! И Николай Петрович твердо решился наверстать упущенное. В Сосновке ему этого не удалось сделать; зато в Болотном, куда он был назначен на следующий же год, он имел полную возможность очистить свою совесть. Пять лет, прошедшие с тех пор, не так мрачны. Николай Петрович их не стыдится. Он делал все, чтобы не получать даром $12^{1}/_{2}$ рублей (теперь он состоит на самом высшем окладе – получает уж 15 рублей). С каждым годом Николай Петрович все строже и строже относился к своим обязанностям.

«Да! надо учить не только детей, но и всех, кто страдает от темноты, от отсутствия знаний. «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте!» – прошептал Николай Петрович, покончив с прошлым.

Шипенье потухавшей свечки вывело его на минуту из раздумья. Восторженным взглядом окинул он вымазанные глиной стены, потрескавшуюся печку, грязный пол и старые парты. Стены раздвинулись перед восторженным взглядом, и перед Николаем Петровичем появилась необозримая гладь полей и лугов, с копошащимся в них рабочим людом. Все выглядело весело и довольно. Кости обтянулись кожей. Зачинились прорехи. Спала с умственных очей слепота. Затворены кабаки. Школы процветают, и сам Николай Петрович возится с полсотней здоровых, опрятно одетых ребятишек в чистых, теплых и светлых комнатах. – «Пока солнце взойдет, роса глаза выест», – подумал он, совсем туша продолжавшую всхлипывать свечку и ощупью добираясь до постели.

Постель эта была не особенно удобна: в углу, между шкафом и стеною, стояли две скамейки; днем на них лежало верхнее платье учеников, а вечером расстилался войлочек и клалась подушка. «Чисто монах ты, Николай Петрович, – говорили ему крестьяне, – не пьешь ты, не куришь, да и спишь на голых досках». – «Вы же спите?» – «То мы, а то ты»...

II.

Громкий колокольный звон разбудил Николая Петровича рано утром. – «Что такое?» – проговорил он в раздумье. – «Да! сегодня воскресенье! Надо вставать – сейчас от заутрени придут».

В самом деле, едва Николай Петрович успел одеться, как на крыльце громко постучали щеколдой и масса народа хлынула в «училищу». Масса эта состояла главным образом из деревенских, которым некуда было деваться между заутренней и обедней, но были и сельские старики, старухи и подростки. Гости, помолившись и поздоровавшись, чинно расселись по скамьям. Тишина нарушалась только тихими, вполголоса, разговорами стариков и легонькими вздохами. – «Холодно?» – начинает Николай Петрович разговор. – «Бе-еда, какой холод! Тебе вот ладно в тепле-то сидеть!» – «Тоже! тепло! Дух видно!» – возражает другой и дует: пар столбом идет из широко раскрытого рта. – «Николай Петрович! почитай-ка нам про бедного Лазаря», – вступилась в разговор опрятно одетая старушка с добрым морщинистым лицом.

Николай Петрович прочитал и по-славянски, и по-русски. – «Так-то! Бог видит, кто что здесь делает! Не откупился! О о-хо-хо! Что ни ступим, то согрешим!»

С первыми ударами колокола все поспешили к обедне, исключая нескольких старух, которым надо было написать поминания. У каждой было что-нибудь припасено для «ученика» (так называли крестьяне Николая Петровича; учеников они называли «учельщиками»): одна доставала из-за пазухи пару яиц, другая лепешку, третья несла тарелочку с медом. Тщетно Николай Петрович отказывался. «А ты на-ко! на чужой стороне живешь – ни жены, ни матери нету». – «Да меня зато Степановна хорошо кормит...» – «Ну! что Степановна! а ты возьми-ка, скушай на здоровье!» Приходилось брать, хотя на другой день все это раздавалось ученикам в виде наград за хорошие ответы, потому что Николай Петрович в самом деле отлично ел и пил чай у целовальничихи за пять рублей.

Только ушли старухи, в училище вошел поверенный общества. – «Нарочно выждал, чтобы народ ушел», – заметил он, обирая с большой седой бороды сосульки и стряхивая рукавицами снег с валеных сапог. – «Вишь, дело-то какое, – начал он с таинственным видом, – только смотри – ни-ни! Чтобы ни одна душа не знала!» – «Что, что такое?» – «Казенную рощу знаешь?» – «Как не знать! Летом за ягодами хаживал». – «Ну, вот: оттягать ее хотим!» И Трофим с торжествующим видом посмотрел на Николая Петровича. Николай Петрович покачал головой. – «Навряд!» – «Как навряд! Верное дело, я тебе говорю! Так ты, значит, прошенье нам напиши – прямо к министру, чтобы проволочки не было». – «К какому?» – «К министру – вот и все!». – «Да ведь их много». – «Много?» – Трофим впал в раздумье. – «Надо к тому, что казенными лесами заведывает. Так ты уж напиши, пожалуйста». – «Не знаю, право, как... Не писал я так высоко-то... Вы бы лучше к писарю». – «Нини-ни! ни под каким видом! Чтобы они ни сном, ни духом, а то проку не будет. Потихоньку надо! Тебя все старики просят. Мы уж тебе заслужим, ей Богу, заслужим». – Началось писанье прошения. «Так! так! вот это так! А то поди к писарям: они тебе языком-то одно смелют, а напишут не так... А уж ты не обманешь – не таковский – пять лет у нас живешь, а мы от тебя худого не видали». И Трофим вытащил рублевку. От рублевки Николай Петрович отказался наотрез. – «Ты лучше крыльцо у училища исправь – того и гляди, ребятишки ноги поломают». – «Ну, ладно! ну, крыльцо! Вот как пообедают работники, я их сейчас же... Ты им ничего, смотри, не давай – это уже мое дело: я их сам угощу».

На минуту речь Трофима была заглушена веселым трезвоном. Народ хлынул из церкви. – «Ай-ай! всю обедню прокалякали! Так чтобы ни-ни! Помалчивай, а роща выйдет, мы тебя не забудем, Свят Бог, не забудем!»

– «Гость на́ гость – хозяину радость!» – прозвучал старческий тенорок, и в училище, грузно переваливаясь, вошел о. Петр. Стар он был и тучен. Тучность, при невысоком росте, делала его чрезвычайно похожим на бочонок. Вдобавок, глаза о. Петра горели добродушно-лукаво и почти постоянно смеялись, вызывая и других на беззаветную веселость. Таким же добродушным лукавством веяло и от его жирового лица с носом в виде луковки, и от глянцевитой лысины, и от коротенькой, жиденькой косички. – «Что? проспали обедню-то? Эх вы!» – упрекнул о. Петр Николая Петровича, давая целовать Трофиму мясистую красную руку. – «Забыли, какой день-то сегодня?» – «Какой, о. Петр?» – «Святыя великомученицы Екатерины! На пирог пожалуйте! – раскланялся о. Петр комично-торжественно, – моя дражайшая половина именинница!» – «А я, было, в самом деле, позабыл... Приду, непременно приду». – «То-то!» О. Петр, сам не зная, чему засмеялся, порывисто тряхнул руку Николая Петровича и вышел, или, правильнее, вылез из училища.

О. Петр был *старый* священник, выслужившийся из дьячков. Пройдя суровую школу нужды, он не гнушался никакой работой. Сам пахал, сеял, косил, жал и молотил. На руках у него было не меньше мозолей, чем у любого мужика; да и всем складом своим он близко подходил к мужику.

Часто, особенно летом, сидя у открытого окна, о. Петр кричал на всю улицу: «Максим! Максим! иди чай пить!» – «Да я, батюшко, недавно у тебя пил»... «Иди, знай! Чего еще ломаешься».

Максим, тщательно обтерев ноги, шел и поглощал несколько чашек горячего напитка, ведя неторопливую беседу про хлеба, про покос. Если по улице шел Иван, то батюшка зазывает и Ивана; если Петр, то и Петра. Матушка часто даже гневалась на о. Петра за такое хлебосольство. «И что это сколько ты всегда народу наведешь! Ты разочти – давно ли 12 фунтов купили? уж весь». – «Ну, ну! ну, одна пей! ну, свиньям выливай! (о. Петр был очень вспыльчив). Умрешь – в головы положат! в головы!» – «Ну вот: всегда так!» – всхлипывала матушка, и дело кончалось водворением Ивана.

С матушкой о. Петр ссорился вообще довольно часто, особенно из-за детей. Дети учились в губернском городе и, как это свойственно многим молодым семинаристам, не любили беречь отцовских денег. Но так как платье им шили дома, за хлеба и квартиру отдавали деньги в руки хозяевам, да сверх того давали деньги на мелочные расходы, то они каждый месяц просили на сапоги. О. Петр не мог понять настоящей причины, отчего сапоги носились ровно месяц, и в простоте душевной думал, что его сынки из щегольства шьют очень тесные сапоги. – «С мыльцем, подлые души!» – разражался о. Петр, получив слезное письмо, и, взяв топор, отправлялся в палисадник. – «Го-о!» – затягивал он тоненьким тенорком и, не кончив, принимался без всякой нужды постукивать по кольям топориком. – «Тимофей! Тимофей! подлые-то души опять на сапоги просят!» – взывал он к какому-нибудь мужику, проходившему мимо. – «Что, батюшка, делать? Дело молодое: на них сапоги-то, как огонь горят... Вот я своему Васютке – и то лаптей не наплесть». «Не-ет! С мыльцем, подлые души! с мыльцем! Щеголяют!»

Значительно успокоенным возвращался о. Петр в комнаты, но все-таки считал долгом побранить матушку. – «Ты! ты, потатчица, виновата!» – Матушка молчала. Вечером, подавая батюшке стакан чаю, она робко спрашивала: «Когда же деньги-то отошлем?» – «Когда на базар поедешь, тогда и отошлем». – Вскоре оказывалось, что вышло все масло, что Наденьке надо купить платочек, что, вообще, необходимо ехать на базар – и деньги, вырученные за хлеб или лишнюю скотину, отсылались «на сапоги».

Несмотря на такие вспышки, старики очень любили друг друга. – «Вот! заложили карего в корень! Разнесет на косогоре, непременно разнесет!» – говорил о. Петр, поджидая из города запоздавшую матушку, и отправлялся в палисадник. – «Позабудут его чаем напоить вовремя, непременно позабудут!» – думала в тоже время матушка. – «Говорила я тебе – не отдавай Гараське овец, говорила! Две овцы уж пали, да еще три хворают», – начинала она, вылезая из саней или тарантаса. – «Ну, сама держи! сама держи! гоняй их в стадо! гоняй сама! гоняй, дура!» – «Вот! тридцать лет за ним ухаживаю, ничего, окромя дуры, не выслужила!» – вздыхала матушка сквозь слезы, а о. Петр снова отправлялся в палисадник.

Через полчаса они мирно попивали чаек и матушка показывала купленные обновки. О. Петру она всегда привозила пряничков, чтобы он не возмущался слишком высокой цифрой денег, истраченных на покупки. Деньги доставались о. Петру трудно. – «Очень уж прост он», – жаловалась матушка другим матушкам.

– Придет мужик! Сына, говорит, хочу женить, да заплатить нечем. – И-и! говорит: вези, даром окрутим – потом заплатишь! А уж за свадьбу ли не взять?

III.

Николай Петрович попал к о. Петру только вечером: весь день писал письма. Только что собрался он идти, как столб пара хлынул в отворенную дверь, и в училище вошла семья Панфиловых: старик, старуха, два сына с женами и ребятишками, выданная дочь с мужем.

– Мы к тебе, Николай Петрович, – коли время слободно, напиши письмецо.

– Василью?

– Кому же больше? один у нас на чужой стороне. Деньжонок хотим к празднику послать. Ты уж и бумажки поищи – в лавочке, слышь, нету.

Николай Петрович достал бумагу и конверт и уселся за стол. Панфиловы разместились вокруг него и с напряженным любопытством начали следить, как перо забегало по бумаге. Через несколько минут приступ был написан. Николай Петрович знал уж, как надо писать. Началось писание поклонов и новостей. Были перечислены все родные и соседи, с прибавлением после каждого имени «кланяется»; было упомянуто, что в селе недавно был пожар, и кто именно погорел, и что удалось спасти, кто вышел замуж, кто женился и т. д. Николай Петрович прочитал.

– Вот пестровка у нас отелилась... Писал, что ли?

– Нет, не писал.

– Так уж напиши: бычок, мол, черненький, здоровый...

Николай Петрович приписал, и начал писать адрес. Послышались торопливые шаги, и в комнату вбежала тетка Акулина, крестная мать Василья. «Ах грех какой! никак опоздала!» – вскричала она прерывающимся от быстрой ходьбы голосом. – «Уж прочитай, Николай Петрович письмецото: может, вы от меня и поклона-то не написали!»

Не успели уйти Панфиловы, как пришли Кашины: письмецо прочитать понадобилось. Старикам Николай Петрович читал письмо еще на неделе, но теперь все родные были в сборе: каждому своими ушами хотелось слышать, что пишет Митрий и, главное дело, пишет сам. Пришли и кое-кто из его товарищей. Все они с одинаковым сосредоточенным выражением слушали письмо, только лица получивших поклон были светлее. Чем далее шло чтение письма, тем более нахмуривались некоторые физиономии, тем яснее выражалось в них чувство оскорбленного самолюбия, смешанное с тоскою ожидания. Когда Николай Петрович совсем кончил письмо, лица всех просияли. Почему они просияли – секрет Николая Петровича. Ему пришлось уж прочитать и написать не один десяток писем, он имел понятие о чувствах, волнующих груди не получивших поклона, и потому позволял себе прибегать к маленькой хитрости: прочитав все письмо и не найдя в нем некоторых поклонов, он прибавлял их от себя – и чувство оскорбленного самолюбия уничтожалось. В следующем письме он читал Василью или Петру нотацию за то, что он не всем посылает поклоны, на что многие обижаются. Много времени ушло на переговоры о вознаграждении: Николай Петрович отказывался, Панфиловы и Кашины настаивали. «Ты лучше что-нибудь для училища сделай – возок дровец хоть привези, староста дров-то мало дает», – говорил Николай Петрович после долгих и безуспешных отнекиваний. «Все об училище крушишься!» – замечал с каким-то сожалением мужик, и на следующий день привозил возок дровец.

После ухода Кашиных пришли молодые «выучившиеся» парни взять книжечек, потолковать о прочитанном; кое-кто принес денег для покупки книг. «Уж вы, Николай Петрович, получше какую, а то я сам-то чего понимаю? Сунут какую-нибудь бросовую»...

Вечер был уже в полном разгаре, когда Николай Петрович вошел в натопленные комнаты. Поздравив именинницу (матушка облекла тучное тело в зеленое шерстяное платье, а голову украсила наколкой) и съев кусок именинного пирога, Николай Петрович уселся в угол со стаканом чаю. Мужчины – писарь, старшина, другой священник-благочинный и сам о. Петр отпили уже чай, прошлись по третьей и засели играть в стуколку. Все они выглядели очень авантажно, и скромная фигура о. Петра вполне стушевывалась перед ними. О. Христофор, в зеленом шелковом подряснике с узкой талией, с ослепительно белыми рукавами и воротничком, с густо напомаженными волнистыми волосами, высмотрел настоящим франтом, особенно, когда выпускал сквозь шелковистые усы колечки дыма. Он и смеялся как-то покровительственно, когда старшина ставил ремизы. «Ничего, Панкрат Саввич! завтра соберете», – замечал он иронически. – «Верно, Христофор Александрыч, верно! Миром живем, как и вы же», – отшучивался старшина.

Болотовский старшина не походил на других. Ходил он в длиннополом сюртуке, в заднем кармане которого был постоянно чистый платок; на шее носил медаль с надписью «за усердие», лента которой ярко выделялась на воротнике крахмальной рубашки. 17 лет уж был он старшиною, и за ним установилась прочная репутация самого ревностного исполнителя приказаний начальства по части собирания недоимок. Каждый год его командировали в какую-нибудь неисправную волость, отдавая в его распоряжение местного старшину, и Панкрат Саввич постоянно оправдывал надежды исправника, говорившего про него, что «это золото, а не старшина», и что «если бы таких побольше, не было бы у нас дефицита». Писарь был тоже из «образованных». Писал он до того красиво и кудревато, что ему часто поручалась не только переписка, но даже и составление адресов. Правда, про него шла молва, что он нечист на руку, но когда либеральный исправник, ошибкою судьбы занесенный на столь важный пост (ошибка эта продолжалась ровно полгода), вздумал проверить дела правленья, то только развел руками. – «Чисто дело ведется, черт побери! Комар носа, что называется, не подточит!» – выразил он вслух свое изумление. И старшина и писарь метили в члены земской управы. Николай Петрович хотел было уйти – отношения его к сельскому начальству были более, чем натянутые – но матушка решительно заявила, что не отпустит его без ужина. От нечего делать, он подсел к карточному столику и занялся вычислениями ремизов в уме, тогда как писарь вычислял их на бумаге. Писарь, вероятно, считал плохо, потому что ничем иным нельзя объяснить того обстоятельства, что ремиз о. Петра под его карандашом вырос почти вдвое.

– Вы, Петр Иваныч, ошиблись, – заметил ему Николай Петрович.

– Да! и в самом деле, ошибся: не два рубля шестьдесят, а рубль шестьдесят, думал два, а это одна, – согласился писарь, бросив искоса уничтожающий взгляд на Николая Петровича.

– Вы, Николай Петрович, шли бы к прекрасному полу, – предложил о. Христофор, – чего вам тут на соблазны глядеть?

– Ничего! Пусть учится, пока мы живы. – Иду! – стукнул о. Петр кулаком.

– Вы, Николай Петрович, скоро думаете в адвокаты идти? – иронично спросил писарь, азартно ударив «по козырю» о. Петра.

– И не думаю, с чего вы это взяли?

– Да уж очень вы прилежно прошения писать стали... За Ваньку Шмелева хлопотали, чтобы Никанор Игнатьич ему деньги выдал, – продолжал писарь.

– Что же? Разве Шмелев их не заработал? Отчего же не написать прошения!

– Заработал ли, нет ли, а я с вами давно хотел поговорить: не суйте нос в чужие дела! Ой, не суйте! ошпарят! – вступился о. Христофор, затягиваясь папироской, – живите, как все живут! Через мои ноги хоть вар носи, да меня не обвари, – заключил он авторитетно. – Так что-ль, Панкрат Саввич?

– А то как же еще? Этого, с позволения сказать, только поросята не знают.

– Кажется, все-таки я ничего не сделал дурного, – возразил Николай Петрович.

– Дурного-то не много, а и похвалить нельзя. Кто Ванька? Хам! больше ничего! А Никанор Игнатьич человек образованный, понимающий! Ванька-то, может, его спалит, а Никанор Игнатьич немало уж благодеяний ему оказал. Без него вам и училища-то бы не выстроили, знаете вы это?

– Брось, кум! Эко ты связался! есть с кем! Диви бы человек был, а то тьфу! (Старшина дунул на ладонь) – и нет его! Сдавай-ка, постучим!

Николай Петрович взял шапку и ушел.

– Мы на тебя суд-то сыщем! – крикнул ему вслед писарь.

– Ну? ваш ремиз идет, о. Петр! – поспешил замять неприятную сцену о. Христофор.

Но Панкрат Саввич успокоился не вдруг.

– Каков? Н-ну, мы его уважим! М-мы его уважим! Ув-важим! – рычал он, стуча кулаком по столу и устремив бессмысленный взгляд на беспокойно ерзавшего на стуле о. Петра, веселость которого исчезла на весь вечер.

Гости все-таки засиделись за полночь и все говорили, что они «уважат». Немало нотаций пришлось выслушать и о. Петру.

– И вы-то, о. Петр, хороши! его бы за ушко да на солнышко, а вы сидите, да глазами хлопаете! – внушал ему о. Христофор, оставшись наедине.

IV.

«Николай Петрович! скоро вы нас на Святки отпустите?» «Скоро, скоро: еще дня два поучимся», – отвечает Николай Петрович, и сам не может удержаться от радостной улыбки при мысли о скором отдыхе.

Ученье продолжалось, однако, больше двух дней: попечитель школы, бывший в городе на базаре, привез записку от смотрителя уездного училища. В этой записке значилось, что числа 22 и 23 г. смотритель посетит Болотовскую школу. «Уж не наговорил ли чего попечитель?» – мелькнуло в уме у Николая Петровича, и ему вспомнился случай, могший послужить для попечителя предлогом нажаловаться. Вскоре после именин жены о. Петра дело было. Попечитель, бывший при крепостном праве старостою, горький пьяница, сидел со старшиной в трактире. Оба выпили. – «Ты кто?!» – озадачил попечителя старшина. – «Знамо кто: попечитель! А ты кто?» – «То-то попечитель! Ты когда в училище-то был? а?» – «Давненько-таки не бывал уж – с экзаментов». – «То-то. Нет, чтобы присмотреть, что там учитель делает». – «Мне-то что? чай, начальство на это есть». – «Да! только начальству и дела, что за училищами глядеть! Недоимки одни сокрушили! Ты над училищем начальство! Ты должон смотреть!» – «Да чего там смотреть-то?» – «А все-таки смотри – на то ты начальство!» – «Что же? я, пожалуй, пойду схожу», – согласился попечитель, польщенный тем, что и он начальство. «То-то! сходи-ка, а я здесь подожду».

Минут через пять попечитель ввалился в училище, как истое начальство.

– Здравствуй! – кивнул он небрежно головой Николаю Петровичу, – чему ребят учишь?

– Да всему, что по программе требуется.

– Тэ-эк-с! – процедил попечитель, не желая сознаться, что слово программа для него незнакомо. – Слышь, ты, смотри, *поквадратнее* учи! – прикрикнул он вдруг на Николая Петровича.

Николай Петрович удержался, но ученики старшего отделения не выдержали и покатились со смеху; их примеру последовали и остальные.

– Вы чего? Чего вы, так вас... – накинулся на них попечитель.

Большинство умолкло, но наиболее смешливые продолжали хихикать.

– Цыц, хамово отродье! Я вас, мерзавцев! – И попечитель хотел схватить одного мальчика за ухо.

Бледный и серьезный Николай Петрович отвел его руку и повел к стулу.

– Если вы пришли в училище, как попечитель, то и ведите себя, как следует: здесь не кабак.

– Ты что-о? Как ты можешь мне указывать? – И попечитель размахнулся, чтобы ударить, но Николай Петрович схватил его за плечи и вывел в сени.

– Ступай, проспись прежде! – посоветовал он ему, запирая дверь.

Долго бесновался попечитель, стуча кулаком в дверь и грозя выбить окна, но до серьезного дело не дошло: кое-кто из соседей, сбежавшихся на крики, оттащили его домой.

В самый сочельник, когда ребята были уже отпущены, на площади загремел колокольчик, и перед училищем остановилась тройка взмыленных земских лошадей. Из повозки с трудом вылез смотритель, тучный, добродушный старик. – «Что, отпустили?» – «Отпустил, Алексей Степаныч». – «Ну, ничего: я вашу школу и так знаю. Велите-ка самоварчик поставить, да покажите пока тетрадки». За чаем Алексей Степаныч скорчил серьезную физиономию и, вынув из портфеля несколько бумаг, подал их Николаю Петровичу. Первая бумага была рапорт попечителя: «Имею честь донести, что учитель Дубровин без моего разрешения каждого двадцатого числа ездит в город, а зачем – неизвестно, бросая училище».

– Это-то ничего: я знаю, зачем вы ездите в город, и знаю, что школа остается на руках законоучителя, а вот вторая бумага – та посерьезней.

Во второй бумаге значилось: «Сего 18-го декабря оный учитель Дубровин выгнал меня из училища, куда я пришел для ревизии, и при сем бранил нехорошими словами даже при учениках и при царском портрете».

– Что вы на это скажете?

Николай Петрович рассказал, как было дело.

– Так! Я так и думал. Надо будет избрать другого попечителя.

– Трудно будет, Алексей Степаныч: он и старшине кум, и писарю кум – первый мироед в селе, после старшины. Писарь и старшина, понятно, горой за него встанут.

– Почему же так? Одного кумовства здесь мало, – возразил смотритель, бросая на Николая Петровича выжидательный взгляд.

Николай Петрович передал, что произошло между ним и сельским начальством. Алексей Степаныч охотно поверил рассказу, потому что по дороге в Болотное с версту прошел рядом с болотовским мужичком, ехавшим с мельницы, и навел очень подробные справки о том, как живет их учитель, что делает.

– Прочитайте еще вот это, – подал он Николаю Петровичу третью бумагу.

«Честь имеем донести вашему Высокоблагородию, что учитель Дубровин – человек очень развратного поведения. Каждый праздник к нему в училище приходят молодые солдатки и иныя женщины под видом писания писем, и храм науки превращается в вертеп разврата. К заутрени он никогда не ходит, да и к обедне приходит уже после часов. Сверх того, занимаясь писанием прошений, он поселяет в народе страсть к кляузам и тяжбам. Посему просим обратить на онаго учителя Дубровина внимание и сделать надлежащее распоряжение». Бумага была подписана старшиной и писарем.

– Если бы еще эта бумага ко мне одному попала – дело обошлось бы, а то – представьте! – они ко всем членам училищного совета написали. Придется вас перевести куда-нибудь в другое место. И зачем вы вступаетесь не в свое дело, зачем? Скажите на милость! Знали бы свою школу и жили бы спокойно – так нет: общественным деятелем быть захотели! – горячился Алексий Степаныч.

Николай Петрович промолчал.

– Вдобавок, говорят, скоро в наш уезд сенаторские чиновники приедут, если не сам сенатор. Ведь может такая каша завариться, что век не расхлебаешь. Вы уж, пожалуйста, хоть до конца года-то смирненько поживите, а там можете перевестись, если обстоятельства не изменятся.

– Да ведь сердце не терпит! – вырвалось у Николая Петровича.

– Знаю, что не терпит, – согласился растроганный смотритель, – сам был молод! Но что же делать? Поостерегитесь, пожалуйста!

Приехав в город, смотритель доложил совету, что обвинения, взводимые на Дубровина, оказались, по дознанию, ложными. Это же письменно подтвердил о. Петр, услышавший от Николая Петровича о кознях старшины, писаря и попечителя. Решено: оставить Дубровина до конца учебного года в Болотном.

V.

Николай Петрович не остерегся. Год был неурожайный, и на хлеб стояли высокие цены. Озими зато обещали богатый урожай в будущем году. Болотовская волость могла, однако, прикормиться своим хлебом, и магазинный хлеб оказывался лишним.

– Старички! что хлеб-то даром лежит? сгниет ведь, али так растаскают – рази усмотришь? Дайте-ка мне мер тысячу взаймы: осенью новым отдам! – обратился однажды старшина к старичкам, сильно угостившимся на его счет в трактире.

– Что же? Возьми – и то, сгниет за зиму-то! крыша-то, что твоя борона! али мыши съедят. Только ты уж расписку дай обчеству-то...

Старшина дал расписку, выгреб хлеб и продал в ближайший понедельник.

– Ловко мы это дело оборудовали, – хвастался он перед писарем, – ныне по рублю десяти продали, а осенью-то ему красная цена семь гривен будет.

– И того не будет: полтинник, не больше, – ответил писарь.

– Ну, хоть семь гривен: по 40 копеек с меры... Ловко! 400 рубликов!

Несмотря на то, что дело держалось в секрете, скоро все село узнало о проделке старшины. Узнал и Николай Петрович. Глубоко возмущенный, он ждал только случая. Случай скоро предста-

вился. В училище приехал Владимир Михайлыч Кабанчиков, почетный попечитель училища, почетный мировой судья. Это был довольно молодой, лет тридцати, человек с благообразным лицом и длинными белокурыми волосами. Запах духов и присутствие на носу пенсне изобличали, что он не прочь пофрантить. Ходил в простой рубашке-косоворотке и в черном бархатном пиджаке. Осмотрев училище, он напился чайку, закурил папиросу и повел с Николаем Петровичем беседу о жизни учителя, о его миссии и т. д.

– Учитель – представитель культуры в деревне; настоящей, а не кабацкой, культуры... Он, так сказать, пионер цивилизации... Школа его – аванпост европеизма. Он должен быть советником народа, пока последний находится еще в ребячески-беспомощном положении, – говорил Кабанчиков, порывисто откидывая назад волосы и стряхивая пепел с папиросы.

Николай Петрович тоже воодушевился и передал несколько фактов из своей деятельности.

– И отлично-с! работайте в том же направлении! Вы многого, очень многого достигнете. Что вам одним будет не под силу – вдвоем сделаем. Не так ли?

Николай Петрович очень обрадовался такой могущественной поддержке и поспешил рассказать о «дельце» старшины. Владимир Михайлыч пришел в сильное негодование.

– Завтра же поеду к исправнику! Мы покажем старшине, как воровать общественное добро! ведь это... это грабеж! И кого же грабят? Мы ему покажем!

Негодование его не улеглось даже и тогда, когда он уезжал, прося Николая Петровича бывать запросто, «без всяких церемоний, которые уже давно осуждены мыслящими людьми и отжили свой век». Николай Петрович обещал бывать.

Через неделю Болотное посетил исправник. Произведя ревизию, он заметил старшине вскользь.

– Я слышал, что хлеб из магазина продали? Куда поступили деньги?

– Никуда еще, Александр Иваныч! (за 17 лет службы Панкрат Саввич получил негласное право называть исправника и непременного члена по имени и отчеству).

– Так вели их внести, пожалуйста, поскорее в «продовольственный капитал», что ли.

Старшина понял, что исправнику все известно, и внес деньги. Николай Петрович чуть на голове не ходил от радости, увидев «результат».

– Теперь не то будет! не то! вот посмотрите! – говорил он о. Петру.

– Эх, Николай Петрович! послушайте меня, старика: перешибут вам крылышки! Сказано «с сильным не борись». Раз удалось, другой удастся, а в третий и сорвется, – отвечал тот ему, – ныне хорошие-то люди все по щелям сидят – ходу нет. Ныне, если хороший человек по одной стороне идет, так ты на другую сворачивай, а то скажут: «заодно». Мне о. Христофор и то уж говорит, чтобы я с вами не якшался.

– То-то и есть, что хорошие люди по щелям прячутся. Прятаться не надо! – возразил Николай Петрович, и решился стоять до конца.

Он задумал даже потягаться с непременным, неправильно поступившим в одном деле, и сам поехал к своему союзнику. Тот принял его с распростертыми объятиями, хотя ироническая улыбка Николая Петровича, при виде роскошной, сравнительно, обстановки, несколько его смутила.

– Нельзя круто – полегоньку надо, – оправдывался он, – сам знаю, что гармонии нет между словом и делом. Но что же делать. Опять что-нибудь старшина набедокурил? – поспешил он заняться деловым разговором.

– Нет, не старшина: повыше берите!

– Писарь?

– И не писарь – непременный!

Лицо Владимира Михайлыча слегка омрачилось, но он все-таки терпеливо выслушал довольно длинный рассказ Николая Петровича.

– Постараемся, постараемся! – ответил он на просьбы Николая Петровича защитить обиженных, но ответил далеко не прежним возвышенным тоном и без огня воодушевления в глазах, загоравшихся молнией при одном слове «урядник».

Прошел месяц, два, а «результата» не было. Николай Петрович снова отправился к Кабанчикову. На этот раз разговор о «деле» начал сам Николай Петрович.

– Ну, что, Владимир Михайлыч?

– Вообразите, в город не удалось попасть ни разу с тех пор, как вы были у меня в последний раз – все дела по хозяйству... Впрочем, как только увижусь кое с кем, непременно поговорю, – отвечал Кабанчиков, смутившись.

Николай Петрович понял.

VI.

Прошла и Пасха. Земля стала одеваться в свои праздничные ризы. Бархатом зазеленели озими. На деревьях распустились почки. По утрам стоном стонали озера от криков водяной перелетной птицы. Ликовала природа, ликовали и люди, отдыхая от суровой, холодной зимы, и бодро принимались за работу. Учеников приходило все меньше и меньше: надо было пасти скотину, которую уже выгнали в поле, но не собрали еще в мирское стадо. Мужички бегали как угорелые по богатым собратьям; тому лошадь надо, у того семян не хватало, тот недоимку не отдал. Пошли в ход расписки, условия.

Забегали мужички и к Николаю Петровичу. «Нет ли рубликов десяток до Успенья? Свят Бог, отдам и с процентами!» Приходилось, конечно, отказывать. «Ах ты, оказия! нигде не дают». – «Да ты бы в кассе взял». – «В кассе? Н-ну, уж лучше еще у кого-нибудь!» – «Что так?» – «Перво-наперво, больно много угощенья надо. Угостишь старшину с писарем, пообещают, а потом, слышь, денег в кассе нет... Даст старшина из своих, да и слупит не хуже твоего попечителя».

Через неделю на площади, около правления, толпилась громадная масса народа, хотя день был не праздничный. «Сенаторский чиновник приехал! Кто имеет сделать заявления, пожалуйте»! – приглашал народ молоденький писец, прикомандированный к чиновнику. Претензий оказалось мало: все было подмазано, умасленно, каждый получил три короба посулов, а некоторые столько же угроз «сжить со света». Только за два дня перед этим Панкрат Саввич пожертвовал в училище три отличные парты (земские-то куда как плохи были). Николай Петрович вошел в правление. Сияющее лицо старшины так и говорило, что все обстоит благополучно.

– Здравствуйте, Николай Петрович! как ваше здоровье? – обратился он весело к Николаю Петровичу, подавая руку. – Парты удобны?

– Очень удобны.

– Как же поживаете-то?

– Слава Богу, Панкрат Саввич, – отвечал Николай Петрович. Ему вдруг стало весело, зло весело как-то.

– Смотрите-ка: ни одной стоящей жалобы нет! – не удержался старшина.

– Сейчас будут, Панкрат Саввич, – возразил Николай Петрович, высвобождая из рук старшины полу сюртука.

– Позвольте вас спросить, – обратился он, отрекомендовавшись, к чиновнику, – вы ревизовали кассу?

– Ревизовал, все в порядке, – отвечал тот удивленно.

– Есть в ней деньги?

– Почти все суммы, роздано очень мало, – удивился тот еще больше.

– Между тем г. старшина никому почти не дает из кассы денег, а заставляете брать у себя, за страшные проценты, разумеется.

Слова Николая Петровича произвели на старшину впечатление громового удара в ясный безоблачный день: он так и замер на месте.

– Как же это, братец? – обратился чиновник к старшине.

Мужики навострили уши. Некоторые из них были до того мужественны, что подтвердили слова Николая Петровича. «Это точно: нет, говорите, денег в кассе; бери, коли хочешь, у меня». Дальше – больше. Старшина должен был представить довольно большую связку условий и расписок. Были выяснены способы, которыми он собирал долги. Оказался замешанным и писарь. Выступила на сцену масса других претензий. Скандал вышел громадный. Чиновник уехал в другое правление,

обещаясь завтра опять заехать. «Гляди, гляди: руку подал Николаю Петровичу-то!» – загудела толпа, вообразившая, что чиновник и Бог весть какое важное лицо. «А старшина-то как юлит! ха-ха-ха»! Старшины уж никто не боялся – его считали безвозвратно погибшим.

Придя в училище, Николай Петрович сам испугался того, что он наделал. «Уволят, непременно уволят», – думал он, облокотившись на подоконник растворенного окна. Но тут ему припомнились борцы за правду, припомнились горячие разговоры. «Сидел бы на печи, если душонки не хватает!» А ночь мало-помалу окутывала своим мягким покрывалом Болотное. В доме писаря блеснул огонь. «Что они теперь делают? Интересно бы знать», – подумал Николай Петрович. Вдруг он вздрогнул и отшатнулся от окна: кто-то осторожно пробирался вдоль дьячкова палисадника, приближаясь к училищу. «Не старшина ли уж подослал поколотить?» – подумал он, вспомнив, как однажды, после именин тоже, возвращаясь с прогулки, он наткнулся в гумнах на двух пьяных парней из соседней деревни, которые с бранью пустились за ним...

Подкрадывавшийся не имел, однако, злых намерений; подойдя к окну, он вполголоса позвал: «Николай Петрович, спишь, что ли?»

– Нет еще, – ответил Николай Петрович, поставив в угол палку, которою вооружился на всякий случай.

– Я к тебе потихоньку, как вор, пришел, чтобы не увидали... Ловко ты старшину-то подвел! Ввек не забудет! Ведь за ним еще грешки-то есть, – продолжал неизвестный, еще более понизив голос, – только этот чиновник не докопался. Знаешь, за сколько они правление-то проконопатили да бумагой оклеили?

– Нет; а что?

– За 160, а показали 360 – двести целковеньких украли. Ты поговори-ка завтра, ей Богу! Так бы всех уважил!

– Особенно тебя, – подумал Николай Петрович: говоривший был помощником старшины.

– Только ты на меня, Христа ради, не указывай! сам, мол, знаю. А конопатил-то Прошка Тихонов – ты сходи-ка к нему. Смотри же – пож-жалуйста, про меня не говори.

Николай Петрович уверил его в своей скромности и рано утром сходил к Прошке. Тот подтвердил слова помощника старшины. Часов в 10 Николай Петрович пошел снова в правление, около которого опять толпилась куча народа, благо день был воскресный. Вчерашнее происшествие переходило из уст в уста. Николай Петрович в глазах крестьян вырос в исполина. «И отчаянный ты, Николай Петрович! Нукося! с самим старшиной затеял тягаться! Ай-ай-ай! Только смотри, парень, как бы чего не вышло!» «Бог не без милости», – отвечал Николай Петрович. «Что? опять ябедничать пришел?» – закричал на него старшина. Старшина был пьян. Он потерял уже почву под ногами и теперь действовал, махнув на все рукой. Но и Николаю Петровичу тоже было все равно; он тоже сжег корабли – недаром просидел целую ночь у окна, раздумывая о происшедшем. «Не ябедничать, а на свежую воду выводить», – возразил он угрюмо. «Кого выводить-то? Кого выводить-то? Подлец-цов, м-может быть?» – «Пожалуй, подлецов», – согласился Николай Петрович. – «И я подлец? Зн-начит, и я под-длец? Что же молчишь?! Подлец я или нет?» «Пожалуй, если вам этого хочется», – согласился нехотя Николай Петрович. – «Так я подлец? Подлец?» – продолжал приставать старшина. – «Подлец!» – крикнул выведенный из себя Николай Петрович. Поверенный схватил Николая Петровича за руку и хотел вывести из правления. – «Уйди ты от них! Христа ради, уйди! – упрашивал он его, – видишь, как глаза-то налили?»

– Нет, ты постой! У нас с этим не отъедешь! – ухватил и старшина за руки Николая Петровича. – Слышали? – обратился он к писарю, помощнику писаря и помощнику старшины.

– Слышали! – подтвердили те в один голос.

– Михей! Васи-илий! Тащите его в холодную!

– Не имеете права! – вскрикнул Николай Петрович.

– А вот посмотрим! Тащите! за оскорбление власти!

Николай Петрович хотел было сопротивляться, но потом покорился. «Пусть их!» – подумал он, когда за ним щелкнул замок и раздался наглый торжествующи хохот старшины. Вскоре прибежал о. Петр, извещенный поверенным о случившемся. «Панкрат Саввич! Петр Иваныч! Побойтесь хоть

Бога! Разве можно учителя в холодную?» – «Сидит, значит, можно». – «Очень уж они горячи – лучше остынут в холодной-то!» – сшутил писарь. – «Вы, батюшка, идите-ка домой: я в церковные дела не мешаюсь, и вы в мои нос не суйте!» – осадил его старшина. Грустный и убитый пошел о. Петр к товарищу.

– О. Христофор! Ваше высокоблагословение! похлопочите хоть вы – грех какой! – говорил он, отирая пот со лба и лысой головы.

– А! не хотели слушаться! Повадился кувшин по воду ходить – там ему и голову сломить! – ответил о. Христофор.

К несчастию, чиновник приехал лишь на другой день, и Николай Петрович просидел в холодной ровно сутки.

VII.

Через месяц слушалось дело «об оскорблении волостного старшины Панкрата Саввина учителем Николаем Дубровиным». Прокурор сильно настаивал на обвинении, и Николай Петрович был приговорен к аресту на одни сутки. А еще через месяц слушалось дело «о превышении власти старшиною Саввиным», возбужденное тем же следователем. Решили: отрешить его от должности и посадить на три месяца в тюрьму. Отсидев свой срок, Панкрат Саввич открыл в Болотном лавочку и трактир, не оставив без внимания и прежних операций. Николай Петрович был уволен. «Невозможно, невозможно! ведь вы, с позволения сказать, такую глупость сделали, такую глупость, что только дивиться надо!» – кричал, бегая по комнате, смотритель, когда Николай Петрович пришел к нему просить места помощника учителя. – «Жаль мне вас, очень жаль – но что же делать? Вы послушали бы, что Александр Иваныч говорит: лучшего, говорит, моего старшину опозорил, рекомендованного мною осрамил. Дай Бог вам счастья на другом поприще».

На другом поприще Николай Петрович тоже потерпел неудачу. «Владимир Михайлович, нет ли у вас места конторщика или писца хоть...» – «Видите ли! место есть, но знаете, неловко будет... Вы знаете, – продолжал Кабанчиков, понизив голос, – что моя репутация и без того крайне незавидна, а тут еще... Не хотите ли кофе?» – «Нет, спасибо; мне хлеба надо», – отвечал Николай Петрович, и ушел.

«Невозможно! невозможно! – восклицал в то же время исправник, – при Саввине недоимок ни одной копейки не было, а теперь целых три тысячи... Невозможно! *Три* тысячи на одной волости! Хорошую мне благодарность пришлют!»

На следующий год исправнику не пришлось уж восклицать таким образом, ибо распорядительность и исполнительность снова зацвели в Болотном в лице Панкрата Саввина. Но не зацвели там ябеда и кляузничество в лице Николая Петровича. Там, где жил он, живет теперь брат о. Христофора, кончивший курс в семинарии. В училище, к которому сделана иждивением старшины пристройка, пахнет резедной помадой, одеколоном и спермацетовым мылом. По вечерам, вместо прежнего безмолвия, нарушаемого шорохом переворачиваемых листов, гремит гитара и слышны песни и топот пляски. Все это не мешает Квинтилиану Александрычу быть человеком «отменной нравственности», как выразился про него старшина в разговоре с инспектором народных училищ. Его метят на место о. Петра, которому, по словам о. Христофора, пора уж и на покой, ибо он окончательно выжил из ума: с какой стати, например, он начал расхваливать инспектору Дубровина, да вдобавок же при самом о. Христофоре, старшине и Квинтилиане?

Скоро и память о Николае Петровиче исчезнет. Да и теперь лишь ребятишки вспоминают порой своего любимого учителя, да иногда какой-нибудь лохматый мужичонко, которому потребуется написать письмо, скажет: «Ха-ароший был человек, сердешный, да вздумал со старшиной тягаться – и сверзили».

И.Б.

Анна ЖУЧКОВА

ЛЮБОВЬ И ЗЯБЛИКИ. НОВАЯ СКАЗКА О ГЛАВНОМ

Дарья Бобылёва. Вьюрки. Роман // Октябрь. 2017. № 7.

Так устроено в природе,
Все что с нами происходит, –
Это видимость того, что в нас.
С. Трофимов

Вьюрки, или зяблики, – небольшие птички отряда воробьинообразных, причисляемые иногда к семейству овсянковых. «Овсянки» – так называлась повесть Дениса Осокина, опубликованная в «Октябре» в 2008 году. «Вьюрки» Бобылёвой и «Овсянки» Осокина – художественный эксперимент по имплантации язычества в современность. Бобылёва рассматривает цивилизацию сквозь призму славянской демонологии, Осокин – через обряды мерян, верования которых он символически передает через овсянок: «через клетку, через овсянок я смотрел на дорогу». По представлениям древних, именно птицы связывают мир духов с миром людей. Главной стихией мери была вода: «вода – сама жизнь. и утонуть – значит в ней задохнуться: одновременно от радости нежности и тоски. <...> мы не верим в жизнь после смерти. и только утонувшие продолжают жить – в воде и вблизи от берега».

Вблизи от берега, где встреча воды и суши открывает портал между явью и навью, начинается и действие «Вьюрков». Неизвестно откуда появляются странные существа, «те, кто зовет с реки», они манят, окликают людей по имени. В одночасье исчезают битые бутылки и мусор. Остаются осока, туман, запах торфа и арбуза от холодной воды.

Но чудеса не радуют жителей посёлка Вьюрки. «Куда вы дели весь мусор, нормальный человеческий мусор, чем он-то вам помешал, твари вы проклятые?» – гневаются они и тоскуют о временах, когда на берег «приезжали люди, веселились, ели шашлыки, из машин лилась, как теплая водка, душевная музыка...»

«Вьюрки» стали локальной аномальной зоной двадцать первого июня, в день летнего солнцестояния. Сначала пропал выезд. «Как будто из окружающего пространства вырезали кусок и снова сшили, да так удачно, что не осталось ни шовчика, ни морщинки». Затем остановилось время: «Во второй раз зацвели яблони, рядом с увесистыми кабачками снова поспела клубника». А люди, выходившие в поле или лес, стали возвращаться измененными: «Это была не мама. Это была страшная неживая штука, грубо и неточно повторяющая мамин облик. <...> Ромочка сразу увидел, что там, за лицом, похожим на мамино, ничего нет, там белеют нежные ниточки плесени и жуки-древоточцы прокладывают свои ходы. <...> Поддельная мама улыбнулась вдруг широким оскалом и попятилась обратно в глубину леса так быстро, словно у нее были глаза на затылке. Ромочке намертво врезалось в память, как жуткая копия убегает спиной вперед, обратив к нему распяленное в улыбке лицо и странно выгибая ноги».

С тех пор, как Вьюрки замкнулись сами в себе, «везде теперь кто-то живет, и, скорее всего, именно эти тайные обитатели превратили садовое товарищество в заколдованное место. Его все

по сказкам знают – «ни доехать ни дойти». И, соответственно, не выйти». Как птички-зяблики, жмутся вьюрковцы по своим дачным домикам от того, что движется к ним от реки и от леса.

Но как несчастье или болезнь приходят внезапно, но не являются случайными, так и всё происходящее с вьюрковцами имеет обоснование. В один из дней аномально долгого лета Вьюрки оказываются во власти ядовитых растений, а кошки начинают нападать на людей. «Вокруг высились жгучие и колючие заросли, над которыми раскинулись гигантские соцветия борщевика. В зарослях мелькали быстрые звериные тени, сверкали круглые глаза, слышались вой и шипение». Оказывается, это поссорились старушки-соседки, огородница Зинаида Ивановна с кошатницей Тамарой Яковлевной, которых особая энергетика Вьюрков превратила в травяную и звериную ведьм.

Да и захлопнулись сами в себе Вьюрки неслучайно. Дачный поселок – это зона застоя, место хлама, поселение скрывающихся от мира людей: «спрятался и бухаешь. Тут укрытие, логово. Для тех, кто не успевает. За жизнью, и вообще», «мы тут время остановить пытаемся».

В обрамлении дачной идиллии вьюрковцы отданы делам бытовым и мелочным, душевно немощны, равнодушны к ближнему своему. Скульптор-любитель Виталий Петрович любит гипсовых пионеров заброшенного пионерлагеря, но не разговаривает с соседями. Супруги Степановы живут в уютном доме, с кружевными салфетками и вышитыми подушечками, как в норе. Вокруг них пропадают и гибнут люди, а Степановы «на широченной кровати, под большим общим одеялом, легким и пышным, как взбитые сливки» размышляют, «сажать ли вокруг беседки девий виноград»[1]. «Счастливым» вьюрковцам нужен чеховский «кто-нибудь с молоточком», чтобы напомнить о том, что в мире есть несчастные. И этот «кто-нибудь» приходит, проявляя истинную сущность зябликов и вьюрков.

Хоррор от Бобылёвой обладает традиционной для русской литературы природой. Она описывает не монстров своего подсознания, как Стивен Кинг, а мир, который рядом, который живет в славянском фольклоре. Реальность её произведений помимо мира людей включает и мир «соседей»: леших, русалок, домовых, кикимор, игошей и шуликунов. Так как неизвестное психика трактует как враждебное, возникает эффект мистического ужаса. Но за «кошмарными» событиями у Бобылёвой стоят человеческие мотивы. Как у Гоголя и Булгакова, её потусторонний мир является причинно-следственной прошивкой нашего.

Так, однажды ночью пенсионер Кожебаткин очнулся в саду, где обнаружил, что превратился в мышь. Правда, ненадолго. «Мягкая тень метнулась из пионовых джунглей. Она навалилась на Кожебаткина, и словно раскаленные прутья проткнули ему грудь и живот. <...> Кошка Маркиза, изящно сгорбившись, захрустела жирной мышью, на землю упала откушенная голова в рваном кровавом воротничке». А в это время «в своей влажной от обильного пота постели» сидит тело Кожебаткина, «смотрит водянистыми бусинами глаз в темноту и подергивает носом». Ужас этого внезапного и несправедливого, как кажется на первый взгляд, превращения сменяется пониманием, когда мы узнаем, что Кожебаткина дачники не любили, был он суетлив, мелочен и неприлично жаден. «Все вьюрковские дети знали, что даже за одно уворованное яблоко Кожебаткин обязательно вычислит их и явится к родителям».

Теперь голый, грязный пенсионер роет подземные ходы и ворует крупу и сахар. «Половину найденного Кожебаткин тут же запихивал в рот, а остальное прижимал дрожащими руками к груди и уносил». Вьюрковцы решили, что он и есть причина всех странностей в поселке. Они вломились в дом Кожебаткина, и озверевшая Светка зарубила его тяпкой. Хотя он вовсе не был

[1] Истории, упомянутые в этом абзаце, не вошли в журнальный вариант романа и опубликованы отдельными рассказами: «У страха глаза мотыльки» (Текст.Express, № 10, 2017 http://text.express/shot-stories/84-alena-toloraya-dzhemma-strelyaet.html), «Стуколка» (Проза.ru http://www.proza.ru/2016/01/25/1834). Также более полный вариант романа представлен на сайте «Проза.ru».

опасен, точнее, опасен был не он. «Катя посмотрела на ее окаменевшее, рябое от брызг крови личико и вдруг поняла, что во Вьюрках остался навечно не только несчастный Кожебаткин. Света <...> тоже никогда не выберется отсюда, даже если прямо завтра вернется на прежнее место выезд. Потому что вместо нее выберется что-то другое».

«Никто не вмешался, не спас его – беспомощную мышку, растерзанную за крупу». «Спешившие покинуть участок дачники <...> очень быстро решили, что дело было так: новопреставленный маньяк Кожебаткин напал на беззащитную Свету, а она, спасая себя и детей, практически случайно его зашибла», «все верили, что со случившимся разберутся другие, более подготовленные люди. Или всё рассосется само собой, и о смерти сумасшедшего Кожебаткина можно будет с облегчением забыть: мир жесток и странен, особенно сейчас, а жить надо...»

С одной стороны, привычные реплики современного человека. С другой – свидетельство превращения людей в нелюдей. Все логично и обоснованно, но случайно попавшая во Вьюрки девочка видит в жителях поселка существ пострашнее иномирных тварей: «Звери были зверями, они просто хотели есть, а эти люди когда-то были нормальными, разумными. Но потом с ними что-то случилось. Может быть, они уже умерли, просто не знают об этом... – Вы мертвые! – выкрикнула Стася. – Мертвые!»

Основной прием художественного метода Бобылёвой – остранение, результатом которого становится не только новый взгляд на привычное старое, но и новый взгляд на привычных нас. И мистика не нужна, достаточно внимательного взгляда, чтобы увидеть вылезающих из трещин обыденности чудовищ.

Но Дарья Бобылёва утверждает, что книга не должна учить. «Художественные произведения предоставляют миры, которые можно примерить. Это не пособия, это порталы». Не стоит протаскивать в сказку «дидактику со всем пылом заслуженной учительницы»[2].

Отвлечёмся от дидактики, послушаем сказку о девочке Кате, главной героине повести и альтер эго писательницы («живет одна, скрытно, с тварями водяными и земляными возится, волос темный и в рыжину»). Катя способна видеть параллельный мир и потому понимает происходящее в посёлке. «Катя зажмурилась, пытаясь склеить воедино раздвоившуюся реальность. В одной темные силуэты, окруженные световыми всполохами, деловито скручивали большого, полновесного Кожебаткина, а в другой – бился в руках огромных людей растянутый за лапки серый бархатный мышонок...».

Как водится, была у Кати бабушка-фея Серафима, которая рассказала ей, что раньше люди ладили с «соседями». А потом, по вине советского неверия в целом и самой Серафимы в частности, наступил разлад. Своевольная Серафима нарушила правила общения с «соседями», обидела особую тварь Полудницу. Дед умолял её покаяться, прощения у Полудницы просить. Но Серафима слушала сестру, комсомолку Татьяну, которая не верила ни в бога, ни в черта, и по чьим словам выходило, что «это Серафиму обидели, напугали, и ух задаст Танька шутникам».

Так поменялись местами причина и следствие, вина и обида. Постепенно люди забыли паттерны коммуникации с «соседями». Сузилось их (наше) восприятие мира. Иное стало чуждым, неведомое – страшным, а вместо знания пришли страх и агрессия. Попытка «соседей» установить с вьюрковцами контакт приводит к серии кошмарных происшествий, причина которых – сами люди.

«Соседи» ведь сами по себе невоинственные. Они пришли во Вьюрки следом за Катей, поскольку она, неся расплату за бабушку, их *дверь* в мир людей. «Соседи» изучают жителей поселка, стараются подражать им в мыслях, облике и делах. Потому и подменяют они вьюрковцев, чтобы научиться вести себя по-людски. «Вообще с ними можно рядом жить, не такие уж они

[2] Дарья Бобылёва. Требуется взломщик // Октябрь. 2016. № 10.

опасные, главное, правила соблюдать. Их в старых поверьях много, только нужно выяснить, какие действенные, какие нет, а это только опытным путем».

Катя и изучает порядок взаимодействия с потусторонними силами. Это одна из самых сильных метафор романа. Мир кажется привычным и понятным, но по-настоящему мы его не знаем. Вместо исследования защитившись бетоном и стеклом, мы поверили в свою неприкосновенность и иллюзию власти... которую «Вьюрки» разрушают. Нарастает тревожное чувство слишком близкого соприкосновения с «соседями». Потусторонняя жуть просачивается в твой дом, твою комнату, и ночь начинает шевелиться и дышать вокруг тебя. А правил-то ты, голый жалкий человек современной эпохи, не знаешь, и от этого намного страшнее.

Но изучить правила – лишь первый шаг. Правила – это обряд, слепок мифа. То, что было обусловлено жизненной необходимостью и породило миф, закрепилось в обряде («Малину и прочую красную ягоду в стояновском лесу собирать нельзя было, зарок такой дали лесному хозяину, а еще малина с земляникой в здешних местах ядовитые вещества из почвы тянули – это для особо ученых»). Теперь Катя восстанавливает правило «красные нельзя», но уже не в Стояново, откуда родом ее бабушка, а во Вьюрках. На новом месте суть этого запрета непонятна. Простое соблюдение обряда не дает понимания послания мифа.

А мы попробуем его отыскать.

Пульсирующее напряжение «Вьюрков» связано с темой материнства и образом Макоши, богини земли и судьбы. Катя, внучка нарушившей гармонию взаимодействия людей и «соседей» Серафимы, не может иметь детей. Её будущее закрыто. Но в тексте есть зеркальный образ-перевертыш Кати – Светка Бероева, мать двоих сыновей. Её дети, прогуливаясь с няней Наргиз возле реки, становятся первыми подменышами в поселке. Светка скрывает, что вместо сыновей теперь у неё живут чудовища. И кормит их, чтобы удержать подле себя, живой человечиной. «Конечно, она знала, что это не ее дети. Но ничего, кроме них, у нее не было. Детьми она зацепилась за солидного человека Бероева, за хорошую жизнь. Теперь не было Бероева, не было жизни, но Светка не могла потерять всё, цеплялась за то, что дали взамен, и мозг ее шизофреническим усилием заместил тех детей этими».

«Какие ни есть, а для матери всегда малыши, – и Светка улыбнулась, совсем как полная молока и счастья красавица-мать в рекламе детского питания. <...> Вы уж извините еще раз, но детки очень кушать хотят».

Как героикой материнства подчас прикрывается душевная пустота, любовь подменяется материальными заботами, а дети становятся оправданием существования, так фантасмагорична аллегория материнства бессмысленного и беспощадного – Светка в велюровом халатике и тапочках с заячьими мордочками, у ног которой свернулись две огромные кожистые пиявки с раскрытыми, полными мелких зубов пастями. Её холодильник забит фаршем из человечины, а в подвале дома гремит цепями заложный мертвец – полуобглоданный труп мужа и отца.

Обе, Катя и Светка, видят реальность двоящейся, а значит способны выбирать между мирами. Но Катя стремится понять суть происходящего, стабилизировать баланс сил, и «соседи» к ней благосклонны, а Светка цепляется за идею власти, своё индивидуальное «счастье», и становится королевой монстров. Может, и нет никакой нечисти, просто мы воспринимаем некие энергетические волны и, в зависимости от особенностей восприятия, интерпретируем их по-разному: кто как «добрые», а кто как «злые».

Во Вьюрках, ставших зоной неопределённости, каждый поступок и каждая мысль получают мгновенный ответ, как в новорожденном мире. Но люди, попавшие в эту зону перехода, не новые. И если окурки и пустые бутылки пропали в одночасье, то так же легко очистить от загрязнения душу не получится. Тем более если у людей нет ни желания очищаться, ни осознанности. Когда

невозможно отделить чистую воду от грязи, ее остается вылить. «Соседи» решают уничтожить вьюрковцев.

«Плохие соседи. Убивали. Убивали... – И Полудница перешла вдруг на панический шепот несчастного пугала. – Плохие соседи.

– Да люди просто, обычные люди... Вы же знаете, вы и в Стоянове с людьми жили!

– Эти другие совсем. Тех мы знали. А этих не поймешь. Уж сколько пробовали. Нельзя с ними жить. Уведу я их. С такими не уживешься. Страшные они».

Итак, страшным оказывается мир не потусторонний, а этот. Но, в отличие от иномирных тварей, у человека всегда есть возможность выбора. Кате Полудница обещает детей и мужа, и счастливую жизнь, если та согласится отдать вьюрковцев «соседям». Привлекательна такая судьба, но обещанному эгоистическому «счастью» противостоит в Кате благоговение к человеческой жизни, то серьезное уважение к самому факту существования другого, которое называется любовью. И Катя меняет свою счастливую судьбу на спасение жителей посёлка.

Новый миф, рожденный «Вьюрками», – это миф о любви, которая способна воссоздать разрушающийся от нехватки взаимопонимания мир.

Текст «Вьюрков» и есть образец такой любви к миру, основанной на искреннем и серьезном уважении, на заинтересованном внимании, позволяющем привычное и обыденное увидеть удивительным образом. Вот, например, – кто бы мог подумать! – кошка: «Тень, помедлив, снова прыгнула, приблизила к обезумевшему пенсионеру древний ацтекский лик с полупрозрачными шарами глаз, дохнула гниющей мертвечиной».

Наблюдательность к мельчайшим деталям предметного мира и самым тонким движениям души создает двустворчатый дискурс, разом и про лицо и изнанку реальности, чем-то похожий на медитативный поток сознания, но без его субъективного эгоцентризма. В речевой стихийности «Вьюрков», похожей на увлекающую за собой реку, причины и следствия меняются местами, ракурсы перемешиваются, внимание к явленному перемежается нырками в бессознательное: «На полыхающий лунный лик набежала туча, а на самого Кожебаткина шагало из темноты чудовище – круглая кожаная башка безо всякого намека на тело, несомая длиннейшими многосуставчатыми ногами. Деловито перебирая частоколом ног, покачиваясь, словно дремлющий пассажир в метро, безмолвный урод приблизился вплотную и застыл, уставив на Кожебаткина зрительные бугорки. Это был паук-косиножка, неведомым образом увеличившийся до размеров теленка. Кожебаткин вскрикнул – и услышал писк. Рванувшись прочь, он почувствовал, что перебирает сразу и ногами, и руками, переместившимися под его мягкое круглое брюшко и злодейски укороченными, так что сохранились одни кисти и ступни. Шлепая ими по холодной и твердой поверхности, Кожебаткин покатился вперед, оглашая ночь испуганным писком, вдруг, утратив опору, упал. Свалился с узкого карниза на выложенную камнем дорожку, зашиб розовые, с микроскопическими коготками лапки и дрожащим от боли и страха комком юркнул в траву».

Стремительность живого речевого потока организована ритмом и смелостью слога, во многом разговорного, созвучного реалиям сегодняшней жизни. Живо то, что находится в непрерывном движении, в том числе и язык: «Родовое гнездо не получилось: дети катались по заграничным пляжам, и единственную внучку, ради которой Валерыч растил лучшую клубнику сорта “Королева Елизавета”, мотали с собой. Но Валерыч все равно переселялся во Вьюрки с весны, достраивал, возделывал и ждал, когда дети поймут, что дача – это гораздо лучше, чем сидеть в своем огороженном “олл инклюзиве”, как на зоне».

Дарья Бобылёва часто использует реминисценции, акцентируя их выпуклость, но не ради холодноватого постмодернистского плезира, а в целях интериоризации художественной силы образов и воплощения их в новом эстетическом акте. Пришедший из леса Витек ест как

желудочно неудовлетворенный кадавр Стругацких («Понедельник начинается в субботу») и тоскливо воет, как их же восставшие мертвецы («Пикник на обочине»). Но процесс кормления кадавра доставляет явное удовольствие его жене, что, несомненно, добавляет новые смыслы, а вой пробуждает в людях не только «ужас равнодушного мирового хаоса», но и осознанность: «Он же самое противное вытаскивает... Вот я, например, бесплодная. Он меня про это думать заставляет, – торопливо проговорила Катя и выжидательно посмотрела на него. – А с тобой что? – А я алкаш». Превращение Кожебаткина в мышь, конечно же, Кафка, но во «Вьюрках» и старые сюжеты становятся актуальными историями, и к прежним мифам легко прибавляются новые.

Такое живое, лишенное шаблонов, всеобъемлющее восприятие реальности не только позволяет увидеть мир по-новому, но и дает возможность заново выстроить отношения с ним. Второе послание мифа, рассказанного Дарьей Бобылёвой, заключается в умении принимать окружающее во всем многообразии и жить с миром в гармонии, то есть в с-мире-нии.

Период подросткового нигилизма в России затянулся. Не ходи туда, там болото. А я пойду! И утону, и ваши правила мне не указ. Так мы и поступаем, все глубже в это болото проваливаясь.

Но правила существуют. Их можно просто исполнять, как делали наши предки: «Бабки говорили, что и в лесу, и в реке, и в поле, и в домах даже – везде кто-то живет, и никому с этими жителями не сладить, только соседствовать можно, да и то по правилам, и правила эти не человек назначает».

А можно стараться понять. Познание же начинается не с отрицания, а с принятия и любви: серьезного уважения к чужому существованию, отличающемуся от собственного.

Так что «Вьюрки» не страшилка, хотя их прекрасная потусторонняя жуть захватывает и не отпускает. Не только ценная по нынешним временам энциклопедия славянского фольклора. И не радфем, хотя культурный герой здесь женщина, а женская предъявленность становится все более заметным мировым трендом.

«Вьюрки» – это новый миф, адаптированный к нашей действительности краткий курс гармоничной жизни.

Сергей БАТАЛОВ

РАВНОВЕСИЕ ГОЛОСА

Екатерина Деришева. точка отсчёта. Стихотворения и переводы. – М.: ЛитГОСТ, 2018. – 62 с.

Несмотря на то, что «точка отсчёта» – это вторая книга Екатерины Деришевой, после вышедшего в 2015 году сборника «Сплав», свое название она носит по праву. Именно в новом издании произошёл окончательный отказ от конвенционного стиха – все тексты «точки отсчёта» – верлибры. Харьковская поэтесса довольно известна по публикациям в литературных журналах («Литературтура») и лонг-листам литературных премий («Белла»). В рецензируемый сборник вошли стихотворения 2016-2017 годов, а также переводы с украинского текстов Лесика Панасюка.

Главное слово, которым можно охарактеризовать первую часть книги, – «коммуникация». Точнее, её отсутствие. Взаимодействие происходит не между двумя *равноправными* субъектами, и даже не между двумя людьми, говорящими на разных языках, а между чем-то разнородным, скажем, человеком и дельфином. Или – человеком и инопланетянином. Или – человеком и духом. Последний пример не столь условный; тема контакта с душами (или ду́хами) важна для поэта, об этом идет речь, когда Деришева поднимает тему рождения и смерти. Одним словом, речь о коммуникации между существами столь разной природы, что окончательное понимание невозможно.

<...>
не родившийся ребёнок
ищет родителей

разрастается до взрыва смыслов
<...>

Духовный мир, подлинная реальность, в котором обитают субъект и адресат, непознаваемы для жителя материального мира, у человека попросту не хватит языковых средств описать его.

размытая реальность

трансформируется
в кинопленку

раскадровка
лишена смысла

есть ли есть целое
если есть

Остается «кинопленка». Операционная система, в которой происходит наложение ирреальности на реальность. Особым проявлением соприкосновения с *подлинным миром*, становится человеческое, скрытое, но ощутимое «я». Хотя коммуникация невозможна и с ним: как с подлинной сутью визави, так и с собственным внутренним голосом. Язык не может ухватить как бы подлинное «я», раз за разом создавая его подобия.

<...>

эй я слева
позови ту меня что справа
она выше
нужно закрыть форточку
я слева дай мне воды

В нашем мире есть лишь один способ соприкосновения с действительности. Это – слово. Оно бесполезно в оторванности от вложенного в него смысла. Но даже в непереведённом слове (с языка поэзии или другой реальности) есть что-то ещё – его природа, фонетика; то «равновесие голоса», обретя которое, можно если не понять, то *почувствовать* неназываемое.

<...>
цветы огня
выныривают в пространство

когда нужен лишь отпечаток

Если первая часть книги – «Указатели мертвых имен» – большей частью о невозможности постичь человеческую природу, то вторая – «Хитиновая тишина» – о невозможности познать окружающий, предметный мир. Окончательно понять хоть человеческую, хоть вещную природу/суть надежды нет, как никогда не будут поняты письма чаек или жизнь камней.

Третий раздел – «3D» – самая короткая и загадочная часть сборника. Полушуточные, немного абсурдные истории-концепты несколько выходят за раму общей картины. Помните шутку Эйнштейна о муравье на воздушном шаре? Кажется, что и эти истории – подобны ей. Абсурдны ровно до того момента, пока на их примере не объясняются некие тайны мироздания. То, с каким юмором и фантазией это делает Деришева, доставляет особое удовольствие.

опубликовал офисное здание в ОАЭдом
в Ступино

провёл коммуникации
во всех измерениях

дом любого размера и формы
изнутри и снаружи

система автоматического выравнивания
по горизонту и система стабилизации
система смешивания и доставки

примесные компоненты в бетоне
и климатические условия не учитываются

единственное ограничение представители
физики
её законы

Отдельно скажу о переводах. Включение их в сборник наряду с авторскими текстами создает необычный эффект. Вроде мы соприкасаемся со стихами другого поэта, Лесика Панасюка, а вроде – это голос той же Екатерины Деришевой, говорящей *другими словами* примерно *о том же*.

Но если Деришева пытается заглянуть за грань неведомого *из* нашего материального мира, то Панасюк видит следы этого невидимого/непознанного *внутри* его. Время перевоплощается в часовой механизм, слова – в грязную посуду, а личность – в голос. Эти метаморфозы заслуживают отдельного разговора, отметим, что выбор текстов для перевода кажется логичным; своеобразным продолжением собственных поисков – только в другой словесной и смысловой окантовке.

Давно не говорила мне
приятных слов
таких простых как стол
или грязная тарелка
а я в свои 22 ни разу
не видел гор и моря

Не говорю тебе приятных слов
таких простых как стол
или грязная тарелка
наверное боюсь что будут зажаты
между уголков твоих глаз и губ
боюсь что идя в горах
мою тень привалит камнем
идя босиком по теплому песку
мою тень смоет волна
я стану бесстенным
и останусь один

но может тогда ты скажешь
бесценный или единственный
а может я тебе скажу

Критики, говоря об идеостиле текстов Екатерины Деришевой, отмечают как бы отсутствие, затушеванность субъекта в её текстах. Из этих стихов мы практически ничего не узнаём ни об авторе, ни о его лирическом герое. Данила Давыдов в отзыве, вынесенном на обложку, пишет о «минус-приеме», благодаря которому происходит разрушение образа, а за

ним и вычёркивание субъекта из семантического поля стиха.

Думаю, это не вполне так. Во-первых, автор не ставит задачу рассказать о себе. О поэте Екатерине Деришевой мы знаем только одну вещь – её завороженность сложностью и непознаваемостью мира. Это вызывает симпатию. Становится понятным желание автора объяснить языком поэзии вещи, которые невозможно передать в бытовых разговорах. Все равно как если бы математика попросили на пальцах объяснить, что такое четвёртое измерение. Впрочем, Екатерина, кажется, и правда математик. Или программист. Так что аналогия не выглядит слишком натянутой. И, во-вторых, может быть, в подобном методе постижения мира и кроется потенциал для развития? Вот и в стихотворении «нет ничего» личная драма становится началом для подобного разговора; на выходе – оно, пожалуй, самое пронзительное во всей «точке отсчёта».

нет ничего кроме текста
но и он исчезает
по дороге разочарований

первый колобок
ушёл от нас с мамой
в мои семь;

первая любовь в пятнадцать;
защита и каменная стена
в восемнадцать
это был мой дед
обхитрённый лисицей рака

<...>
а
то же сделаешь и ты
дочитав последние строки
текста

Так или иначе, какой бы путь не выбрала Екатерина Деришева, констатировать, что в русскоязычной поэзии появился новый интересный и глубокий поэт, можно уже сейчас.

Елена ЗЕЙФЕРТ

«В ПОДЗЕМЕЛЬЕ ТУПИК ЭТО БОГИ»

Анна Глазова. Земля лежит на земле. Стихи. – Спб.: MPR, ООО «Скифия-принт», 2017. – 96 с.

В одной из своих недавних работ я назвала Анну Глазову среди современных авторов первой руки. Рецензия на её новую книгу – повод вернуться к вопросу о вершинных авторах, щепетильному и неоднозначному, и задуматься о свойствах их поэзии, хотя бы наметить эту тему. Иерархия есть на любой ступени общества, даже на самом его дне. У той же Глазовой «в подземелье тупик это боги». Вопрос щепетильности или щепетильность вопроса здесь ещё и превентивны. Говоришь о слабых авторах, отвечают – а судьи кто? Обозначаешь самый высокий этаж творчества поэта и не знаешь, как уберечь себя от обвинений в голословности и пафосности. Действительно, кто здесь судит? Читатель? Критик? Время? Их трио?

Произведения Глазовой растут из дословесного, то есть сначала зарождаются целиком в бессознательном, а потом вычерпываются словом. «Откуда это можно знать?» – возможно, возмутитесь вы. Отвечу: по целостности произведения (взаимосвязи и не случайности всех его элементов) и следам естественного дословесного в нём. Подлинные метафизические стихи хранят в себе моменты своего рождения, следы тех вспышек и срастаний, когда слово превращалось в вещь. Эта генная память зрима в стихах, как твёрдые капли воска на свече. Стихи принимают в себя остатки зерна, из которого появились, чтобы сделать их своей новой органикой. Разновременное живёт в стихах как синхронное – и остатки плаценты, и органические элементы будущих рецепций. Можно говорить о естественном и искусственном присутствии дословесных элементов в тексте. У Глазовой следы дословесного естественные. Это видно, к примеру, по её метаболам. М. Эпштейн говорит о метаболе как о метафорическом тропе, в котором на-

блюдается «выведение в дискурс промежуточного понятия», оно «становится центральным, объединяет удалённые предметные области и создаёт непрерывный переход между ними»[1]. Метабола и есть «метафора с кусочком плаценты». Всегда ли метабола эстетически ценна? Здесь важно отличать естественное врастание в ткань произведения сопоставительного признака как момента рождения, создающее высокохудожественный контекст, и искусственное его монтирование, показывающее слабый художественный уровень. При искусственном припаивании сопоставительного признака неизменно возникает ощущение избыточности смысла, авторского многословия, закрывающее читателю сотворчество. Не так у Глазовой. Промежуточное её метабол создаёт новые зазоры, новые метафоры.

ударяясь о воду
человек на горчичное зерно
превращается в камень

Если мерить время верой, то «человек на горчичное зерно превращается в камень». Не та ли это Храмовая гора, которой верующий можете повелеть перейти, и она перейдёт? Уверовав, человек производит изменения в самом себе. «Взять обратно слова как детей заблудившихся» у Глазовой, возможно, значит осветлить, простить и принять их:

потом ему часто хотелось
взять обратно слова
как детей заблудившихся
и людей разуверенных в жизни

Инверсия идиомы («правильно» было бы «взять слова обратно») вынимает слова из идиомы.

В книге Анны Глазовой «Земля лежит на земле» нет провисших строк, проходных вещей. «Так не бывает, – возразят мне, – средние вещи есть даже у Пушкина». Скажу иначе – Глазова не допускает не взвешенные строки в книги и журнальные публикации. И о Пушкине поспорю: даже в его экспромтах для меня звучит дивная музыка, а разноуровневые вещи мы найдём в послесмертных изданиях у любого классика, ибо издатель придаёт ценность любому автографу. Глазова не демонстрирует нам свои возможности – это мой высокий уровень, а это мой, скажем, хороший уровень. Её стихи – мышечный танец на самом высоком уровне сложности и одновременно простоты.

Да, да, простоты, та доля завораживающей простоты, которая всегда присуща вершинным произведениям. Не простоты-тезиса, а простоты-синтеза, простоты, поднявшейся над сложностью-антитезисом. Эта простота родилась над сложностью. Если сложность целостна, то она способна быть воспринятой в процессе читательского озарения как простота. Улавливая взаимосвязь (в том числе, положим, выраженную в намеренной дискретности мира), читатель примет текст. Простота здесь следствие целостности.

Художественные средства в произведении призваны как можно глубже рассказать нам о *естестве,* показать нам его или даже лучше (вос)создать его – любовь, материнство/отцовство, труд/досуг, мир/войну, время/пространство, жизнь/смерть. Если произведение создано так, что хочется сказать: «Что вы, оно не о простом! Оно вовсе не о любви, не о детях, не о работе, не о долге. Оно о метафизическом!», значит, художественные приёмы обрели здесь, к сожалению, автономность и даже анклавность внутри вещи. Художник перестарался, произведение перегружено, внутренние ключи не слышны. Что может быть более метафизическим, чем дети, отношения между мужчиной и женщиной, труд, смерть? Поэзия Глазовой не отвлечённые размышления. Это вообще не размышления, а скорее озарения, о живом и неживом.

Её творчество отличает особая жанровая оптика – узнаваемый стиль при одновременном многообразии художественных форм и ракурсов. Небольшие произведения, срастающиеся в лирические циклы. Единичное как целое и как часть целого.

Что определяет тягу к Глазовой читателя, и не только элитарного? И стихи, и отрешённая, полная достоинства манера поведения поэта.

[1]Михаил Эпштейн. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX-XX веков. М.: Советский писатель, 1988. С. 166-169.

Обитание Анны в иноязычной обстановке (работа в США, проживание в Германии) благодаря многоязычию углубляет объёмность её личного восприятия.

В книге «Земля лежит на земле» продолжается органический эксперимент автора с адресатом. Если раньше Глазова обращалась не к человеку, а к существу, которое не может ответить (к землеройке в книге «Для землеройки»), то в книге «Земля лежит на земле» адресат – гипотетический человек («один человек»). Однако безусловное понимание вынесено за скобки. Что остаётся, кроме безусловного понимания? Для Анны Глазовой здесь важно вероятное – то, что может случиться с гипотетическим человеком. Вероятное как реальное.

Образность у Анны Глазовой зарождается и растёт, как корневая система, вглубь. Но и у неё есть маркеры, словно выдвижные стёкла на парнике. К примеру, разрез идиомы у Глазовой настойчиво работает на сбой привычных настроек.

один человек
взял (как в жёны) в наследство
не дом и не землю,
а граничный камень

<...>

а когда возвращался в себя,
становился старше собой.

<...>

кто отдал себя на исчерпание

Поэт расшатывает функцию слова как термина, как «граничного камня», стража межи. Такое слово теряет власть, его не слушаешься, не попадаешь под его чары – оно, мечущееся, слушается тебя. Слово колеблется и благодаря эффекту эха, когда Глазова произносит его на небольшом фрагменте тексте несколько раз в разных контекстах и даже значениях:

оказавшись в горах или на голом песке
сходит с кожей
с этого света
на этот свет

или может быть сходит с себя
песок
или горы
медленно трогают за живое;

люди сходят
за что-то людское.

У Глазовой в книге живёт и водомер, и землемер, не кафкианский, вернее, не совсем кафкианский, ибо повторённое слово в любом случае растёт из кожи впервые сказанного. Её люди действительно мерят природу, как и она измеряет их.

В книге единичны вещи, явления, слова, они все одновременно автономны и ищут своё место в окружающей и внутренней метафизике.

О работе Анны Глазовой со стихиями я писала в другой статье, но здесь не могу также не акцентировать эту тему как инструментарий, бур, позволяющий автору говорить о смерти, о рождении, о жизни. Середина, центр, фрагмент, выпуклость, вогнутость: полотно земли нарезано авторским взглядом, этот нож работает с контуром. «Солнцу приходиться зарываться глубже в себя», а «мой-реке» не скажешь «стой». В разительно контрастном – схожее (свёрток, скважина), в похожем – разное (полость, пустота). Во фразе «всё живое любит неживое» взаимонаправленность, и прямой и обратный порядок слов: рыба стремится к кораблю, корабль стремится к рыбе. Почва лежит на планете – эту интерпретацию названия книги знаю от самой Анны, с которой посчастливилось лично познакомиться и пообщаться на конференции в Марбахе в октябре 2017-м. Мы говорили с Аней о психологии творчества. Она поделилась: «Я пишу сразу после пробуждения, даже не открывая ещё глаза, на границе между сном и явью. Там сознание яснее всего работает. Если упустить этот момент, мысли уже слишком притупляются. Это окно максимум в час-два». Обратите внимание, что Анна говорит о сознании и мыслях, а не о бессознательном и озарениях.

Ночью слышнее нехватка сущего. Но чтобы слышать её при пробуждении, нужна особая музыка внутреннего слуха, полное переключение голоса на слух.

Денис ЛИПАТОВ

ПЕРЕНАЗВАТЬ МИР ЗАНОВО

Алексей Остудин. Вишнёвый сайт. – М: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2017 – 376 с. – (Поэтическая серия «Русского Гулливера»)

Чей образ подсовывает нам стереотипное мышление при слове «поэт», точнее «современный поэт»? Разумеется, всё зависит от читательского опыта, но рискнём предположить, что в целом образ получится не слишком жизнерадостным. С известной долей погрешности он будет колебаться в диапазоне от бесшабашного гуляки-хулигана-дебошира, условно говоря, «есенинского психотипа», с непременной обречённостью, когда, по словам другого поэта этого же психотипа, «в рожденье смерть проглядывает косо»[1], до эдакого «тихого алкоголика», вечно рефлексирующего субъекта с кислой физиономией, в поношенном пальто, треснувших очках и бутылкой портвейна за пазухой, сиротливо оглядывающегося по сторонам и бормочущего себе под нос что-то вроде «как засран лес, как жизнь не удалась...». Словом, «невесёлая личность». Кстати, ещё один современный поэт так и назвал свою недавнюю книгу[2].

Алексей Остудин – поэт редкой витальности. «Невесёлой личностью» его точно не назовёшь. Он не то чтобы не укладывается в приведённые выше стереотипы и диапазоны – он их просто начисто разрушает. Если и гуляка, то без трагического надлома и загиба, если и рефлексия (что вообще-то у Остудина редкость, во всяком случае, мне трудно вообразить, чтобы он написал что-то в духе «как жизнь не удалась» – это органически не его нота – жизнь уже удалась просто потому, что ты живёшь), то без уныния и суицидальных, даже мысленных, прогулочек и закидонов. Но повторюсь – у Остудина это редкость, и образец чистой рефлексии мы среди его стихов, скорее всего, не найдём. Он, конечно, гедонист и эпикуреец. Как следствие, заметим ещё одну отличительную черту поэтики Алексея Остудина: неравнодушный взгляд, направленный на окружающий мир. Т.е. вот Маяковский когда-то сказал: «я поэт и этим интересен». С того времени, когда эти слова были сказаны, они постепенно вошли в «состав крови» почти всех русских поэтов. «Я поэт и этим интересен, – повторяет вслед за Маяковским современный автор, а от себя, пусть и не вслух, но добавляет: – А интересен этим, прежде всего, самому себе». Т.е. самое интересное, что есть в мире для современного поэта, это то, что вот он поэт, и свою задачу он видит в том, чтобы это стало интересно ещё и читателю. Отсюда наиболее распространённая форма современной поэтической книги: «лирический дневник», «каталог рефлексий», попытка разобраться с самим собой, зафиксировать свой личный метафизический опыт. Окружающий мир интересует такого поэта не сам по себе. Как правило, он если и «попадает в кадр», то, вульгарно выражаясь, почти всегда получается такое своеобразное селфи из серии «я и засранный лес». (Между прочим, цитируемое стихотворение Сергея Гандлевского так и начинается: *«Мне нравится смотреть, как я бреду...»*) И, в общем, это далеко не бесплодный путь: навскидку можно назвать с десяток, а то и больше, имён поэтов, которые блестяще справляются с задачей в таком ключе и умеют заинтересовать тем, что они поэты, не только самих себя, но и читателей и критиков. Но как бы там ни было, такой путь уже постепенно становится общим местом, а такой образ поэта – именно что стереотипом. По закону противодействия просто обязаны быть и другие поэты. Алексей Остудин, как нам кажется, из таких других поэтов, во всяком случае, его путь или стратегия совсем иные. Читаешь «Вишнёвый сайт» – и создаётся впечатление, что ему некогда или неинтересно разбираться с самим собой, со сво-

[1] Высоцкий.

[2] «Невесёлая личность» – книга Константина Комарова.

ими рефлексиями и метафизическим опытом, а интересует его прежде всего окружающий мир: он как будто спешит его переназвать, дать всему новые имена, тем самым переосмыслив и увидев по-новому давно уже привычное и знакомое, нанести на карту мира свою систему координат. Это поэт-естествоиспытатель. Косвенным доказательством такого предположения может служить тот факт, что в новой книге Алексея Остудина «Вишнёвый сайт» все 343 стихотворения (все!) имеют свои собственные заглавия. Пресловутые и такие «демократичные» *три звёздочки*, маркирующие отсутствие заголовка и *как бы* случайность высказывания, *как бы* необязательный его характер, минутное настроение, не используются ни разу. На наш взгляд, это означает, что каждое стихотворение само по себе жест, ни одно из них, видимо, не зарождалось случайно, из некоего неопределённого настроения, лирической дымки, когда ещё и неизвестно, выйдет ли что-нибудь, и поэтому в заглавие выносятся три звёздочки, вроде бы оставляющие поэту некое пространство для манёвра, для «лирического отступления», когда поэт после прочтения такого стихотворения, словно извиняясь или кокетничая, говорит слушателям: «ну как-то вот так...», дескать, черт его знает, получилось или нет, а что должно было получиться, я уже и сам толком не помню. Напротив, заглавие сразу обозначает творческую задачу, тот «вес», который поэт, словно атлет, обещает публике «взять». В этом смысле каждое стихотворение в «Вишнёвом сайте» обладает собственным немалым весом, являясь преднамеренным, неслучайным высказыванием, и сопоставляя заглавие («объявленный вес») и последующий текст, читатель каждый раз имеет возможность оценить, насколько поэт-атлет справился на этот раз, взят вес или нет. Т.е. Остудину чужда эта игра с читателем в равенство, когда поэт, кокетничая, прикидывается, что он только один из нас. Да, он не оставляет себе пространства для манёвра, да, он предоставляет читателю возможность каждый раз сравнить заявленные намерения и результат, но он и знает про себя, что может больше, что умеет больше, чем иные поэты и уж тем более читатель, и например, на предложение прочесть несколько стихотворений в потоке других авторов может сказать (сам слышал): «Спасибо, я в таких компотах не участвую», – и раствориться в воздухе, оставив после себя только улыбку. *(«Можешь поцеловать мне руку, если, конечно, хочешь». – «Спасибо, что-то не хочется»)*[3].

Вообще в «Вишнёвом сайте» Остудин частенько напоминает Чеширского Кота, оставляя в воздухе только улыбку. Читатель, таким образом, оказывается в роли Алисы, а главные чудеса в этой стране происходят, разумеется, в языке. Содержание этих чудес, как уже и было сказано выше – «переназывание мира заново», и основной приём, с помощью которого они достигаются, вынесен в заглавие книги – «Вишнёвый сайт». Вероятно, существует для такого приёма специальный термин, а я для себя назвал его «метод преднамеренных оговорок». На первый взгляд дело нехитрое – внедрение схожих по звучанию и написанию, но отличных по значению слов в устоявшиеся конструкции на место слов привычных и бывших там всегда. В результате смыслы расхожих словосочетаний или видятся с неожиданных сторон, раскрывая свои дополнительные возможности, или вообще выворачиваются наизнанку. Приём не то что бы нов, и не сказать, что уж настолько сложен, чтобы не быть взятым на вооружение другими поэтами, но требует известного остроумия, даже изощрённости, а главное – безупречного слуха, дабы не соблазниться пошлостью, не скатиться до подзаборного юмора. Остудин владеет этим приёмом виртуозно. Вот несколько примеров его практического применения в «Вишнёвом сайте»: *«с паршивой овцы файф-о-клок», «качает права-мурава», «джаз на грани фолка», «любви все возрасты попкорны», «что там у нас на Тибет?», «Клара ветров», «любая мелочь вдруг приносит бользу», «Sony в летнюю ночь», «мисс доброй надежды», «обветренной губы болит треска», «добрее добермана», «январево»* и т.д. Такие «улыбки Чеширского Кота» или, следуя в фарватере названия самой книги – гиперссылки – в изобилии развешаны по всему «Сайту».

[3] Диалог Короля и Чеширского Кота в «Алисе в Стране Чудес».

Но сам по себе никакой прием, конечно, не может быть самоцелью, имея только прикладное значение. Вообще говоря, в обнажённом виде он был продемонстрирован, например, Борисом Заходером в русском переводе всё той же «Алисы в Стране Чудес». Помните оттуда, скажем, такие весёленькие стишки: *«Крокодильчики мои, / Цветики речные! / Что глядите на меня / Прямо как родные? // Это кем хрустите вы / В день весёлый мая, / Средь нескушанной травы / Головой качая...»?* И если бы всё сводилось только к виртуозному владению приёмом, если бы «ссылки» на «Вишнёвом сайте» были «битые», возможно и не стоило бы затевать разговор. Но ссылки – не битые. Куда же они ведут? Попробуем пройти по некоторым из них:

Обветренной губы болит треска, *(Здесь и далее выделено мной. –* **Д.Л.**)
«Аквариум» и **джаз на грани фолка,**
по лезвию бегущая строка,
висящая на ниточке двустволка,

и молодость, и боты в соцсетях,
больные, но живучие поэты,
зажавшие в загашнике пустяк –
по три-четыре сотки Интернета,

в надежде, что удастся, может быть,
дождавшись урожая терпеливо,
у Млечного пути перекурить,
насущный хлеб забулькивая пивом...

(«Второе дыхание»)

Первые ссылки, открыв второе дыхание, привели нас на перекур у Млечного пути. Здесь, на такой высоте, глаз словно приобретает свойства фасеточного зрения, он начинает замечать и то, что Вселенная всего лишь «колечко на пальчике любимой» и что самолёт в небе – лишь «семечко в закате», который сам по себе только «ломоть арбуза»:

Ты затаилась в зарослях духов –
так прячется в меду осколок воска.
И глянцевый закат с полотен Босха
зацеловал зрачки твоих стихов.

Начнём обратный времени отсчёт.
Вселенная, как сумерки, конечна,
На пальчике твоём она – колечко,
сама в себя, бездонная, течёт.

Пусть Малую медведицу в живот
с наскоку жалит квантовая муза.
Уже **закат горит ломтём арбуза** –
в нём семечко торчит, как самолёт...

(«На закате»)

Привычные смысловые конструкции обнаруживают новые свойства:

За что, кривому солнцу вопреки,
одной строкой пробиты две щеки?
От боли даже хрипу невпротык –
пусть вырвет зубы, только не язык!
Пусть по усам, пока могу терпеть,
течёт, как мёд, расплавленная медь.
Там **свищет Свифт**, светает рано там,
а на ветвях аппорт и джонатан.
Лежит на кочке, выполнив скачки,
лягушка, как забытые очки.
Звенит, с утра не попадая в тон,
натянутая леска плеска волн.
Падёж скота, винительный коттедж...
Грядёт июль, и запах лип не свеж.
В гнездо заглянешь за пожарный щит –
миноискатель жалобно пищит.

(«Игра снов»)

Мироощущению читателя сообщаются дополнительные опции, окружающий мир снова становится вещным, выпуклым, ощутимым:

Вдоль набережной, выкатив истому,
живут скамейки дружно и светло.
Влюблённые по вечеру густому
ведут велосипеды за седло.

А ты, отзывчивый по телефону –
пролив толчёный в ступе кипяток,
примериваешь сумерек попону
и ловишь стрекозу за хоботок.

Хранят газоны воздух из вискозы,
дневного ветра пыльные мешки,

хрустят стеклом голодные стрекозы,
готовят кофе майские жуки.

Вот на тебя глядит собака праздный,
боится, что носитель языка
опасен. А на деле – не заразный,
одно сомненье, может быть – пока.

(«Вечерний звон»)

А любая мелочь вдруг оживает, приобретает характер, стремится проявить себя, заявить о своём существовании:

Прыщ на носу и тот стремится – в позу.
Трава себя же лепит из золы.
Любая мелочь вдруг **приносит бользу** –
крапива во дворе, укус пчелы.

(«Весенний шум»)

Постепенно концентрация этих преднамеренных оговорок достигает такого крутого замеса, что читатель и впрямь обнаруживает себя в каком-то новом космосе, где, например, *«до отвращенья плоский мир покоится на трёх Китаях»*, а странные метаморфозы обнаруживают себя на каждом шагу:

Бритьё и раздраженье смоешь в душе,
водой текущей задом-наперёд,
тебя в бутылке **выбросит на «суши»**
где палочками чайка подберёт.
На чёрном рынке взвесив все ириски,
эпоху перед зеркалом прикинь,
корми кота из оловянной в Минске,
пока к обеду хлеб не из Пекин.
Твоя **крутая лесенка не спета,**
перечитаешь надпись на роду,
чтоб снять с предохранителя планету,
как маузер в семнадцатом году.
Продолжишь, хоть порой невыносимо,
из горлышка самбуку вострубя,
рождённых ползать Горького Максима
выдавливать на Капри из себя.

(«Остров ошибок»)

Так работает Остудин. Схожий приём есть, например, в арсенале Александра Кабанова. Но у него он служит, как правило, для подчёркивания абсурдности ситуации, у Остудина же он применяется для возвращения реальности её полнокровия, преодоления инерции восприятия жизни, рутинности повседневного бытия, привычки, в конце концов, даже и к чему-то хорошему, которые в сумме превращают окружающий мир, окружающую реальность в реальность *виртуальную,* отнимая у неё главные свойства – осязаемость, ощутимость, познаваемость пятью основными чувствами. Парадоксальным образом, но порою реальность за окном и правда кажется *виртуальнее* реальности «Вишнёвого сайта». Кстати, в отличие от Кабанова, поэзии Остудина совершенно чужда политическая и социальная проблематика, строго говоря, он не делится никаким уникальным жизненным опытом (ну разве что интересно живёт – «Дорога на Лумбини», например), которого не мог бы иметь читатель. Наоборот, Остудин стремится, обновив мироощущение читателя, показать ему, вновь донести до него, что и его, читателя, повседневный опыт бытия может быть уникальным и полнокровным.

Навигация по сайту не затруднена какими-то сюжетными условностями. Конфигурация же выстроена следующим образом: 343 стихотворения разделены на семь вкладок: «Мисс доброй надежды», «Я иду гулять!», «Рецепт невесомости», «Кризис жанра», «Время пеликанов», «Дорога на Лумбини», «Када не павизёт».

Выше уже было сказано о редкой для современных авторов витальности поэта Остудина. (В разделе «Время пеликанов» даже есть стихотворение «Витальное оружие» – опять, кстати, применение фирменного приёма – витальное вместо летальное.) Это, конечно, не означает, что в его мире всё безоблачно. Но даже когда накатывает уныние, природное жизнелюбие берёт верх, и раздел, в который собраны стихотворения «печальной ноты», получает насмешливое название «Када не павизёт» с нарочитым «детским» искажением написания слов, сообщающим реальной ситуации «когда не повезёт» известную долю самоиронии и некой забавности и на корню отрицающим её безвыходность или фатальность. Например, предпоследнее стихотворе-

ние раздела и книги в целом, хотя и называется «Вопль», но это вопль о перерождении:

> Снова номер не правильно набран.
> Цифровыми измученный гостами,
> я соврался, веду себя нагло –
> сочини меня заново, Господи!
>
> («Вопль»)

– что, в общем-то, укладывается в логику стремления «переназвать мир». Почему бы этот процесс не завершить тем, что и себя «сочинить заново»?

Андрей ПЕРМЯКОВ

ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ

Паровозъ. Поэтический альманах-навигатор. (№6). Сост.: С.В. Василенко, В.О. Кальпиди, В.Н. Мисюк. – М.: Стрелец, 2017. – 368 с.

Открывая альманах, издаваемый тем или другим союзом писателей, готовишься почувствовать себя Индианой Джонсом. Или, скажем, героем-детективом, обязанным отыскать сокровища, укрытые в движущемся поезде, раз собрание текстов назвали «Паровозом». В самом деле: вероятность поэтических открытий совершенно ненулевая, однако постараться надо будет весьма. Сообразно названию, альманах состоит из вагонов. А пассажиры (то есть авторы) распределены в большинстве этих вагонов по алфавиту. До такого, к счастью, пока не додумались даже родные РЖД. Ещё есть вагончик для детских поэтов, почтовый, где переводчики, и багажный. С критиками. И ведь всё это надо обойти! Нет, совсем не то чтоб обязательно «надо», однако, скрытые драгоценности всё-таки хочется обнаружить.

Ну, вот. Поворчав на принцип комплектации состава, изложу очень существенную вводную. Составителем этого номера альманаха «Паровоз», шестого по счёту, был Виталий Кальпиди. И предваряла выпуск краткая аннотация, где, в частности, было сказано: «Шестой <...> выпуск “Паровоза” осваивает новый поэтический маршрут. На сей раз представляем уральский треугольник “Пермь – Екатеринбург – Челябинск”».

Ситуация мгновенно делается интересней по целому ряду причин, и начну, пожалуй, с одной из главных. Думаю, каждому любителю поэзии известно, что Виталий Кальпиди составил три тома Антологии «Современной уральской поэзии». В 1996-м, 2003-м и 2011-м годах. Первый из этих томов удостоился даже не снисходительного, а просто снобистского отзыва Д. Быкова, написавшего, дескать, «лучше пейте водку, ребята» и, что уж совсем дивно, обозвавшего уральскую поэзию «насквозь книжной и вторичной». Впрочем, характеристики такого рода говорят, скорее, об их авторе, нежели о рассматриваемом им объекте. Куда важнее другое. Третий том стал событием и катализатором ряда последующих крайне интересных проектов. В сущности, его влияние ощутимо в литературной среде по сей день.

Заметим: до сих пор график выхода новых книг уральской Антологии был выдержан безупречно. Один том в семь-восемь лет. Стало быть, на рубеже 2018-19 гг. мы вправе ждать обновления этой серии. Разумеется, это лишь наше предположение, однако попробуем действовать именно в видах означенной возможности.

Итак, в первую очередь сравним поимённый состав последнего на сегодняшний день тома Антологии и рассматриваемого выпуска альманаха. В Антологии было представлено 77 авторов, в альманахе семьдесят. Едва ли не паритет. При этом восемнадцать авторов, включённых в альманах, в Антологии отсутствовали. Кажется, много. Кажется, состав обновился почти на 2/7. Однако тут есть некоторое лукавство.

Ровно половина, девять из восемнадцати «новичков» были представлены в первом и/или втором томах Антологии. В том числе такие системообразующие для литературного Урала фигуры, как Евгений Касимов, Антон Колобянин, Евгений Ройзман, Дмитрий Рябоконь, Виталина Тхоржевская. Почему они не были включены в третий том? Да по самым разным причинам. Скажем, перерыв в твор-

честве, занятия прозой... Да чего в жизни не бывает?

Вторая девятка и вправду оказалась в солидном сборнике Уральской Поэтической Школы (УПШ) впервые. Здесь тоже есть весьма разнообразные варианты. Скажем, Владимир Кочнев, Анастасия Журавлёва, Александр Маниченко вполне б могли оказаться в третьем томе. Однако не оказались. Нина Александрова напротив – сделалась очень заметной именно в течение семилетия, прошедшего со дня выхода этого тома. Ольга Мехоношина и Денис Колчин не торопясь росли, росли и выросли до значительных поэтических величин. Юлия Долгановских и Вадим Заварухин лично мне стали известны благодаря журналу «Белый ворон». Думаю, и не мне одному.

Егана Джаббарова весьма молода, появилась на своде поэтического неба тоже недавно, но так ярко, что совсем новичком назвать её трудно. Всё-таки участие в премии Драгомощенко, публикация в Новом мире, книга, фестивали. Так что «Паровоз», скорее, закрепил восприятие её: ориенталистского, горького и... вот «феминистского» здесь будет очень неточным словом, а «женского» – просто ошибочным; какого-то такого, имеющего отношения к этим терминам, но выходящего за них письма.

Очень порадовал своей подборкой Артём Носков. Будто выходит молодой совсем человек и, скажем, исполняет блюз в духе Джона Ли Хукера, только абсолютно свой. Странно, что его дебютная книга как-то не прозвучала ещё:

***

Наблюдай, как в пылу колокольного дня
На стекле догорит серебро,
Как погибнет от солнечного неогня
Перечёркнутое неперо.
Это талые птицы у окон твоих
Неизвестный сложили маршрут.
Если ты этой ночью подышишь на них,
То к рассвету они оживут.

Важный момент: альманах, а тем более – антология, в общем-то, и не обязаны представлять читающей публике новичков. Их задача состоит в фиксации литературного процесса. Но открытия, конечно, приятны.

Есть в издании, как водится, и совершенно неожиданные подборки. Вернее подборка. Автор – Виктор Смирнов, 1957 г.р.:

***

Как в ягоды рябину кинет,
готовьтесь: осень тут как тут,
она ощипанной гусыней,
рябиновку держа во рту.

Был август в половине только,
заосеняло непомерно –
казалось, ревностный католик
был летом выбран для примера.

Дожди, дожди, дожди, дожди
и мокрые цветы, и лужи,
ах, правда, август еле жив, –
и это не осталось вчуже:

зачитывались до боли,
залёживались на кушетке,
задумывались невольно,
печаловались душевно.

Всего в подборке восемь текстов. Пять из них содержат по три катрена, два – по четыре и один – пять. Это стихотворение, может быть, самое показательное. Хотя в большинстве остальных тоже присутствуют умеренный алогизм, чуть смещённый синтаксис, природа, не как фон или элемент настроения, но как соучастник. Умеренное многословие. Словом, всё, как мы любим, и автора, безусловно достойного автора, вдруг подошедшего к седьмому десятку, представить публике, конечно надо. Но... Но тут почти автоматически заходит речь о тех, кто в этот сборник не попал.

А не попали многие. Традиционно слабо представлена Пермь. Мы понимаем: УПШ – проект авторский. Но всё-таки, если ориентироваться на книги, журнальные публикации и фестивальные выступления последних лет, отсутствие Алексея Евстратова, Александры Шиляевой, Вячеслава Хисамутдинова, Георгия Звездина, Ольги Роленгоф выглядит несколько обидным. Относительно Юрия Беликова и Дарьи Тамировой есть объяснения: они и в третьем томе Антологии были представлены сепа-

ратно и, кажется, согласия на публикацию не давали, хотя и запрета с их стороны, вроде, не было. Словом, взаимоотношения поэтических сообществ двух уральских столиц хоть и далеки от накала страстей меж болельщиками футбольных клубов «Амкар» (Пермь) и «Урал» (Екатеринбург), но тоже весьма непросты. Мы в те отношения лезть не станем.

Но вот отсутствие авторов, покинувших Урал, это, похоже концепция. Хотя Марина Волкова пишет в открывающей альманах статье: «Русские поэтические школы: XXI век» следующее:

«1. В основе школы – не список поэтов, не географический ареал их творчества, не единая манера письма, не традиция, не общие темы.... В основе школы – идея. Остальное вторично»,

– повторим: УПШ, в сущности, проект частный, хоть и ставший очень масштабным. То есть решает всё воля главного акционера и владельца бренда.

И ещё уточнение: слово «покинувшие» имеет, как минимум, два базовых значения: временное и совсем печальное. К счастью, уехавших гораздо больше, чем умерших, но среди последних есть, к примеру, Евгений Туренко и Тарас Трофимов. Последний, кстати, не был представлен ни в одном из томов Антологии, но, с точки зрения произошедшего с ним, так ли это важно сейчас? Возможно, тут необходим какой-то локальный проект вроде проводимого в Москве Борисом Кутенковым «Они ушли, они остались». Тем более на Урале к наследию умерших поэтов относятся, в целом, бережно, свидетельством чему, к примеру, стал выход собрания текстов Сандро Мокши, подготовленного Русланом Комадеем. Думаю, здесь опять-таки сказывается влияние школы как концепта.

Из активно пишущих и продвигающих себя авторов отсутствует Александр Вавилов. Нет Михаила Корюкова, но в его случае перспективы пока кажутся весьма светлыми – вне зависимости от частностей, даже от столь существенных, как публикация или непубликация в гипотетическом четвёртом томе Антологии.

Далее бы, конечно, перейти к теоретически самому интересному моменту: к обсуждению отдельных подборок. Отследить их динамику, влияния и взаимовлияния на поэтику соседей по региону. Однако это будет уже не рецензия, а совсем-совсем другая и очень большая работа. Думаю, и не индивидуальная. Скажем, на мой вкус подборка Ивана Козлова – лучшая во всей его поэтической биографии. По сути, в литературу он ярко вошёл в 2011-м году публикацией в журнале «Знамя» с повествовательно-фантасмагорическими текстами об отпиленных головах и Вселенной, натыкающейся в процессе своего расширения на стенки очень крупного желудка. Не так давно была публикация в «Волге» с абсолютно иными стихами. А тут вот очень удачное сочетание разных линий в творчестве хорошего, но малопишущего (малопубликующегося?) поэта.

Напротив, Инна Домрачева пишет довольно много, и её подборка в «Паровозе» являет собой очевидный контраст с книгой «Лёгкие». Скорее, возврат к нервной и прямо воздействующей на автора поэтике прошлых лет, отражённой, кстати, в третьем томе многократно упомянутой тут Антологии. Даже некоторые стихи перекочевали из той публикации в новую. Но в целом обертонов стало куда больше.

Честно скажу: вот так высказываться в объёме одного-двух абзацев по каждой подборке весело, но контрпродуктивно. Всё-таки альманах «Паровоз» получился цельным объектом, отражающим очередной этап развития УПШ. И, кстати, стал уже источником ряда литературных и окололитературных процессов. На основе текстов этого сборника было проведено полтора фестиваля: отдельный и большая программа в рамках пермского «Компроса». Марина Волкова составила из анкет авторов, не вошедших по причине объёма в том, раздел на сайте УПШ «Культурная история поэта». Всегда ж интересно понять истоки творчества. Или хоть попытаться.

И ещё один, но далеко не последний в своей важности момент. Мы довольно уверенно говорили о грядущем томе Антологии УПШ. Даже предполагали его формат. А вдруг этого тома не будет? Или он выйдет сильно поздней? Что тогда? В чём будет заключаться самостоятельная культурная ценность альманаха? Помимо собственно представления поэтов, конечно?

По моему мнению, альманах этот кажется очень хорошим прецедентом сотрудничества писательского союза и неформально сформировавшейся структуры. Хотя, повторю, структуры, явно скреплённой деятельностью одного человека с довольно небольшой группой коллег. Прежде всего: факт членства в СРП (равно как и в любом ином союзе) роли для включения в сборник не играл. Значение имело качество текстов и воля составителя. То есть в данном случае Союз писателей отлично выполнил одну из своих базовых функций: представление читателю интересных и состоявшихся авторов.

Отлично была решена и проблема региональной привязки. К примеру, «Всероссийский журнал поэзии ЛиФФт» задумал интересную акцию по представлению в своих номерах поэзии разных регионов. Дело хорошее, но расположенные рядом Московская и, скажем, Владимирская области оказываются в довольно неравных условиях. Там просто разная концентрация поэтических сил. Или, к примеру, Свердловская и Курганская области тоже различны в своём литературном весе. В данном же случае всё получилось очень сбалансированно на уровне представления большого региона стране. Про внутренний дисбаланс с некоторым ущемлением Перми я уже сказал.

Естественно, УПШ – случай особый. История школы прослеживается едва не на сорок лет вглубь. Однако варианты, думаю, есть. Допустим, регион Средней Волги мог бы презентовать через участие в подобном проекте Сергей Сумин и его издание «Графит». «Волга», всё-таки, не региональный, я б сказал, *демонстративно не региональный* журнал. Очень интересным мог бы оказаться номер, представляющий поэтов Русского Севера – Вологодскую, Ярославскую, Костромскую, Архангельскую области. У прозаиков из тех краёв получается крайне удачное взаимодействие на базе журнала «Октябрь». Русский юг в широком диапазоне – от Майкопа до Курска – тоже был бы интересен.

Словом, как обычно: состоявшийся и удавшийся замысел порождает множество других идей и концепций. А вопросы и лёгкое ворчание – так они всегда будут, это неизбежно.

Олег РОГОВ

ЕСЕНИН – XXI

Алексей Слаповский. «Тоска веселая». Два дня из жизни Сергея Есенина // **http://www.slapovsky.com/439036110**

Не открою большого секрета, если скажу, что новая пьеса Алексея Слаповского изначально планировалась как пьеса о Есенине, но, как это иногда бывает, замысел вырулил на другую колею. Поэт как персонаж оказался непредставим, смею предположить, еще и после не столь давнего сериала с Безруковым, но стал гораздо более живым и современным, присутствуя в манифестации тех или иных стереотипов массового восприятия, как навязанных, так и стихийно сложившихся.

Пьесу предваряет авторская ремарка: «Сюжет: в Сосновке ставят спектакль о посещении села в 1922-м году Есениным и Айседорой Дункан. Местная начальница и краевед спорят с автором-режиссером: все было не так, а если и так, то трактовки сомнительные. Стихи Есенина оказываются парадоксально актуальными, что и смущает. Театр в театре: актеры играют современных сельских жителей, играющих исторических персонажей, что отдельно занятно. Сам бы поставил, да времени нет».

Если мы – это на 95% то, что думают о нас другие, то после смерти процент округляется до полной сотни. В случае известных (знаменитых, великих, замечательных и т.п.) авторов их особенно жаль – увеличительное стекло биографов безжалостно, мемуаристы пристрастны, литературоведы себе на уме, дневники не спасают. Кто-то уже с младых лет обзаводится эккерманами, кто-то сражается за приватность, но личный миф, более-менее внятный ярлык для всех неизбежен, хотя бы для удобства иерархической каталогизации. Впрочем, в последнее время оказалось, что мифологизация великих может быть вполне динамичной, а исследователи принялись сбивать стереотипы как кегли, отрабатывая технику броска.

Миф о Есенине, конечно, стоит в первой десятке, если не тройке отечественных великих мифов, проходящих по поэтическому ведомству. В пьесе представлены три главных типа массового восприятия Есенина, делегированные представляющим их персонажам. Это официоз (Дымовая Влада Святославовна, 55 лет, заместитель директора по работе с общественностью), конспирологические биографии и народное краеведение (Дмитрий Петрович Еремин, 70 лет, пенсионер, бывший парторг, краевед) и наивное, народное восприятие (крестьянка Таня, персонаж пьесы автора и режиссера спектакля Климкина).

Пьесу готовят к постановке в народном театре при региональном управлении Московской железной дороги, но сначала ее должен посмотреть местный министр культуры. Ситуация осложняется тем, что «сосновская изба-музей Есенина на балансе областного минкульта! А спектакль ваш – от музея». Ответственная за положительное впечатление, которое должен произвести спектакль на министра, Влада Дымовая, приходит в ужас в самом начале просмотра. Ее поддерживает бывший партийный функционер, увлеченный на пенсии как краеведением, так и теориями заговора. Они, как могут, пытаются исправить положение, предлагая изменить сюжет пьесы, что-то дописать, «не выпячивать», подходить избирательно. Министр вот-вот приедет, менять что-то кардинально уже поздно, и принимается решение ограничиться чтением «с выражением» чего-нибудь приемлемо-хрестоматийного. Министр, впрочем, не приезжает, приемка спектакля отложена. Актеры мгновенно перестают быть персонажами и функционируют уже в своих социальных ролях. Есенина играет молодой дояр, который озабочен расширением личного поголовья коров и возможностью в этом случае обзаведения семейством; Дункан – бывшая жена режиссера, которая до сих пор его любит.

Наиболее внятный образ Есенина – тоже своего рода маленький миф – транслирует Климкин, автор пьесы и режиссер спектакля. Есенин – «поэт вопросительный», он изначально противоречив, его мировоззрение не оформлено, он способен как на смиренную религиозность, так и на богохульство. Но для такого взгляда поэта надо хотя бы прочесть, что абсолютно не требуется официозом. Надо юбилей – будет юбилей. Посмотрите на названия праздничных мероприятий на каких-нибудь афишах («Лейся, песня»), и вам сразу станет понятно, какими испытанными временем методическими рекомендациями пользуются сегодня в министерстве культуры.

А чтение того, у которого юбилей, может быть и опасным. Оказывается, парой-тройкой цитат дело может и не ограничиться, и полезет, как у Есенина, антисемитизм вкупе с, прости господи, русофобией – и что со всем этим делать бедным чиновникам?

Пьеса удивительно современна – при чтении сразу вспоминаешь памятные цензурные запреты или скандалы, связанные с театральными постановками, хотя в тексте об этом ни слова. Странно, кстати, что пока под пристальным вниманием находятся именно театральные и кинопроекты. Наверное, активисты не читали Мариенгофа или постоянно переиздающегося Есенина, претензии к «Тангейзеру» или «Матильде» на фоне некоторых текстов классика окажутся детским лепетом.

Это очень смешная и грустная пьеса – и о нас, читателях Есенина, тоже. Если мы еще читаем его, а не имеем дело с голограммой, созданной дурными советскими учебниками или официозным чучелом юбилейных времен.

Вячеслав ЛОПАТИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО МУЗЕЯ

(Продолжение. Начало см.: Волга. 2017. № 11-12)

Памяти Огарёвой Н.В.

Неожидаемые впечатления от встреч с участницей давних событий – живые интонации архивной «пыли».

Ольга Фёдоровна Корпакова, ровесница и подруга Нонны Валерьевны Огарёвой – в гостях у неё 16 января 2018 года. Прошедшее Светлое Рождество Христово не оставляет безучастной Ольгу Фёдоровну. С Его Рождества начинает прибавляться свету – потому, что Он в этот день родился. Возмущается переносом даты рождения Христа с 25 декабря на 7 января, – сговорилась советская власть с организованной ею обновленческой церковью опорочить христианство.

Ольга Фёдоровна филолог, ученица Оксмана, Гуковского.

– ...дружили домами. – А как студенты могут «дружить домами» с преподавателями? Вот Лида Краснопёрова тут сидит – да разве мыслимо было ей «дружить домами» с Раисой Азарьевной Резник? – ...ну, это уже на поздних курсах. Я ей латынь сдавала – Зоя Владимировна (вторая жена Георгия Александровича Гуковского) *прелестная женщина, но такая валоха – всё в беспорядке. – Ой, Ольга Фёдоровна! У нас оливки! – с таким восторгом, с такой радостью угощает. А мне эти оливки...* – (Лидия Гинзбург, ученица Гуковского напишет в воспоминаниях: – *Григорию Александровичу присущ вкус к дворянскому укладу русской жизни). В сорок втором Гуковские приехали в Саратов, жили в гостинице «Россия». А я работала в Доме культуры Красной Армии консультантом, вольнонаёмной штаба ПРИВО... – бараки, столы. Моё дело организовать сбор людей, найти лектора. О литературе для призванных людей на войну читал лекции Георгий Александрович Гуковский – о песне, о сказке, о былине, людям понятно, интересно. Не единожды мы с ним ездили в Татищево – мужики, украинцы так пели! Они пели потрясающе – «Реве та стогне Днипр широкий», «Дивлюсь я на небо»... По госпиталям ездили. Острого слова наслушаешься, а Георгия Александровича так и замели в антисоветских высказываниях. Какое у него отношение к советской власти? Да никакого, говорил: – Я не годился. Учил совсем не тому.*

...как вспомню довоенное время! В нашей школе, в двенадцатой, организовали литературный журнал... за рукопись сажали – Ирка Петрова, Беляев Игорь – десять лет... А в войну не боялись – бойцы всего навидались: до сорок третьего в Красной армии были бойцы и командиры, только с сорок третьего года они стали называться солдатами и офицерами, как до революции. Популярные пословицы того времен – «Опогонят – на фронт погонят!», «Чему посмеёшься, тому и послужишь!». Служили... Юра Забеньков мой ровесник, восемнадцать лет ему было, когда началась война. Писал стихи. Поступил в институт, и сразу был мобилизован. Ранен в первые дни войны. Что-то с грудной клеткой – два или три ребра вырезали. Вышел из госпиталя, простой солдат – передислокация, ждёт назначения. Ходит в Дом культуры, где я работала, читает стихи, и я запомнила. Память хорошая – я эти стихи Георгию Александровичу читала. – Мальчик, очень талантливый парень. Жалко – убьют! – Почему? Худенький, тонкошеий... – Но ведь убьют сразу. Вот таких и убивают! – Получил назначение Юра, через месяц письмо прислал, больше писем не было. Сейчас бы о нём знали – такой талант! Стихи его? – может, в другой раз прочитаю...

Юлиан Григорьевич Оксман – умный, порядочный, ироничный. Импозантный. Его отношение к советской власти? Он говорил: – Просто не ко двору! – Негатив, конечно, был, но он никак его

не проявлял. Познакомились как? Я сдавала на театроведческий – в Саратов ГИТИС эвакуировали. На собеседовании: – Что будете читать? – Из своего! Шекспира – монолог Ричарда и Маргариты. – Он обомлел! ...у него все события увязывались совместно с Шекспиром – вот Иван Грозный сватался к британской королеве... собеседования было достаточно...

Гуковский и Скафтымов устроили Оксману работу в Саратове, в университете – в 1947 году после десяти тюремных лет. Его рассказ – забудешь такой рассказ? – ...везли на Колыму, дорогой тиф... Сгрузили, – сбросили – «Ну чего его везли? Он уже готов», – а я всё слышу... –

– Жена Юлиана Григорьевича Оксмана Антонина Петровна – святая аристократка из дворянского рода... жизненная стойкость, когда его арестовали и её на допросах...– хотели, чтобы она подтверждала вину мужа... без конца: – Юленька этого не мог! –

Каким у него было самочувствие? В Саратове, в пятидесятом ждали ареста, и Антонина Петровна жгла бумаги. Погибли его автобиографические записки – писал на Колыме, с тех пор сохранялись, а «на воле» оказалось хуже, чем в лагере? Ну и каким у него могло быть саратовское самочувствие? А в Москве дальше разве лучше? Я уже дипломную писала и в Москву к нему ездила – мне лет двадцать пять. Как раз у него прошёл обыск – взяли с него подписку о неразглашении... – Чем бы вы, Ольга Фёдоровна, хотели заниматься? – Я хочу «Маленькие трагедии» Пушкина, обожала всегда. – Выбирайте что-нибудь из советского... – Так Любовь Тренёва – моя тема...

Справка

Оксман о своей работе в Саратове: – *...моё дело работать за письменным столом, а не в аудитории. Лекции убивают меня и физически.* (1952 г., 30 марта)

...Не имел ни одного вечера свободного, а дни полностью поглощает сейчас университет (лекции, семинары, диссертации, диспуты, советы и т. п. – это ведь хуже всякой службы). (1954 г., 8 марта)

...встряхнуться нужно любой ценою – переменой обстановки, запойной работой, картами, интересными людьми, – а лучше всего, вернее – какой-нибудь большой и неожиданной игрой воображения, помогающей выбиться из тупика. Говорю об этом с полным знанием дела – так спасался я от отчаяния и в Лубянской одиночке, и в пыточной камере, и на колымских приисках или лесоповале: – «Я не могу, следовательно, я должен». А без какой-нибудь самовнушённой мечты никакая кантовская категория не могла бы обеспечить выход из тупика. (1955 г., 15 апреля)

...Мы с Антониной Петровной денно и нощно выколачивали «Летопись жизни Белинского» и боялись потерять не только лишний день, но и час (1956 г., 20 сентября). – Оксман – Чуковскому / http://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/pisma/yu-g-oksman-k-i-chukovskij-perepiska-1949-1969.

Георгий Александрович Гуковский. С началом войны призвали в армию, забраковали, в октябре сорок первого арестовали – «контрреволюционная агитация», в ноябре освободили «за недостатком улик». Брат Георгия Александровича Гуковского Матвей Александрович – историк, искусствовед, специалист по Итальянскому Возрождению. Оба арестованы в рамках «борьбы с космополитами», уже в Ленинграде – в июле сорок девятого, вернулись из эвакуации в сорок восьмом. Георгий Александрович Гуковский в апреле 1950 года умер от сердечного приступа в московской тюрьме Лефортово.

– Советская власть, оборвавшая диалог двух крупнейших пушкинистов – Ю.Г. Оксмана и Г.А. Гуковского, принесла науке непоправимый урон. – В.В. Пугачёв. Опальный пушкинист в Горьком (Ю.Г. Оксман и «Пражская весна») // Волга. 1995. № 5-6. С. 162.

Как Кеннана не вспомнить?

– В 1884 г. одна молодая и красивая девушка, по фамилии Софья Никитина, учившаяся в Киеве, была сослана административным порядком в один отделённый пункт Восточной Сибири. Зимой

1884-1885 гг., пройдя уже 4300 вёрст, она между Томском и Ачинском заболевает тифом, которым заразилась в одной этапной тюрьме. Транспорты ссыльных не сопровождаются врачами, и «политические», заболевшие в дороге, должны тащиться, невзирая на состояние погоды и фазис болезни, до тех пор, пока не достигнут какой-нибудь тюремной больницы. На расстоянии 1500 вёрст между Томском и Иркутском находится всего четыре госпиталя, так что больных по неделе и по две волокут в телегах или в санях – т. е., если они ещё не успели за это время умереть, – пока наконец не обретут успокоения, постели и врача. ...она скончалась в тамошней тюремной больнице. Какое удовлетворение доставляло молодой мученице... то сознание, что «отеческое» правительство наложило только в её личных интересах на неё это ограничение, для того, чтобы она не подверглась искушению совершить что-нибудь такое, что могло бы возбудить опасение за «общественное спокойствие и порядок» города Киева. –

Большая часть ссыльных – *...были дворяне или принадлежали к привилегированным сословиям; некоторые обладали, действительно, из ряда вон выходящим образованием... ...такого человека... сослать... как опасного члена общества, в Сибирь, низко и бесчестно.*

...После простого, но вкусного ужина с отличным китайским чаем, ссыльные стали хором петь русские народные песни, полные глубокой тоски... ...невозможно передать даже в главных чертах сущность всех тех бесед о русском правительстве и революционном движении, которые я вёл с «политическими» в Семипалатинске. Я только обязан резюмировать то впечатление, которое произвели на меня эти прославленные нигилисты, которые, как вполне справедливо заметил г. Павловский, «при других обстоятельствах оказали бы родине неоценимые услуги». Если эти люди вместо этого прозябают и гибнут в изгнании, то это происходит не потому, что они не обладают любовью к отечеству или гражданскими доблестями, но только потому, что русское правительство, которое имеет дерзость думать и действовать вместо русского народа, стоит в полном противоречии к духу времени. – Джордж Кеннан. Сибирь и ссылка. Перевод с английского. С.-Петербург: Издание В. Врублёвского. 1906.

*

1947 год. Февраль

– В СГХМ открыта выставка произведений саратовских художников.

182 произведения, 37 худ. Газета «Коммунист». 9 февраля.

1947 год. 14 февраля

Выписка из протокола

совместного заседания Правления Саратовского Областного Союза Советских художников с Правлением кооперативного товарищества «Художник» от 14 февраля 1947 года.

Присутствовали: Миловидов, Завьялова, Мощенко, Лизунов, Бобров, Калачёв, Кулагин, Кольцов, Кибальников, Жуков, Морозова, Мельников, Асеева, Щеглов, Иванов, Маневич.

Председатель – т. Миловидов. Секретарь – т. Маневич.

Слушали: О порядке проведения обсуждения выставки работ саратовских художников.

Постановили: – 1. Предложить Председателю Саратовского Областного Союза Советских художников тов. Миловидову Б.В. сделать основной доклад. В построении доклада должны быть использованы следующие материалы: 1. Постановление ЦК ВКП/б/ от 14 августа – «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», 2. Постановление ЦК ВКП/б/ от 26 августа – «О репертуаре драматических театров и мерах его улучшения», 3. Доклад тов. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» на собрании партийного актива и на собрании писателей Ленинграда, 4. Полученная стенограмма доклада народного художника скульптора Манизера /Москва/.

Товарищу Миловидову поручается сделать критический разбор работ каждого из художников, которые экспонируются на выставке и одновременно указать каждому художнику пути его дальнейшего развития с целью улучшения его творческой деятельности.

2. После доклада тов. Миловидова открыть прения.

3. На обсуждении должны присутствовать в обязательном порядке все члены и кандидаты Сар. Обл. Союза Советских художников и все члены Сар кооперат. Т-ва. «Художник».

4. Пригласить на обсуждение представителей Горкома ВКП/б/.

5. Назначить обсуждение в музее им. Радищева в понедельник 17/11 – 47 г. в 1 час дня.

6. Застенографировать доклад тов. Миловидова и прения по нём.

С подлинным верно:

М.П. Ответ. Секретарь Сар. Обл. С. Сов. Худ-в. /И. Маневич/

Арх. СГХРМ. Оп. 4. Ед. хр. 19.

(Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация документов. – В. Л.)

*

Резолюция

собрания художников, посвящённого разбору выставки саратовских художников

Заслушав доклад тов. Миловидова и прения выступающих, посвящённых разбору выставки Саратовских художников, собрание отмечает:

1. Выставка саратовских художников не отвечает, в целом, требованиям поставленных задач создания высоко-художественных и идейно-насыщенных произведений изобразительного искусства.

2. Нет должной борьбы среди художников и со стороны Облсоюза Советских художников за поднятие идейно-художественного качества произведений и организационно-творческих задач. Общий уровень художественной работы продолжает ещё отставать от требований жизни. Перестройка художественной жизни проводится крайне медленно.

3. Областной Союз Советских художников по настоящему ещё не возглавил борьбы за создание повседневной творческой и организационной помощи художникам и, особенно, в настоящий момент подготовки к Всесоюзной выставке 1947 года, посвящённой 30-летию советского государства.

4. Большинство выставленных произведений и, особенно, тематических, по своему профессиональному уровню выполнены слабо и особенно слабо выглядит рисунок.

Задача Областного Союза Советских художников и Городского Отдела искусств – возглавить борьбу за создание высоко-идейных и высоко-художественных произведений изобразительного искусства. Оказать творческую и организационную помощь художникам в их творческой работе, помочь им глубоко раскрыть содержание советской действительности и образ советского человека в его борьбе за новую жизнь.

Саратовские художники должны неустанно работать над повышением своего идейно-политического и профессионального уровня, неустанно изучая наследие прошлого, его лучшие образцы изобразительного искусства, смело идти по пути совершенства новых форм, колорита, смелых композиционных решений, отвечающих современной жизни нашего социалистического государства.

Арх. СГХРМ. Оп. 4. Ед. хр. 19.

*

Обсуждение стенографического отчёта собрания саратовских художников

Мы – обсуждаем заготовленную стенограмму собрания саратовских художников от 17 февраля с. г. Цель нашего обсуждения в исполнении обязанности коммунистов сообщать, согласно Уставу ВКП/б/, о любых действиях, наносящих ущерб партии.

Соответственно, в прениях коммунист Бобров сигнализирует: – *Начну с доклада, с недавней истории о том, как этот доклад готовился. Борис Васильевич Миловидов почему-то сомневался в своих силах и возможностях делать доклад. В связи с этим было созвано расширенное заседание Правления товарищества художников и Союза советских художников, на котором и было поручено делать доклад Миловидову Б.В. как руководителю нашего областного изофронта города Саратова.* –

Методы коммунистического воспитания не исключают предоставления возможности Миловидову – недобитому представителю имущих классов царской России, выступив с докладом, покаяться, отказаться от буржуазной идеологии и остатков частнособственнической психологии.

Однако стенограмма показывает, что Миловидов остался в рядах остатков недобитых врагов советского народа, враждебных элементов, злостных нарушителей правил социалистического общежития, пытающихся протащить чуждые нам антикоммунистические взгляды. Правильно указывает коммунист Бобров, как осторожничает Миловидов – *...я не успел подготовиться, чтобы выступить с продуманными суждениями по поводу этих работ...* – Тем не менее, Миловидов выгораживает тех, от кого нас остерегают постановления ЦК ВКП/б/, заявляя о работах Кисимова и Севастьянова следующее: – *Театрально-декоративные работы представлены в значительной мере и хорошего качества.* –

А вот коммунист Бобров, когда товарищ Жданов уже огласил решение партийной организации, допускает грубую политическую ошибку, несвойственную высокому званию коммуниста. Коммунист Бобров забывает Устав ВКП/б/, где сказано, что член партии «может свободно обсуждать, открыто высказывать и отстаивать своё мнение до принятия организацией решения»: – *ЦК ВКП/б/ осуждает... предоставление советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание людей мировоззрением враждебным советскому обществу.* –

И вот вместо исполнения своего патриотического долга, вместо того, чтобы подтвердить правоту товарища Жданова, коммунист Бобров во всеуслышание заявляет на собрании художников – *Странно было бы говорить об изофронте какому-то другому человеку, не Председателю Союза советских художников. Мне кажется, что опасения Бориса Васильевича были напрасны. Я лично докладом удовлетворён.* – То есть, коммунист Бобров «удовлетворён», что работы Кисимова и Севастьянова – *представлены в значительной мере и хорошего качества.* –

И это говорится об имеющих целью отравить сознание советских людей работах Кисимова. Об эскизах декораций 1 и 2 актов балета «Соперницы» на музыку буржуазного композитора Гертеля. Для чего, зачем советскому народу балет – пережиток прошлого? Новому, советскому человеку только мешают балетные «пуанты», когда он твёрдой поступью идёт предназначенной ему дорогой от социализма к коммунизму. Иначе, чем издевательством художника Кисимова над одеждой трудящихся, не являются эти его эскизы костюмов навсегда ушедших дореволюционных персонажей – «барышни», «портнихи», некой «Марселины» и «дамы-гостьи».

Таковы же работы Севастьянова: эскизы костюмов «европейцев, негров и грандов» комической оперы «Периколла» композитора Оффенбаха, услаждавшего вкусы ликвидированной нами буржуазной публики. А у Севастьянова ещё и эскизы декораций 1 и 2 актов буржуазной оперы «Травиата» на музыку Верди, эскизы костюмов пресловутых «Виолетты и Флоры».

Не дождавшись от коммуниста Боброва должного отпора, Миловидов, камуфлируя свою истинную позицию, как ни в чём ни бывало продолжает цитировать слова товарища Жданова – *Пьесы советских авторов на современные темы оказались фактически вытесненными из репертуара.* – Вот бы коммунисту Боброву и подтвердить на материале выставки справедливость мнения товарища Жданова – работы Кисимова и Севастьянова вопиют, вытесняя советскую современную тематику из театрального репертуара.

У Кисимова эскизы декораций 1 и 2 актов музыкальной комедии «Холопка» композитора Стрельникова, глумящегося над закрепощёнными трудящимися царской России. Опять эскизы костюмов дореволюционных персонажей. Опять танцуют! Подавать тяжёлую участь закрепощённых простых людей царской России так извращённо? Никогда советский человек не поверит, чтобы «холопы» крепостнической России ещё и танцевали!

А у Кисимова? У него ещё и эскизы 1, 2 и 7 картин балета «Конёк-Горбунок» на музыку Пуни. Опять балет! А нужна ли советскому человеку, как и религия – опиум народа, извращённая балетом сказка? В наше время, когда мы рождены, чтоб устаревшую сказку сделать былью, художник Кисимов морочит нам голову эскизом невозможного «подводного царства» балета «Конёк-Горбунок», украшает эскизом костюма Огудаловой драму безвозвратно ушедшего царского времени «Бесприданницы» Островского.

Того хлеще Севастьянов, – предлагает советскому человеку эскиз декорации чуждой нам тематики «У монастыря» мракобесной оперы «Демон» на музыку А. Рубинштейна. А для отвода глаз выставляет эскиз костюмов хора оперы «В бурю» на музыку Хренникова.

Итак! Товарищ ли нам Миловидов, камуфлирующий намерение ставить личные интересы выше общественных, пытающийся протащить, сохранить, оживить оппозиционные и ревизионистские элементы? Вот в чём вопрос. Но и коммунист товарищ Бобров нарушает партийную дисциплину. Где же критическое отношение коммуниста товарища Боброва к проявлениям частнособственнических тенденций Миловидова? Это то, что касается коммуниста Боброва. И это как раз то, чего коммунисту Боброву недостаёт. Это как раз то, чему ему надо поучиться. Это как раз то, чего ему не хватает.

А вот совсем другая персона! – гражданин Садковой, бывший коммунист, бывший Начальник городского отдела искусств города Саратова!

Партбилет! – на-а стол!

Вам, вам, гражданин Садковой! Мы – считаем высшей мерой наказания исключение из партии. Для гражданина Садкового остались в прошлом времена, когда строгий выговор, объявленный коммунисту вместо исключения из партии, освобождал от уголовной ответственности. Соответственно уставу ВКП/б/, если член партии совершил проступок, наказуемый в уголовном порядке, он исключается из партии и привлекается к ответственности в соответствии с Законом.

Когда всех недовольных нужно было вырубать и выкорчёвывать, вместо искоренения враждебных элементов гражданин Садковой пошёл на примиренчество с сомнительными элементами, врагами в советских масках. Подобная политическая слепота и преступная халатность приводят не просто к опасным последствиям, но и к размыву социально-политического строя. Бывший коммунист, а ныне гражданин Садковой потерял классовую бдительность, у него размыты понятия классового подхода и политической бдительности.

Полагаться на убеждённость, преданность и прочие превосходные качества – это вещь в советской политике совсем несерьёзная. Тут опасность громадная! Когда происходит идейное отступление, ставят пулемёты и командуют: «Стреляй!». И правильно. В этот момент необходимо карать строго, жестоко, беспощадно малейшие нарушения партийной дисциплины. Мы в таких случаях говорим: «Позвольте поставить вас к стенке! Извините, но мы с вами будем обращаться как с худшими и вреднейшими элементами белогвардейщины».

Пусть на примере гражданина Садкового и его подручных недальновидные люди визжат и воют по поводу разоблачённых идеологических диверсий. Каковыми являются восхваляющие Кисимова и Севастьянова тексты Садкового и его подручных. Особая опасность, что эти тексты, протаскивающие противоречащие коммунистической морали, чуждые антикоммунистические взгляды появились в партийной печати.

Уже в 1945 году газета «Коммунист» за подписью бывшего Начальника городского отдела искусств коммуниста Садкового восхваляла работу Кисимова над спектаклем «Конёк-Горбунок». Якобы художник Кисимов, остро чувствуя стихию русской народной сказки, способствует творческой удаче театра – *...спектакль воспринимается зрителем как цельное, законченное произведение театрального искусства...* –

В 1946 году попустительством Садкового Л. Жак опубликовал в газете «Коммунист» восхваление работы Кисимова над спектаклем «Обыкновенный человек» в театре имени Карла Маркса – *...очень удачны декорации, сделанные художником В. Кисимовым.* –

В том же 1946 году от имени газеты «Коммунист» восхваляет Кисимова и Севастьянова попустительством Садкового уже его подчинённая, инспектор городского отдела искусств, потерявшая политическую бдительность В. Завьялова вкупе с искусствоведом художественного музея им. А.Н. Радищева Г. Кожевниковым – *Весьма своеобразна и интересна работа художников декораторов В.В. Кисимова и И.В. Севастьянова... Великолепные декорации спектакля «Конёк-Горбунок» создал Кисимов.* –

Дальше-больше и расширяется круг почитателей разоблачённых ещё в 1946 году товарищем Ждановым упадочных и глубоко чуждых театральных направлений. Аркадий Котилко в газете «Коммунист» в 1946 году пишет – *Талантливый художник В.В. Кисимов дал интересное и оригинальное декоративное оформление спектакля «Ромео и Джульетта», свидетельствующее о большом вкусе, его своеобразной фантазии и знании эпохи.* –

И, наконец, – вместо того, чтобы осадить распоясавшуюся апологетику, сам Начальник городского отдела искусств Садковой позволяет себе восхвалять в газете «Коммунист» премьеру балета «Дон Кихот» в театре оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского: – *...Особенно хорош второй акт. Художнику Кисимову удалось передать колорит Испании. Его декорации, изображающие выжженные солнцем поля и сожжённые красные холмы, старые ветряные мельницы, на фоне жёлтых полей впечатляют, будят воображение зрителя.* –

Бывший коммунист, ныне гражданин Садковой забыл, что социалистическая культура формирует нового человека, – советского патриота, понимающего политику партии и активно проводящего её в жизнь. Гражданин Садковой забыл, что социалистическая культура развивается в непримиримой борьбе с буржуазной культурой, против пережитков капитализма в сознании и быту людей.

Гражданин Садковой, будучи коммунистом и Начальником городского отдела искусств Саратова, не проявил должной партийной активности на собрании саратовских художников 17 февраля сего года. Под напором идейно невыдержанного выступления товарища Данилова, Садковой ограничился к нему вопросами, не удосужившись потребовать чёткого ответа, как оздоровить жизнь художников Саратова. Нетребователен бывший коммунистом Садковой в своём вопросе о необходимости открывать или не показывать народу выставку саратовских художников: – *...думает ли докладчик, что можно и на таком уровне эту выставку открыть для широкого просмотра и нужно ли это?* – Уж если сами художники критикуют свои картины за идейно-художественные недостатки, тем более Начальнику городского отдела искусств надо было применить к изобразительному искусству Саратова партийную позицию товарища Жданова о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград». – *...в настоящее время хороших произведений для двух литературно-художественных журналов явно не хватает. Вот почему Центральный Комитет партии решил закрыть журнал «Ленинград» с тем, чтобы сосредоточить все лучшие литературные силы в журнале «Звезда». Это, конечно, не значит, что Ленинград при надлежащих условиях не будет иметь второго или даже третьего журнала. Вопрос решается количеством хороших, высококачественных произведений. Если их появится достаточно много и им не будет хватать места в одном журнале, можно будет создать второй и третий журнал, лишь бы наши ленинградские писатели давали хорошую в идейном и художественном отношении продукцию.* –

По примеру товарища Жданова Начальнику городского отдела искусств коммунисту Садковому надлежало призвать саратовских художников сосредоточить все лучшие силы на создание высококачественных картин, чтобы художники давали хорошую в идейном и художественном отношении продукцию, наглядно показывая труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества.

Каково же качество продукции саратовских художников?

Особую опасность представляет чуждый советскому обществу формализм, поднявший свою ядовитую голову и в Саратове. Мы осуждаем формалистические тенденции потому, что они игнорируют пожелания народа, стремящегося видеть свою счастливую жизнь изображённой с той простотой, которая присуща произведениям Ленина и Сталина.

Мы отмечаем крайне поучительное следующее обстоятельство – сознательные товарищи не проходят мимо указаний на те моменты, где уместна критика. На следующий день после собрания спохватилась инспектор Городского отдела искусств Завьялова. Она в газете «Коммунист» привлекает внимание к Кисимову и Севастьянову – уже с партийных позиций. Товарищу Завьяловой теперь непонятно, – *почему Кисимов пренебрегает советской тематикой?* – А ведь умеет рисовать Кисимов, нарисовано же им на темы русских сказок – *прекрасное панно для детского*

сада. И женский портрет Кисимову весьма удался. – И, наконец: товарищ Завьялова разоблачает самое вопиющее у Кисимова и Севастьянова, – у них в станковой живописи не изжиты элементы формализма – *...в творчестве которых явно выражено преклонение перед формалистическими приёмами западного буржуазного искусства.* –

Миловидов же, маскируя свою подоплёку, разглагольствовал на собрании саратовских художников о пользе формализма: – *Последствия формалистических течений продолжают сказываться в утере мастерства и в первую очередь рисунка, формы. Эта общая болезнь советского искусства касается и нас. Существует и такая точка зрения – она обнаружилась на одном из заседаний Художественного Совета во время обсуждения работы Кибальникова «Чернышевский», что можно и даже должно деформировать форму для создания впечатляемости, выразительности образа. Эта точка зрения идёт от тех же формалистических течений Западной Европы, которые проникли и к нам /экспрессионизм, футуризм, отчасти импрессионизм и прочие измы/. ...Эта точка зрения не по пути социалистическому реализму. Эта точка зрения будет прикрывать недостатки мастерства и неграмотности и поведёт искусство назад. ...Натюрморт. Будучи удобной натурой, даёт возможность ставить перед художниками серьёзные задачи в области овладения мастерством* –

Однако, благодаря беспартийному товарищу Гурову, Миловидову не удаётся скрывать и далее под маской учёной благопристойности своё двурушничество. Товарищ Гуров, не являясь коммунистом, проявляя партийную бдительность, разоблачил на собрании Миловидова и его личину формалиста – *Вот я смотрю на этот натюрморт художника Миловидова. В нём запах эпохи Людовика XIУ, Рококо, вот этот фаянс, фарфор – всё это вещи из прошлого, не принадлежащие нам. Конечно, они красивы, но чужды нам по духу времени. В них чувствуешь мир дворянства, голубой крови, мир изощрённых чувств и эти рисунки... с сатирами, наядами навевают иные чувства. Поэтому натюрморт этот не несёт в себе идейного содержания. ...любой натюрморт несёт в себе идейное содержание и выражает классовую сущность. Возьмём к примеру голландский буржуазный натюрморт и по домашней утвари, плодам, овощам и различным явствам почувствуем в них утончённую роскошь и сытую жизнь голландского бюргерства. Натюрморт, следовательно не чисто живописная проблема.*

Борис Васильевич умеет рисовать. Умеет он и писать красками, а вот никак не соберётся духом написать хорошую жанровую картину, достойную наших советских людей. Или он не видит, или не хочет видеть новое в нашей жизни. Он как будто не видит советских людей, их жизнь, наполненную борьбой за построение светлой, радостной жизни. ...У нас должна быть элегия, лирика, но на полезной основе, не на той, как в голубой розе «Мира искусства», как было у рафинированных художников, которые сидели и мечтали. –

Товарищ Гуров проницательно усмотрел присущую Миловидову гнилую идейную ущербность, игнорирование понятий классового подхода и политической бдительности, потерю классовой бдительности. Товарищ Гуров принципиально ставит вопрос о самой сущности Миловидова. Товарищ Гуров, соблюдая нравственные принципы, изложенные в Уставе ВКП/б/ разоблачает, независимо от занимаемых Миловидовым постов, присущее тому по классовой принадлежности вредительство. Товарищ Гуров прямая противоположность формалисту Миловидову: –*...я никогда не разменяюсь на пустые вещи, ибо меня воспитала советская власть... поэтому я никогда не могу разменяться на пейзаж или натюрморт ради удовольствия. ...Наша задача не только писать ради удовольствия, ради какого-то эстетического чувства. Хотя всякое произведение должно иметь долю эстетического чувства, но, главное, художник должен в своих произведениях отобразить задачи партии и мобилизовать народные массы на выполнение этих задач. ...Мне кажется, что мало заниматься стороной чисто формальной, работать над мастерством, а, главная задача должна стоять в идейной выраженности произведения, только тогда художник будет впереди, только тогда он будет решать важнейшие задачи, которые перед нами поставило советское государство. И не стыдно будет, когда художник, ввиду ограничения во времени, даже несколько снизит формальную сторону, не дотянет, а в годы Отечественной войны требовались темпы и быстрота выполнения. У нас были моменты, когда требовалось быстро работать, агитировать может быть*

и за счёт некоторого снижения качественной стороны произведения. ...но во время войны не приходилось думать долго над формальной стороной. ...Я должен сказать, что вот эта моя работа «В фашистском плену», конечно, оскорбляет мой вкус, мне просто стыдно было её выставлять, стыдно было посылать её в Москву, т. к. я вижу большие погрешности в рисунке, цвете, композиции. –

К сожалению, оппортунистически проявил себя на собрании художник Кулагин Л.М. – *Иван Никитич Щеглов пытался разбирать выставку и пришёл к заключению, что выставку не нужно было открывать, так как она очень мала и работы низкого уровня. Я считаю, что выставку открывать нужно было. Я не видел раньше на наших выставках сильнее работ. Но в нашей выставке есть одно хорошее – это то, что на ней нет формалистов и, главное, её нужно открывать, потому что нужно просмотреть свои силы на будущее. –*

К счастью, здоровые силы в лице коммуниста товарища Мощенко Василия Фёдоровича поддержали осуждающую позицию товарища Гурова в отношении формалистических происков Миловидова: – *Формалистических произведений здесь у нас нет, но формалистический подход у нас есть, товарищи. ...Примером такого явления мы имеем натюрморт художника Миловидова Б.В. Порочность его заключается в том, что в нём нет идейного содержания. Случилось это потому, что он приступил к писанию натюрморта с точки зрения формального начала. ...Технически натюрморт исполнен хорошо. Но что на нём изображено? Набор случайных красивых музейных предметов; фарфор, чашки и чайники из разрозненного сервиза XVIII века, цветы и яблоки, кусок парчи и рама. Спрашивается, для чего это всё нужно? Для красивого пятна и только? Вот в этом и заключается порочность. Такие порочные вещи, как этот натюрморт, как раз и осуждает ЦК ВКП/б/. ...Рафинированное искусство, как остаток формалистического подхода к искусству, как искусство для искусства, не должно иметь место в нашей жизни. –*

А вот многолетний директор Саратовского художественного училища товарищ Шиханов позволяет себе сомневаться в целесообразности доводов товарища Гурова. – *Вопросы качества художественной работы, создание тематических полотен... Я не согласен с т. Гуровым, что во время войны можно было кое-как работать. Можно ли вообще в области изобразительного искусства работать кое-как. Ведь это творческая работа, это создание образов, которые должны звать, воспитывать и внутренне обогащать людей. Очевидно, Владимир Фёдорович допустил не совсем точное выражение своей мысли. К созданию тематических работ нужно всегда относиться по настоящему серьёзно, чтобы их можно было и оценивать как следует.*

Я никак не могу согласиться с таким утверждением, что важна тема, что живописный язык – это вещь второстепенная. ...Тематическая сторона произведения очень важна, но обязательно нужна и высокая живописная культура. ...Всё же на выставке есть замечательные вещи. Например, «Непокорённый» товарища Кибальникова, это многие отмечали. Правда, работа эскизна, но в неё вложено большое творчество. ...Есть ли у нас художники, которые могли бы дать лучшие результаты? Безусловно, есть: Щеглов, Гуров, Кибальников, Эккерт.

Тов. Кибальников: Он никогда не даст.

– Это очень жаль, ведь раньше он имел хорошие результаты. Я вас очень уважаю, тов. Кибальников, но считаю, что в этом утверждении вы не правы: нет настоящего советского художника, который бы не мог дать хороших результатов, если он будет хорошо творчески работать.

...Сейчас в училище пошли по пути создания возможностей творческого роста. У нас не хватает помещения, но мы всё же выделили комнату, приспособили некоторое оборудование, создали неплохую мастерскую для творческой работы наших преподавателей. –

В качестве реабилитации коммуниста, бывшего инспектора Городского отдела искусств товарища Завьяловой, следует поставить её бескомпромиссную поддержку позиции товарища Гурова в отношении формалистических изысков Миловидова: – *Борис Васильевич, я считаю, что оценка этого натюрморта дана правильно. Я не думаю, конечно, чтобы кто-нибудь из нас считал, что пролетариат не имеет права на красивые вещи. ЦК ВКП/б/ ставит перед нами задачу повышения идейного уровня. ...речь сейчас должна идти о том, что всякое художественное произведение должно быть адэкватно эпохе, оно должно звать вперёд, должно быть выражением нашей эпохи. Вот о*

чём у нас должна идти речь, а не о том, что вы не должны писать красивые вещи. И мне кажется, что не следует опошлять ту точку зрения, которую выдвинул товарищ Гуров. Я бы на месте товарища Гурова защитила бы свою позицию. Здесь речь идёт о том, что в живописи мы должны иметь вещи, наполненные ощущением советской полнокровной, полноценной действительности. Вот поэтому и надо этот вопрос ставить глубже и принципиальнее и в этом свете товарищи дали правильную оценку этой вещи. ...Борис Васильевич не верит в свои силы по совершенно неизвестным причинами, располагая известными качествами в смысле опыта, он слишком долго тренирует себя в области формы, мотивируя это тем, что не хочет вылезать с плохими вещами. ...чрезвычайная взыскательность к форме иногда может говорить о равнодушии к содержанию. ...поэтому я бы и хотела видеть тренировку формы для какой-то определённой цели. А вот этой цели я и не вижу у Бориса Васильевича. Я не знаю, для чего нужна была эта парча, позолота и фарфор его вещи. Я не вижу рабочего пути, который приведёт его к созданию реалистического советского произведения. Вот с какой точки зрения и должна быть подвергнута критике содержание этого натюрморта. –

Мы – отмечаем, что на собрании принципиально партийную позицию товарища Гурова не все поддержали. По большевистски напористое, но незрелое, с сомнительными, лишь кажущимися убедительными доводами выступление фронтовика коммуниста Данилова в защиту фронтовика Миловидова является ярким примером узкой, непринципиальной групповой критики от которой и остерегает нас ЦК ВКП/б/. – *Тов. Гуров! Вы на меня не сердитесь, поскольку вы любите прямоту. Вы пытаетесь на работе Миловидова доказать здесь чуждую идеологию и голубую кровь. А хотите, я также, как вы, играя словами, докажу, что ваша картина является иллюстрацией книжонки Гитлера «Майн кампф». Ваша вредная и неверная концепция в подаче темы – вот, что снижает качество вашей работы. В книжёнке Гитлера «Майн кампф» сказано, что он добьётся такого положения, что во всём мире право носить оружие будет принадлежать <u>только</u> немцам. Вот эта идея высшей господствующей расы у вас и показана. Как у вас изображён русский народ? Вместо русских, советских людей вы изображаете горьковских босяков. Это не русские люди. Это всякий сброд и отрепье. Вы не знаете русских людей. Вы выдумали эту картину, сидя здесь в тылу, на основании газетных заметок и поэтому получилось худосочно, бескровно, не сильно. Я не говорю о формальной стороне. Что представляет собой центральная фигура? Это растерявшийся босяк, который смотрит исподлобья на немцев. Между тем, как русские люди, которых немцы угоняли в Германию, выглядели далеко не так. На 100 человек, угоняемых русских, немцы выставляли взвод своих солдат, чтобы удержать этих людей, потому что боялись они их перебьют. Когда их угоняли, то по бокам шли танки, в воздухе были самолёты для того, чтобы предупредить охрану о нападении партизан. А вы изобразили безвольную покорную массу, неспособную к сопротивлению. Провели в своей композиции такую концепцию, на которой настаивала вся фашистская Германия. Немец у вас как король. Это властелин земли и он себя так и ведёт. И получается, что достаточно двух человек и собаки, чтобы удержать такую массу в повиновении и в результате помимо вашей воли здесь ваша ошибка. Ошибка в подходе к внутреннему решению содержания своей композиции. Это снижает качество вашей композиции, а не то обстоятельство, что вы не справились с живописью и рисунком.*

...мне вспоминается «теорийка» одного врага народа, который в своё время не мало принёс вреда нашей стране. Он говорил, что пролетариат настолько отстал, что ему искусство не нужно. Оно ему понадобится только тогда, когда он перестанет быть пролетариатом, а пока он пролетариат, он в искусстве не нуждается. Наша советская действительность доказала, что это вздор. Советские художники создали прекрасные образцы искусства и наше советское искусство является передовым во всём мире и это для всех очевидно. ...уже созданы произведения искусства, достойные нашего великого прошлого.

Пытаются обвинить Миловидова чуть ли не в голубой крови, путают все стили, эпохи, хотя там просто изображены красивые вещи. Разве мы настолько дики, настолько примитивны, что нам отказано в праве любоваться красивыми вещами, которые являются достижениями человеческой культуры до нас. Мы должны овладеть всей культурой прошлого и на основании её постро-

ить свою ещё более высокую советскую культуру. Я работал художником Петергофа и вспоминаю с каким энтузиазмом приезжали трудящиеся люди из Ленинграда и со всего Советского Союза и как они восхищались рококо, барокко, стилем ампир – всё, что создали ценного прошлая культура и никто им не запрещал и никто не посоветовал не смотреть это буржуазное искусство. Мир художника – широкий мир. Он должен охватить всё, а не смотреть на жизнь и на вещи из какого-то своего чуланчика. ...Вы правы, товарищ Гуров, что писать картину – колоссальный труд. Это тем более при тех безобразных условиях, в которых находятся художники, это во много раз труднее. –

Достойно всяческого сожаления настороженное отношение коммуниста Данилова к перспективному скульптору Кибальникову: – *Вот тут сидит товарищ Кибальников. Должен сказать, что я был предубеждён против него. Мне не нравится в нём нежелание учиться и большое самомнение – «Я мастер, я всё делаю хорошо». Это качество мелкого человека. Никогда настоящий мастер не откажется выслушать даже самое маленькое замечание. Его скульптуры мне стали нравиться больше и он мне стал нравиться больше. Но он человек малограмотный, как скульптор. Если бы у него была школа, о которой я говорю, то это был бы мастер, скульптор. У него есть хорошие качества: выдумка, темперамент и желание работать Ему надо привить знания. –*

И опять с передовых позиций выступает товарищ Гуров: – *...скульптуры Кибальникова. В них есть горячее чувство. Они импрессионистичны, но нет идеализации. Борис Васильевич говорит, что это Роден. По моему, художник хотел выразить чувство, страсть и это мне нравится. Пусть Роден. Но мы должны взять всё, что нам полезно, даже у художников другой эпохи. Произведения Кибальникова показаны лучше всех выставленных здесь работ. Все они зрелы, эмоциональны и сильно действуют. Хотелось бы такой страсти, силы и содержательности от всех произведений других художников. –*

Достойной отповедью заблуждающимся коммунистам товарищу Данилову, не воздающему должного товарищу Кибальникову, а также неоднократно проверенному, но опрометчиво допустившего реплику в отношении экспрессионизма Кибальникова директору Радищевского музея товарищу Бурмистрову, а также допущенного Миловидовым намёка на заимствование Кибальниковым приёма у Родена, – является выступление коммуниста Мощенко. – *...Отрадным явлением являются творческие произведения, хотя они и не лишены недостатков. «Непокорённый» останется непокорённым. Знатоки говорят, что вот рука тяжеловата и напоминает роденовского гражданина города Кале. Согласен, но она кажется ещё тяжелей тем, кто испытал её удар, удар русского человека с непокорённой душой. При этом я вспоминаю слова автора, высказанные в одной из бесед. «Я бы сделал её в 20 метров высоты и поставил на границе русской земли в назидание всем врагам. Пусть помнят, что русский человек непокорённый. –*

Мы отмечаем крайне нездоровую с партийных позиций обстановку на собрании саратовских художников. Дело дошло до того, что буквально затюканный своими же коллегами, беспартийный, но сознательный товарищ художник Гуров вынужден оправдываться.

т. Мощенко /Председательствующий/. Слово для справки имеет тов. Гуров.

т. Гуров В.Ф. /Художник/

В порядке справки. Некоторые товарищи меня не поняли, что я сказал, что во время можно было снижать качество. Но во время войны прежде всего нужны были темпы. Мы знаем товарищей, которые были прекрасными командирами во время войны, но когда война кончилась, им сказали, что вам надо поступить в Академию, а вот на войне они и без Академии были полезны. Палимпсестов также дал произведение невысокого качества, но всё же он дал больше, чем те художники, которые молчали. А моё произведение было в Москве, его смотрело московское жюри и они нашли его только сырым и незаконченным. –

Мы, кроме незаслуженного охального очернения товарища Гурова, обращаем внимание и на примеры партийного критического отношения. Говорит товарищ Мощенко: – *худ. Скворцов. Замечательный мастер-офортист, но репертуара своего ещё не сменил. Он много и упорно работает, но что он делает? Воспроизводит отдельные уголки зданий, покрившиеся домики в Глебучевом овраге, кривые лодчёнки и кустики. Скворцов шагнул далеко вперёд, но своего творчества он ещё не*

приблизил к требованиям современной жизни. А сколько нового? Город окружён крупнейшими заводами союзного значения. Там, где раньше простирались огромные пустыри, раскинулись огромные заводы, новые посёлки, там, где раньше были парусные рощи – большой парк культуры и отдыха.

А сколько героев и героинь труда, которые ожидают своего показа. –

В данном случае крайне уместна аргументация инспектора Городского отдела искусств Завьяловой в поддержку партийной позиции товарища Мощенко. – *...мы имеем достаточно солидную для нашего города группу художников-графиков. К этой группе можно отнести Миловидова, Морозову, Скворцова, Тимофеева, Гордеева и др. У нас определённо есть блестящие данные в области иллюстрации, которые не реализуются, но наша графика, это острейшее и портативнейшее из искусств, оказалась наиболее бедной по содержанию. Я не хочу повторять по поводу Скворцова, но я просто больше не хочу видеть такие вещи. Надо подойти к более глубокому содержанию. –*

Товарищ Завьялова, в отличие от гражданина Садкового, имеет возможность реабилитации, если и дальше будет следовать в русле партийной демократии. Так, к примеру, коснувшись состояния пейзажного жанра, она задаёт художникам крайне злободневный вопрос, а именно: – *Почему мы не можем написать чудесную Радищевскую улицу, великолепный кусок Ленинской улицы? –*

Мы, – с целью проверки личных качеств, доверившие Миловидову выступить с отчётным докладом, убеждаемся, что этот уцелевший остаток искоренённых эксплуататорских классов сам разоблачает свою мелкособственническую позицию, не достигает цели ввести в заблуждение относительно своего буржуазного происхождения формалиста-художника. Открытый враг не страшен, однако вынуждены констатировать дальнейшую конспирацию Миловидова. Им в конце своего доклада произнесены правильные слова товарища Жданова: – *Во главу угла оценки художественного произведения поставить их идейно-воспитательное значение, их соответствие запросам нашего народа и государства, их высокое профессиональное мастерство. ...Наш долг перед партией, перед советским правительством, перед товарищем Сталиным всю нашу дальнейшую творческую деятельность повести в свете постановлений ЦК ВКП/б/ от 14 и 26 августа 1946 года. –*

Мы утверждаем новую, социалистическую культуру высшего типа под руководством Коммунистической партии. Политической основой социалистической культуры является Советская власть, самая передовая власть в истории человечества. Идеологической основой социалистической культуры является марксизм-ленинизм, руководимый товарищем Сталиным.

Мы, – неуклонно проводя линию партии в подборе кадров по их политическим и деловым качествам, будучи непримиримым во всех случаях, когда нарушаются ленинские принципы подбора и воспитания кадров, доводим до сведения, что Городской отдел культуры Саратова в его нынешнем составе расформирован.

Мы – заменяем Миловидова товарищем Гуровым на должности Председателя саратовского отделения Союза советских художников.

Мы – увольняем директора Саратовского художественного училища Шиханова. На его месте ставим фронтовика-коммуниста Данилова с целью дальнейшего упрочения его на правильных партийных позициях.

Мы, – будучи не введено в заблуждение оппортунистическими высказываниями бывшего Начальника городского отдела искусств, ныне гражданина Садкового, а также беспринципным заступничеством руководства Саратовского театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского, сообщаем, что Кисимов В.В. уволен из упомянутого театра, уволен из Саратовского художественного училища. Севастьянов И.В. до принятия организацией решения оставлен работать в театре.

Шиханова. На его месте ставим фронтовика коммуниста Данилова с целью дальнейшего упрочения его на правильных партийных позициях.

Мы – оставляем временно, в виду его прежних заслуг на должности директора Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева коммуниста Бурмистрова.

При подготовке «Обсуждения стенографического отчёта собрания саратовских художников, посвящённого обсуждению выставки в свете решений ЦК ВКП/б/ от 14 и 26 августа 1946 года» использованы следующие материалы.

1/ Доклады и выступления Ленина.

2/ Устав ВКП/б/

3/ Стенограмма обсуждения выставки саратовских художников, открывшейся 14 февраля 1947 года. Арх. СГХРМ. Оп. № 4. Ед. хр. 19.

*

Справка

Кисимов Владимир Владимирович (1903–1948). Учился во ВХУТЕИНе (1925–1930). Впервые выступил в театре в 1924 году (спектакль «Севильский цирюльник» на сцене Одесского оперного театра). Преподавал в ГИТИСе (1936–1938). Поставил спектакли: «Последняя жертва» (1935, ЦТКА); «Бесприданница» (1936, Киевский театр); «Анна Каренина» (1937, Саратовский театр); «Трудовой хлеб» (1940, МХАТ); «Глубокая разведка» Крона (1941, Ленинградский театр драмы им. Пушкина); Саратовский театр оперы и балета, «Орлеанская дева» – 1942, «Дон Кихот» – 1946.

Уволен в 1947 году из Саратовского театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского, где работал главным художником с 1941 по 1947 годы; уволен из СХУ, где преподавал в 1946-1947 годах. Оставшись без работы, поехал в Ленинград, поставил спектакль «Кармен». В 1948 году утонул.

Севастьянов Иван Васильевич (1893–1994) – согласно Уставу ВКП/б/, ему разрешено «свободно, открыто, до принятия организацией решения», продолжать работу в театре.

*

Солянов Владимир Алексеевич (1927–2016), окончил в 1947 году театральное отделение СХУ. Дипломную работу Солянов и Аржанов начинали при Кисимове – *Тонкий колорист, был приверженцем живописно-объёмной системы декорации. Постановки на ура!* – Солянов. Ко времени защиты диплома Кисимов уволен из художественного училища.

По приглашению Севастьянова Солянов и В. Серебряков, как показавшие отличные результаты в учёбе, работают в Саратовском театре оперы и балета. У Серебрякова слабое здоровье, он вскоре умер. – *Севастьянова через год, теперь в плане борьбы с «формализмом» выжил «реалист» Шуйский.* – Солянов. Когда Солянов сдавал документы в приёмную комиссию художественного института в Харькове, был предупреждён, что экзамены не сдаст. На вопрос «почему» услышал ответ: – *А у вас в Саратове все формалисты.* – На вступительном экзамене за живописную постановку не сумел сдать вступительные экзамены: – *Написано хорошо, но формалистично.* – Солянов закончил художественный институт в Тарту. Отвергнут Союзом художников СССР. Источник существования – работа реставратора Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева. Два года работы в Саратовском театре оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского сформировали будущего художника Солянова – уникальное совмещение зрителя, актёра, автора, режиссёра.

*

Хмелевский Дмитрий Евгеньевич – в миру, он же архиепископ Пимен, посещал премьеры спектаклей саратовского театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского. Однажды мне *(Вяч. Лопатину* – **Ред.***)* Дмитрий Евгеньевич счёл необходимым прочитать записку Ленина о необходимости закрытия театров ввиду бесполезности наследия царской России. Квартира архиепископа Пимена в Саратове, кроме служебных помещений, представляла собой сплошные стены – от пола до потолка – книжные полки. Дмитрий Евгеньевич гордился своим книжным богатством. Было у него редкое, томов в девяносто издание сочинений Льва Толстого – показывал в развороте место вырванных им богохульных страниц о Христе. Было полагающееся полное собрание работ Ленина, в котором цитата Ленина о ликвидации театров была отмечена закладкой. Дмитрий Евгеньевич протянул руку, достал книгу и чрезвычайно эмоционально прочёл записку Ленина.

Аржанов Михаил рассказал мне, что театры продолжали существовать вопреки ленинским указаниям из-за Луначарского, у которого тогда были сильные позиции. Со временем Луначарский попал в опалу, и в 30-40-х годах XX века ВКП/б/ возвращается к ленинским нормам.

*

Справка

Отец Бориса Васильевича – Василий Иванович Миловидов – после революции безвозмездно передал в руки народа свою типографию в Аткарске: получил письменную гарантию: в отношении его семьи советская власть не будет проводить репрессий.

В 1936 году Борис Васильевич Миловидов арестован, провёл под следствием три месяца. В том же 1936 полгода под следствием братья Леонтьевы (Александр Викторович – старший, младший Виктор Владимирович, приёмный сын). Спасла Леонтьевых чрезмерная бдительность НКВД – повозиться пришлось с описью при аресте, в наличии фотоаппарат (множительная техника), разложены по всей комнате фотографии. На суде выяснилось, что Леонтьевыми делают фотографии по заказу краеведческого музея на тему «Революционные места Саратовской губернии». По мнению Виктора Владимировича Леонтьева, они с братом не были сломлены следствием, в отличие от Миловидова: «двурушничество» Бориса Васильевича объяснимо испугом – дочери Инне семь лет, отец неизвестно где *(Рассказал В.В. Леонтьев. Записал Лопатин. 1963)*.

Василий Иванович Миловидов – жить с семьёй не пришлось (почему?), встретился с сыном в 1942 году в Москве. «Ранбольной» Борис Васильевич лечился в московском госпитале после побега из немецкого плена. – *...отец пришёл в госпиталь и приходил ещё дважды, пока сына не перевели в Рязань. При свидании он плакал, считал сына погибшим. Старику 81 год. Он очень стар и внешне сильно изменился. Оброс бородой, похудел, осунулся, сгорбился. Живёт трудно, но не жалуется, хотя болел, желудок не в порядке и ноги отекают. По условиям военного времени помочь ему нечем... ...в марте следующего года мой дед скончался. Приехать на похороны тоже невозможно: разрешение на выезд надо оформлять очень долго.* – Инна Миловидова. Великая Отечественная война в судьбе художника // Волга – XXI век. 2004. № 5-6.

*

Ситуативная этика: Гуров и Миловидов

– ...кроме пейзажей, Борис Васильевич за редким исключением /одной работы/ никогда не выставляет портрета или жанра, а рисовать и писать фигуру как будто умеет. Почему? Миловидов Б.В. приехал в Саратов во время наступления немцев под Сталинградом Он мне сказал как-то: «Немцы здесь, под Сталинградом и я удивляюсь как ты можешь спокойно писать "Клятву партизан". Что мне бояться немцев, что-ли, чёрт с ними совсем, я работаю для своего советского зрителя, а какие будут последствия, я о них не забочусь. – Гуров В.Ф. Стенограмма обсуждения выставки саратовских художников, состоявшегося 17 февраля 1947 года. Арх. СГХРМ. Оп. № 4. Ед. хр. 19.

Борис Васильевич Миловидов художник, преподаватель Саратовского художественного училища, призывник-резервист 1928 года. Его новая, военная специальность – сапёр, сержант, командир отделения. Участник войны, медали: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Дочь Бориса Васильевича Миловидова – Инна Борисовна, пишет о начале войны: – *...год 1941-й. ...художники... Надо решить, что делать по части агитации. Собрали краски, бумагу и на другой день заработали. Первый сделанный отцом плакат «Фашизм – это порабощение народов», хранящийся в Областном музее краеведения, датирован 23-24 июня 1941 г. На плакате – гора черепов, на вершине которой восседает Гитлер. Большой коллективный плакат «Три богатыря» в размер окна консерватории делали в квартире А.Н. Чечнева, представив в образах былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича Ворошилова, Будённого и Тимошенко. ...Художники рисуют сатирические плакаты. Они выставляются в витринах магазинов, постоянно меняются, привлекая всеобщее внимание.... Около плакатов всегда толпятся зрители... Художники работали и индивидуально, и коллективно, на листах ватмана гуашью и тушью, иные тиражировались в нескольких экземплярах, иногда печатались типографским способом... В июле, по зада-*

нию обкома ВКП/б/, отец успел сделать к первой военной уборочной кампании плакат на текст Г. Наместникова: «Каждый убранный вовремя сноп – это бомба в фашистский окоп, чтоб добит был коричневый зверь, уберём урожай без потерь». На плакате – женщина с высоко поднятым над головой пшеничным снопом (для этой фигуры позировала мама), а из снопа высыпаются на поверженного Гитлера бомбы. Плакат датирован 7 июля 1941 года и отпечатан типографским способом тиражом 10 000 экземпляров. –

Инна Борисовна собрала информацию о работе саратовского «Агитокна», действовавшего в течение всех военных лет под руководством горкома ВКП/б/. – Сотрудники «Агитокна»: А.Н. Чечнев, Б.П. Бобров, Г.Г. Русецкая, Е.Ф. Тимофеев, Б.В. Миловидов и эвакуированные из других городов Ф.Э. Заборовский, Л.Я. Елькович, А.Д. Гончаров, Г.О. Рублёв и др. Бориса Васильевича Миловидова призвали в армию. ...Семь месяцев в госпиталях: рана в паху зажила, но осколок долго сидит и прощупывается. Колено левой ноги, когда упал на поле боя и полз двое суток, сбито – воспаление сустава, очень сильное. Левая нога не сгибается. – *...С 1 октября 1942 года отца уволили в запас по ранению, и неожиданно для нас он вернулся домой. – ...Саратов из тылового города превращается в город прифронтовой... Суровой, очень морозной зимой 41-42 годов всех трудоспособных направляли копать в пригороде Саратова противотанковые рвы. ...Летом 42-го года начались налёты вражеской авиации. ...Деятельная натура художника снова привела его в «Агитокно». Декабрём 1942 года датирован плакат «Все силы народа на защиту великих завоеваний Советской Конституции». В фондах областного музея краеведения хранятся плакаты Б.В. Миловидова «Чем ты помог обороне?» и «Защита Отечества – есть священный долг», выполненные в 1943 и 1944 годах, а также эскиз панно ко встрече демобилизованных фронтовиков (май 1945 года). Начало 1943 года. ...начали поспевать помидоры... он перестал быть «ранбольным» и вернулся к привычной жизни: преподавать в художественном училище и сотрудничать в книжном издательстве.*

Инна Борисовна передала в Саратовский музей боевой славы фронтовые письма отца и компас, который она подарила ему при отправке на фронт. Этот компас прошёл с Борисом Васильевичем его боевую службу и теперь вместе с фотографией Бориса Васильевича в военной форме лежит в постоянной экспозиции в одной из витрин музея.

– ...Выжив в мясорубке Отечественной войны, вернувшись домой, до конца жизни отец вспоминал, переосмысливал события тех лет. ...И он стал писать воспоминания о «своей» войне, которые я считаю своим долгом опубликовать. –

Борис Васильевич Миловидов: – *Саратовский эшелон в количестве 800 человек отправлен на Центральный фронт. ...Формирование для пополнения сильно поредевшего состава войск происходило в районе станции Вадино, километрах в семидесяти западнее Вязьмы, в лесу, ночью. Примерно 300 человек в 2 полка: в артиллерию, остальные в связь и 60 человек в 160-й особый сапёрный батальон при дивизии – слесари, плотники, строители; сапёров оказалось только трое, в том числе и я. Через день-два вступили в почти непрерывные тяжёлые бои. Помню, что через 7 или 10 дней пришёл к нам в батальон связной из одного полка – Ермолов, саратовец, рабочий сцены театра им. К. Маркса. Он сообщил, что из 300 человек саратовцев он остался один...*

Фронтовые письма: – *«...Война как-то уживается с мирной жизнью. Здесь же работают колхозы по уборке урожая в поле, неподалёку от нас. ...Деревушки здешние очень напоминают картины Левитана или Серова...». «...строю дороги и мосты». «...Я всё забываю Иннушке написать, что её подарок – компас – мне очень нужен здесь». «...школьный компас, простенький, такой, какие продавали в магазине «Динамо» для детей. Этот компас оказался единственным компасом в батальоне, по картам и по нему определяли местность. ...Позднее, когда я был ранен в обе ноги и мог только ползти, я полз двое суток по этому компасу день и ночь». –*

Воспоминания: *...мы не стояли ни одного дня на месте, шли по суткам без отдыха... делали переправы, минировали мосты, разминировали»*

Стоит автомобиль, кабина разбита, рядом лежит шофёр, неудобно уткнувшись в пыльную землю, капает бензин. Только 20-25 минут тому назад я спрашивал у него дорогу... Шофёр – это первый убитый, которого тогда я увидел.

...Встала, видимо, необходимость уничтожить документы дивизии – я помогал в разжигании костра. ...Прорыв из окружения нашей дивизии происходил в районе села Богородицкое, под Вязьмой. ...В этом бою я был тяжело ранен. ...Нашему батальону была поставлена задача взять высоту. Потом, когда я бежал из плена к партизанам, узнал это место; тогда, ночью, мы проходили через Богородицкое. Узнал по церкви. ...Я бежал рядом с комиссаром батальона Ивановым и с командиром роты Шальским Николаем. Ещё перебрасывались словами, комиссар сказал: «Побриться бы тебе надо!». ...А через минуту его не стало – прямо в голову попало... ...командование принял на себя помкомбата Мазуров...

...Обожгло в паху, стало горячо и липко, боли не помню, напряжение сильное. Щёлкнуло по стопе правой ноги, где пятка, стопа стала болтаться – бегу, могу. ...Слева от меня, шагах в 20, силуэт немецкого пулемётчика. Прикладываюсь. Винтовка (десятизарядная) не работает – замёрз затвор, перед этим исправляли мост небольшой, я находился в воде. ...Подо мной убитые. Не сходя с места хватаю карабин – человек малого роста разорван пополам. Осечка, ещё раз осечка. Бросаю карабин, хватаю винтовку-трёхлинейку, тоже у убитого, затвор не работает. Бросаю. Ещё человек, разорванный миной, разбито ложе винтовки, но она работает. Успел сделать два выстрела в немца – замолчал. Вероятно, навсегда, близко было. ...За эти мгновения шагов на 30-40 отстал от Мазурова, но бежать могу. Бегу, стопа странно болтается... Ещё разрыв мины, падаю, что-то с коленом левой ноги.

...вышли танки – четыре, в кустах были замаскированы. Вроде бы домики стояли. Стены развалились, и на всей скорости – на нас. ...Один танк шёл прямо на меня. Голова сработала – притвориться мёртвым между мёртвыми... Через несколько минут всё стихло. Нет людей, нет выстрелов. Лежат убитые. Рассветало. Где-то далеко два голоса раненых просят о помощи, чуть слышно.

...уполз... на восток по компасу, подаренному дочерью-школьницей. ...и наконец уснул. Проснулся от того, что кто-то толкает по ногам – немцы. Человек 12-15, с ними офицер. ...Офицер дал распоряжение, отрядили двух солдат, дали палку и повели. ...привели в деревню, к избе. ...Утром, рано, будят, показывают, что, мол, вставай. На руках приподнялся, а встать не могу... Привели двух наших пленных, дали им плащ-палатку и палку, сделали они два узла, продели палку, положили меня и понесли под охраной двух человек. ...принесли в деревню Волково.

...Волково – сборный пункт для раненых. Занесли меня в школу, ходят, хлопочут врачи, санитары, делают перевязки. Оказалось, наши санитарные батальоны, попавшие в плен. ...Так я оказался в числе семнадцати раненых в избе Матрёны Ивановны Леоновой, в деревне Волково, в 12 километрах от Вязьмы. Здесь я пробыл четыре месяца... Деревня Волково небольшая, домов тридцать. Раненых человек триста, все распределены по избам. В школе находились врачи и часть раненых. За каждым врачом закреплены конкретные избы. Всё вместе это называлось «госпиталь». В деревне стоял немецкий гарнизон, он менялся по составу и численности – от 20-30 до 8-6. Врачи организовали и питание: на поле боя откапывали трупы убитых лошадей, в колхозе брали зерно и из этого варили пищу, один раз в сутки разносили по избам.

...вдруг, часа в три ночи, слышим скрип саней. ...Оказалось, разведка наша заехала в село, в наш край, человек пять партизан да красноармейцев. ...Я – старший по возрасту среди товарищей моих и звали меня даже «дядя Боря», вот и заправлял я побегом. Спрашиваю партизан: «Раненых возьмёте?» – «Скорее садитесь!». Я за своими ребятами... Хозяин боится: убегут раненые из его избы, расправятся немцы с ним и его семьёй. Но препятствовать не стал – у самого трое сыновей на фронте. ...добрались до госпиталя в Кувшиново, Калининской области, километрах в 200 от Вязьмы. ...перевязали, помыли, покормили и направили в пересыльный госпиталь, в Москву. –

Инна Борисовна: – *...Весна 1945 года. Наша победа над фашистской Германией... ...Побег отца и его товарищей из плена состоялся. А что же с теми, кто остался – с семьёй Леоновых, с другими ранеными? ...– немцы предупреждали: за побег раненых хозяев расстреляют, а дом сожгут. ...Семья Леоновых, рискуя собственной жизнью, спасла раненых пленных.*

Дядя Саша (хозяин дома) *...его жена – тётя Мотя, Матрёна Ивановна. Ей 47 лет, она мать восьмерых детей... В родном доме на соломе лежат 18 человек... ...Надо спасти и прокормить до-*

черей, а они – мал-мала меньше. Марусе 12 лет, Вере – 6, Нюре – 4 года и есть ещё младшая, двухлетняя Люсенька... О раненых красноармейцах тоже болит её душа. Они стали для тёти Моти как бы членами своей семьи. Помогала им, чем могла, когда картошкой, когда хлебом и всегда добрым словом...

...Когда заработала почта, 22 декабря 1943 года Матрёна Ивановна стала переписываться с Борисом Васильевичем. – *Письма Матрёны Ивановны – летопись страшных событий военного времени.* –

– *«Многоуважаемый наш знакомый дядя Боря. ...мы очень, очень рады за вас, что вы остались живы и вернулись в свой дом и к своей семье. ...как вы оставили нашу деревню, то мы её тоже оставили через 3 или 4 дня. Деревню нашу коварный враг, злой изверг, сжёг нашу деревню всю, ни одной стройки ни жилой, ни холодной не осталось, превратил всё в пепел, и мы до тёплых дней скитались по деревням и весной собрались на своё пепелище, и кто как мог постарались: кто землянку, кто амбарчик, кто как мог, и с того начали жить».*

«...получили от вас письмо...на наш праздник Миколу. ...болели все тифом, и у Нюры получилось осложнение на лёгкие, и она...померла...когда к нам уже пришли наши 1 апреля. Шура (старший сын)*... был дома до прихода нашей освободительной Красной Армии. ...Теперь Шура в Армии около Москвы и сейчас на Ленинградском фронте».*

«...Живём пока ничего, не голодаем. Пришлось после пожара немного поголудовать, но что делать. Но теперь работаем в колхозе, досталось по 800 грамм на трудодень, это хорошо по нашей местности, ведь он всю Смоленскую область разорил и пожёг почти всё население. И теперь думаем жить лучше. У нас уже есть скот: 12 штук рогатого скота, 9 овец и 3 лошади. Построили скотник, баню, амбар, так что изживаем всё то, что натворил враг, злой фашист... ...и ваша память у меня осталась цела, как вы рисовали, я их бросила в снег, и они остались целы».

Из письма 1947 года: *«...недавно исполнилось 4 года, как мы с вами расстались и как сгорела наша деревня. ...после этого разорения жить очень тяжело... Живём мы не очень важно, можно сказать, что плохо, потому что хлеба нет, на одной картошке. Хлеб у нас дорогой – 600-700 р., картошка 150-170 р. ...Девочки очень, очень часто вспоминают про тебя. Верочка учится в 5-м классе, Люся – в 1-м. Учатся хорошо, и твоя книжка для раскраски, что вы им прислали, очень доставила много удовольствия, они её по нескольку раз читают».*

Из письма от 16.01.54 года: *«...помоги мне сейчас. Я прошу тебя, пришли мне килограммчик крупы, какой можно достать и килограммчика два селёдочки или трески, что подешевле для тебя. ...Если ты истратишь рублей 30, я может быть как-нибудь верну». «...письмо и посылку твою я получила... два кило крупы, муку белую, селёдку и кофточку... Вот мне уже кончается 60 лет, а дяде Саше было 64 года. Как раз ему будет 15 февраля, как он умер».*

«...очень тяжело и скучно жить, я очень скучаю. Вот, дядя Боря, я тебя прошу, если можно будет, то прошу прислать мне книжечек, может есть у вас читанные или у дочки, какие вам не нужны, то прошу, пожалуйста, пришлите, я очень люблю читать, но читать нечего – у нас библиотека далеко – двенадцать километров, в городе Вязьме, а ближе нет».

Из письма от 16.01.54 г. Матрёне Ивановне 73 года: *«А я вот никак не выхлопочу себе пенсии. ...и ко мне приходили, сказали,* чтобы *я доставала справки о том, что работала в колхозе... Пока выхлопочу – и получать будет некому, потому что стала очень слабенькой старушкой».*

Из письма от 23 марта 1967 года: *«Теперь прими привет от нашей семьи: от Марии, от Веры, Люси и наших малышей: Верин – Игорёк, Люсин – Андрейка и мужей их – два Коли. До свидания, ваш друг тётя Мотя».* –

Инна Борисовна Миловидова. Великая Отечественная война в судьбе художника // Волга – XXI век. 2004. № 5-6. С. 71-105.

*

1947 год

– *...о юбилее училища. Вам известно, что в этом году исполняется 50-летие существования Саратовского художественного училища, старейшего учебного заведения в нашей стране. Этот юби-*

лей должен быть в феврале месяце, но в силу важных обстоятельств он перенесён на июнь месяц. ...Будет организована выставка, посвящённая 50-летию существования и развития Саратовского художественного училища. ...Я прошу вас, товарищи, готовиться к этой выставке своими творческими работами. – Шиханов И.В. Директор Саратовского государственного художественного училища. Стенограмма обсуждения выставки саратовских художников, открывшейся 14 февраля 1947 года. Арх. СГХРМ. Оп. № 4. Ед. хр. 19.

1947 год. Июнь 29.
СГХМ – открыта выставка к 50-летию СХУ. Газета «Коммунист».

1947 год. Октябрь 5.
– Октябрь, 5. В СГХРМ вновь открылась выставка в честь 50-летия СХУ, дополненная новыми работами. – Газета «Коммунист». 1947 г. 8 октября. Арх. СГХРМ. ...Фонд Леонтьевых А.В. и В.В.

1948 год
– Издан каталог: Каталог выставки работ саратовских художников. Саратов. 1948 г. / Хроника художественной жизни Саратова...
Каталог: 75 художников, 442 произведения. Участвует Юстицкий двумя работами: 1/ Автопортрет. Х.М. 48Х40,5. 2/ Женский портрет. Х.М. 64-49.

Справка
– В октябре 1947 года Юстицкий освобождён из заключения. В Саратов приехал тяжело больным. – А. Симонова. Записала со слов дочери Юстицкого Анны Валентиновны Юстицкой в 1989 году.
– Анна Валентиновна Юстицкая (1925–2011) – младшая дочь художника. Жила в Саратове и с 2004 года – в Москве. Всю жизнь посвятила восстановлению творческого имени своего отца. Была инициатором и вдохновителем большинства выставок и изданий, посвящённых В.М. Юстицкому. Долгие годы хранила его архив и творческое наследие. Благодаря ей, в Саратовском художественном музее сложилась самая полная монографическая коллекция живописи и графики художника, а также сформировался его архивный личный фонд. Передала в музейное собрание более 200 произведений своего отца. – Валентин Юстицкий. Дело художника. Саратов, 2014. С. 17.

*

За что посадили Юстицкого? – За острый язык! – За разговор сажать? – Не только сажать – Радека за анекдот расстреляли. Вызывает его Сталин: – Что обо мне народ говорит? – Разное говорят, товарищ Сталин. Об анекдотах и говорить не хочется! – Или боишься? Сталину не верить не боишься? А ну, рассказывай! – Самый злободневный анекдот: Сталин – вождь мирового пролетариата (Леонтьев Виктор Владимирович – Вяч. Лопатину, 1963).

*

В Государственном архиве Российской Федерации хранится дело № 16530 по обвинению Юстицкого Валентина Михайловича.

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО
Показание обвиняемого Юстицкого Валентина Михайловича.
<u>Вопрос:</u> Вы признаёте себя виновным в том, что находясь в общественном месте Вы вели контрреволюционные разговоры?
<u>Ответ:</u> Нет не признаю, так как находясь в общественном месте я к/р. разговоров не вёл.
<u>Вопрос:</u> Вы говорите неправду. Свидетельскими показаниями установлено, что Вы находясь в общественном месте вели к/р. разговоры?

Ответ: Я никогда и нигде не вёл к/р. разговоров.

Вопрос: Вы вели клеветнические разговоры о якобы тяжёлом положении рабочих и колхозников в Советском Союзе?

Ответ: Никаких клеветнических разговоров о якобы тяжёлом положении рабочих и колхозников в Советском Союзе я не вёл.

Вопрос: В своих разговорах по политическим вопросам, Вы что-нибудь говорили о Троцком?

Ответ: Фигура Троцкого меня вообще не интересовала и разговора о нём я никогда не вёл.

Вопрос: Вы говорите неправду. Известно, что в своих разговорах Вы восхваляли врага народа Троцкого?

Ответ: Я никогда не восхвалял врага народа Троцкого.

Вопрос: Вы вели клеветнические разговоры о наших руководителях ВКП/б/?

Ответ: Никаких клеветнических разговоров о наших руководителях ВКП/б/ я никогда не вёл.

Вопрос: Вы высказывали террористические настроения против руководителей ВКП/б/?

Ответ: Никаких террористических настроений против руководителей ВКП/б/ я никогда не высказывал.

Показания записаны с моих слов правильно и мной прочитаны – Юстицкий.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произведённым по делу следствием УСТАНОВЛЕНО:

что ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович, действительно находясь в общественном месте среди окружающих вёл открытую к/р троцкистскую агитацию направленную против проводимых мероприятий ВКП/б/ и Советского Правительства.

Юстицкий в своих к/р высказываниях восхвалял врага народа Троцкого пытаясь при этом дискредитировать руководителей ВКП/б/ и Советского Правительства, высказывая настроение террористического характера против т Сталина.

Обвиняемый ЮСТИЦКИЙ В.М. Будучи допрошен виновным себя не признал, но достаточно изобличается в ведении к/р агитации показаниями свидетелей:

1.АПРАКСИНЫМ Е.К. /л.д. 13-14.

2.ГОЛОВАНОВЫМ В.Н. /л.д. 15-16.

3.ТОМИНЫМ С.К. /л.д. 17-18.

и одной очной ставкой со свидетелем:

1. ГОЛОВАНОВЫМ В.Н. /л.д. 19.

на основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:

ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович 1892 г. ур. г. Ленинграда, б/п, русский, гражданин СССР, по профессии художник, постоянного места работы не имеет, образование высшее, не судим, женат, при ней 2-е детей, прожив. г. Кашира, Рыбацкая ул. д. 14 – в том, что находясь в общественном месте среди окружающих вёл открытую к/р агитацию, в которой восхвалял врага народа Троцкого, пытаясь при этом дискредитировать руководителей ВКП/б/ и Советского Правительства, высказывая при этом настроение террористического характера, т. е. в преступлении предусмотренном ст. 58 п. 10 (УК РСФСР).

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

...рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению –

ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича, 1892 года рождения, высшего образования, окончил в г. Париже академию... по профессии художник... – служащий, происходит из семьи дворянина...

Предварительным и судебным следствием установлено, что обвиняемый Юстицкий Валентин Михайлович, являясь человеком антисоветски и враждебно-настроенным, 23-го апреля 1937 г., находясь в пивной на улице имени Красина в гор Москве, в присутствии Топина С.К., Апраксина Е.К., Голованова В.Н. и других окружающих его граждан распространял антисоветские, клеветнические

измышления, – о советском правительстве, о руководителях ВКП/б/, о положении колхозного крестьянства, восхвалял врагов народа – руководителей контрреволюционных организаций и высказывал свои антисоветские и враждебные настроения к существующему строю.

Допрошенный в качестве обвиняемого В.М. Юстицкий объяснил свои действия опьянённым состоянием.

...специальная коллегия Московского городского суда, руководствуясь ст. 319-320 УПК и ст. 58 п. 10 ч.1 УК

ПРИГОВОРИЛА

ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича подвергнуть лишению свободы соком на ДЕСЯТЬ /10/ лет, с отбыванием в исправтрудлагерях, исчисляя ему срок наказания с 23-го апреля 1937 г.

На основании ст. 1 п «а» УК – Юстицкого Валентина Михайловича лишить избирательных прав сроком на ПЯТЬ/5/ лет.

Меру пресечения к Юстицкому Валентину Михайловичу избрать содержание под стражей.

5 мая 1996 года

СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ

...На основании ст. 3 п. «а» и ст. 5 п «а» Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года гр-н. Юстицкий В.М. реабилитирован.

Валентин Юстицкий. Дело художника. Саратов, 2014.

*

Ситуативная этика: Жданов

– Жданов Андрей Александрович (1896–1947). ...родился в городе Мариуполе, в семье инспектора народных училищ. Непримиримый враг догматизма и начётничества, боролся за изгнание их из практики пропагандистской работы. Призывая коммунистов глубоко овладевать учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, А.А. Жданов говорил: «Наше знание должно быть действенным. Оружием революционной теории надо владеть в совершенстве – оно должно разить врага, под какой бы маской он ни скрывался».

В докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград», в выступлении по книге Г.Ф. Александрова «История западно-европейской философии» А.А. Жданов проанализировал причины отставания литературы, искусства и философии от запросов и требований партии и советского народа, разъяснил пути преодоления этого отставания, указал условия нового расцвета культуры и науки в нашей стране.

А.А. Жданов разъяснил, что новый подъём в развитии советской культуры возможен только на основе непримиримой борьбы с аполитичностью, безидейностью, буржуазным объективизмом, низкопоклонством перед разлагающейся буржуазной культурой. Разоблачая вредные антипатриотические настроения, низкопоклонство перед Западом, А.А. Жданов подчеркнул огромное значение передовой русской культуры для формирования социалистической культуры. Как ленинизм воплотил в себе все лучшие традиции русских революционеров-демократов XIX века, говорил А.А. Жданов, так и советская литература и искусство развивались и должны развиваться на основе продолжения передовых традиций русского классического искусства и революционно-демократической литературы, традиций высокой идейности, реализма и народности.

...показал роль принципа партийности в марксистской историко-философской науке. Этот принцип, коренным образом противоположный буржуазному объективизму, обязывает работников идеологического фронта вести непримиримую борьбу со всеми врагами материализма, подвергая их уничтожающей критики, обязывает излагать философские вопросы в том живом и боевом стиле, образцы которого даны в произведениях классиков марксизма-ленинизма. ...призвал советских философов смелее разоблачать философствующих буржуазных мракобесов.

...Ещё ...в 1934 г. ...раскрыл сталинское определение метода советской литературы, искусства и художественной критики как метода социалистического реализма. А.А. Жданов показал, что со-

циалистический реализм требует художественного изображения действительности в её революционном развитии, сочетающего правдивость и историческую конкретность этого изображения с задачей воспитания трудящихся в духе социализма.

...глубоко осветил важнейшие вопросы социалистического реализма наряду с борьбой за высокое идейное содержание произведений литературы и искусства. А.А. Жданов высоко поднял вопросы художественной формы, указав, что наш народ, вкусы и запросы которого необычайно возросли, требует произведений не только высокоидейных, но и высокохудожественных. – Краткий философский словарь. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Издание четвёртое, дополненное и исправленное. Гос. изд. полит. лит., 1954.

Дом Ждановых, где я особенно часто стала бывать после смерти А.А. Жданова, казался мне – по сравнению с моей унылой крепостью – очень весёлым. Там бывала по воскресеньям молодёжь, – бывшие одноклассники Юрия Андреевича и университетские друзья. В моей уединённой, полудикой жизни – это был оазис; мне нравилось там бывать, молодёжь чувствовала себя там вольно. Отец мой очень любил А.А. Жданова, уважал и его сына, и всегда желал, чтобы семьи «породнились». Это вскоре и произошло, – весной 1949 года, – без особой любви, без особой привязанности, а так по здравому размышлению... Мне казалось, к тому же что эта возможность уйти в другой дом даст мне хоть кукую-то самомалейшую свободу, откроет доступ к людям, которого у меня не было. Отцу хотелось другого. ...он как-то раз... ...сказал... «Зачем тебе переезжать к Жданову? Там тебя съедят бабы! Там слишком много баб!» (Вопрос о браке уже как-то сам собой решился, я хотела окончить университет, а потом уже переехать в дом Ждановых). Он не переносил вдову Жданова – Зинаиду Александровну и её сестёр... Я испугалась – я никак не хотела оставаться у отца дома, и я знала, что Юрий Андреевич ни за что не согласиться переехать жить к нам. (С. 146-147)
...Он (отец) всюду видел врагов. Это было уже патологией, это была мания преследования – от опустошения, от одиночества. «У тебя тоже бывают антисоветские высказывания», – сказал он мне совершенно серьёзно и зло... Мне хотелось уйти из дома, хоть куда-нибудь. Весной, 1949 года, я окончила университет и вышла замуж за Юрия Андреевича Жданова. Мы с Оськой переехали жить на квартиру Ждановых в Кремле. Отец был не так уж далёк от истины: в доме Ждановых было совсем не так легко и приятно, как это мне казалось со стороны. У нас в доме было тоскливо, пустынно, тихо, неуютно и было трудно жить, но при всём этом у нас отсутствовал мещанский дух. В доме же, куда я попала, я столкнулась с сочетанием показной, формальной, ханжеской «партийности» с самым махровым «бабским» мещанством – сундуки, полные «добра», безвкусная обстановка сплошь из вазочек, салфеточек, копеечных натюрмортов на стенах. Царствовала в доме вдова, Зинаида Александровна Жданова, воплощавшая в себе как раз это соединение «партийного» ханжества с мещанским невежеством. ...В доме, где я жила теперь, властвовал дух ортодоксальной партийности, – но не той, которой придерживались мои дедушка и бабушка, моя мама, Сванидзе и другие старые партийцы. Здесь всё было показное, надутое, внешнее... Сам Юрий Андреевич, питомец университета, бывший там всегда любимцем молодёжи, страдал от своей работы в ЦК, – он не знал, куда попал... ...и при врождённой сухости натуры он вообще не обращал внимания на моё состояние духа и печали. Дома он был в полном подчинении у маменьки, которую называл «мудрой совой», и шёл в русле её вкусов, привычек, суждений. Мне, с моим вольным воспитанием, очень скоро стало нечем дышать... Я попросила разрешения, чтобы жила с нами моя няня – единственный родной и близкий мне человек, но мне было заявлено, что «некультурной старухе совершенно нечего здесь делать, она только будет портить Осю». ...Раза два-три она приезжала ко мне в Успенское – где была дача Ждановых, – но её там принимали как дворничиху – только Оська кидался к «бабусе»... Отец не возражал, когда я сказала, что ухожу от Ждановых. – «Делай, как хочешь», – ответил он. Но он был недоволен разводом, это было ему не по сердцу... «Дармоедкой живёшь, на всём готовом? – спросил он как-то в раздражении. И узнав, что я плачу за свои готовые обеды из столовой, несколько успокоился. Когда я переехала в город, в свою квартиру, – он был доволен: хватит бесплатного жительства... Вообще, никто так упорно, как он, не старался прививать своим детям

мысль о необходимости жить на свои средства. «Дачи, казённые квартиры, машины, – всё это тебе не принадлежит, не считай это своим» – часто повторял он... Он и сейчас, в последний раз дал мне пакет с деньгами, и напомнил: «А это отдай Яшиной дочке». (С. 149-150. 158-159) – Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. М. «Известия». 1990.

*

«Крепок задним умом»

...репрессируемые часто также не были ангелочками. Да, это так. Маргинальная природа большевизма вовлекала в свою орбиту людей, способных на жестокость в любой форме. Ненависть и нетерпимость (якобы «классовая») являлись составной частью официальной идеологии большевистской версии марксизма. Ничего другого от типично левацкого течения в революционном движении и ждать нельзя было. Но с приходом и упрочением у власти, т. е. с потерей своего маргинального, подпольного существования, происходит неизбежное обмирщение её представителей («обуржуазивание» по терминологии фанатичных сторонников былой подпольной чистоты умонастроений). С годами они становятся нормальными людьми, выполняющими свои гражданские функции в обществе. Такую эволюцию, например, проделал Бухарин. Трагедией для страны стала насильственная попытка прервать этот естественный процесс. Сталин в 1036–1938 гг. вновь вверг партию в маргинальное состояние. Он распространил новую гражданскую войну со своим народом, начатую в 1929 г., на партию. Всё животное, низменное, столь характерное для гражданской войны – этой войны без правил – было поднято со дна и стало знаменем борьбы. От людей, в сущности, требовалось одно – стать подлецами и преступниками, доносить друг на друга, обливать грязью своих недавних товарищей, сослуживцев, а самим раболепствовать. Процесс «оцивилизовывания» кадров был грубо прерван. Искусственность подобной «классовой борьбы» доказывает то обстоятельство, что члены политбюро, активно участвовавшие в репрессиях, сразу после смерти диктатора свергнули и осудили их.

Для качественного управления маргинализация обёртывается колоссальным уроном, хотя происходит консолидация власти. Страх цементировал государственную дисциплину. Именно этот фактор – «твёрдая дисциплина» – обычно приводит в восторг ценителей Сталина. На деле же происходило разложение Власти. Скрепы между «верхами» и «низами» держались в немалой степени благодаря насилию. Правдивая информация вытеснялась приукрашенной. И как следствие – гром среди ясного неба: вчера ещё всё было хорошо, «жить стало веселее», а сегодня – развал, кровь, слёзы. При сильном толчке централизованная, казавшаяся сверхпрочной империя стала неожиданно разваливаться. – Борис Шапталов. Испытание войной – выдержал ли его Сталин. М.: ЭКСМО, 2012, С. 505-506.

Продолжение следует

Редакция журнала:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru
Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: http://volga-magazine.ru/

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

Подписано в печать 10 апреля 2018 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.